

*Памяти родителей – Зиновия Натановича
и Серафимы Григорьевны Иоффе –
и сестры Лёли посвящается*



Генрих Зиновьевич Иоффе. 80-е гг.

Генрих Иоффе

**ИНЫЕ
ВРЕМЕНА
ВОСПОМИНАНИЯ**



**ИЕРУСАЛИМ
«ФИЛОБИБЛОН»
2015**

Genrih Ioffe
OTHERS TIMES

(Jerusalem: “Philobiblon”, 2015)

Редактор и оформитель
Леонид Юниверг

Корректор
Владимир Френкель

Книга «Иные времена» доктора исторических наук, профессора Генриха Зиновьевича Иоффе (бывшего главного научного сотрудника Института российской истории РАН), носит мемуарный характер. Начав с истории своей семьи, жившей в начале XX века в селе Долговичи Оршанского уезда Могилевской губернии, и завершив повествование годами перестройки и реформ, Г. Иоффе показывает сложность и переменчивость времени, имевшего свои идеологические особенности и нравственные оттенки. В этом, наряду с точностью авторских зарисовок (среди героев которых – и многие известные люди), а также мастерством обобщений, состоит историзм данных воспоминаний. Книга адресована широкому кругу читателей, но в первую очередь молодому поколению, выросшему после крушения СССР и не знающему, «как это было».

На обложке – уголок парка «Покровское-Глебово» (Москва)

Для контактов:

автор: info@pretexte.ca

издатель: yuniverg@netvision.net.il

ISBN 978-965-7209-25-4

© Генрих Иоффе, текст, 2015

© Изд-во «Филобиблон», подготовка к печати, 2015

Отпечатано в типографии «Ной» (Иерусалим)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Не скрою, когда я решил пополнить вышедшую в 2009 г. книгу «Было время», многие близкие отговаривали меня.

«Зачем тебе это? – говорили они. – Ну, если бы ты был знаменитым человеком, известным общественным деятелем или, например, выдающимся спортсменом – тогда другое дело. Да и вообще книги на глазах теряют свою привлекательность. Их теснит интернет и, скорее всего, вытеснит совсем. Не теряй понапрасну сил, времени, да и денег».

Я отбивался как мог. В том числе шуткой:

«Да, вы во многом, может быть, и правы. Но, знаете, я, как тот старый еврей в старом же анекдоте. Он продавал вареные яйца за ту же самую цену, что другие продавали сырые. Когда у него в недоумении спрашивали, почему он так поступает, старик отвечал: “Но ведь в моем случае – я нахожусь при деле!”»

И я, дополняя книгу, обретаю дело, что само по себе очень важно для каждого человека.

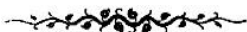
Но мои шутки не убеждали. Тогда я напоминал о том, что еще в древние времена считали: «Человеки, вещи и дела, аще не написаны бывают, тьмою покрываются и гробу беспамятства предаются. Написаны же, яко одушевлены». И вот я хочу «одушевить», главным образом,

тех людей, с которыми, волею судьбы, жил в одно время. А было это особое время...

Конечно, будущие читатели могут сказать: «Нет, не получилось у тебя. Не вышло. Можно было написать глубже, ярче». С этим не спорю. Перефразируя Александра Твардовского, замечу:

*Я не то еще сказал бы –
Про себя поберегу.
Лучше, может, написал бы –
Жаль, что лучше не могу.*

В ПЕРЕЛОМАХ СУДЬБЫ



Пять мальчиков в русских рубашках

*И*так, в древности считали: история не должна ничего доказывать и утверждать. Ее задача – рассказать, поведать. Держусь этой мысли, и как бы просто веду разговор...

Род мой – из Белоруссии, Белой Руси. Когда я впервые приехал сюда, мне показалось, что она серебристо-туманного цвета, а пахнет смесью жареной картошки и только-только испеченного хлеба. Хорошо: тишина, уют...

Предки мои жили в селе Долговичи Оршанского уезда Могилевской губернии.

Всегда говорили (и говорят) о евреях, что это люди ушлые, хитрые, себе на уме. Нет-нет, далеко не все. Вот держу в руках старую, больше чем столетней давности, фотографию и видно: те, кто на ней, – мои предки, – были, наверное, людьми простодушными и даже немного смешными.

Вдруг нагрянул в Долговичи какой-то разъездной фотограф, повесил на стену их дома неизменное тогда полотнище



с изображением древнеримской колоннады, экзотического пруда с плавающими лебедями, и нажал на «спуск». Раз! Готово! Увековечил. И никто, никто не обратил внимания на то, что из-под намалеванных римских колонн и пруда с красавцами-лебедями предательски видны уже потрескавшиеся бревна старой деревянной хаты.

На фотографии – три молодые женщины с одинаковыми, надо полагать, модными в те времена прическами и в одинаковых (тоже, вероятно, модных тогда) платьях со стоячими воротничками.

Это дочери бородатого старика, на фото сидящего подчеркнуто прямо, держа руки на коленях. Мой прадед по матери – Гирш Макрович. Но у него была еще одна дочь, на фотографии отсутствующая. Почему? Ее историю следует хотя бы вкратце рассказать. Это история «Ромео и Джульетты из села Долговичи». Я узнал ее от моей матери.

То ли в Долговичах, то ли где-то поблизости жил белорусский мужичок, сын которого служил городовым аж в самом Петербурге. Однажды, приехав в отпуск домой, он увидел молодую евреечку (дочку моего прадеда) и влюбился в нее. А она – в него! Никакие просьбы и требования отца «отстать от голя» не помогли. Она согласилась принять православие, и ее тайно увезли в монастырь для крещения и всего прочего. Ее отец (мой прадед) поехал к ней, стал на колени, обещал «златые горы», чтобы спасти его и всю семью от великого позора. Она была непреклонна. И ее проклинали, отвергли навсегда. Бывшая еврейская девушка превратилась в белорусскую женщину. Ходила в церковь, молилась перед иконами, крестила детей, работала, как и все другие, в поле, в хлеву, стала в деревне своей. Родные забыли ее...

А в 1945 году, вскоре после войны, к нам домой вдруг пришел незнакомый солдат с «сидором» за плечами. Солдат сказал, что является нашим близким родственником. Когда он

уходил на фронт, мать сказала ему, что в Москве должны жить ее бывшие родные, назвала фамилии и приказала, если случится, попытаться найти их. Это был сын той самой еврейской девушки, которая из-за любви ушла от своего народа и своей веры... Он рассказал, что недавно получил письмо от одного односельчанина, в котором тот написал о гибели матери. Когда в 41-м пришли немцы, кто-то донес, что в прошлом она была еврейкой. Ее забрали, и она не вернулась.

– Приеду домой, – сказал солдат. – Разберусь.

И повел по горлу ладонью.

Вскоре он уехал, и больше о нем не было ни слуху, ни духу.

Вернемся, однако, к старой фотографии. Во втором ряду, по правую сторону от прадеда, – его невестка и сын (мои бабушка и дед). Рядом – две их дочери, высокая (в клетчатой юбке) – моя мать.

На фотографии нет еще одного сына прадеда. В начале XX века он уехал в Америку. Мать моя рассказывала мне, что он хотел взять ее туда вместе со своей семьей, но она отказалась – осталась дома, на родине. Никогда я не слышал, чтобы она читала стихи. Но незадолго до смерти, когда, овдовев, она вынуждена была уехать из Москвы в другой город, к дочери, прочитала мне из Пушкина:

*И хоть бездыханному телу
Равно повсюду истлеть,
Но ближе к милому пределу
Мне б все ж хотелось почивать...*

Ее образ никогда не покидает меня. Вот вижу ее, внимательно слушающей собеседника. Она была молчалива, предпочитала слушать, а это свойство ума. Есть и моя перед ней вина.

*Жен вспоминали на привале,
Друзей в бою. И только мать*

*Не то и вправду забывали,
Не то стеснялись вспоминать.
Но было, что пред смертью самой,
Выдавший не один поход,
Седой рубака крикнет: мама!
И под копыта упадет.*

(М. Максимов)

Весь нижний ряд на фото – пять мальчиков в русских рубашках-косоворотках, сыновья моего деда, уверен, заслуживают долгой памяти. Они, естественно, не знали своего будущего. Я знаю. Не потому ли, наверное, в их детских лицах мне мнится некое прозрение или стремление прозреть то, что с ними произойдет...

Пять сыновей было у моего деда, пять! Родились они в период между концом XIX и началом XX века. Самый маленький, младший, стоящий на фото у колен отца, скоро умрет от какой-то болезни. А пока он стоит, насупившись, словно бы обидевшись на что-то. Никто из остальных не избежал ударов «железного» XX века. Все его удары они приняли на себя...

Вот самый старший (он в темной рубашке, сидит у ног отца). В глазах его – какая-то настороженная задумчивость... 1914 год, мировая война. Он недавно кончил гимназию. Теперь его черед воевать «за веру, царя и отечество». Может быть, он чувствовал свою судьбу?

Но этому пареньку родители хотели дать шанс. В свое время, работая в фондах архива Департамента полиции за 1915 год, я наткнулся на любопытное письмо некоей медсестры-еврейки военного госпиталя из Москвы ее брату, пожелавшему добровольно вступить в военное училище. Письмо было перлюстрировано в полиции и таким образом сохранилось, дошло до наших времен. Сестра спрашивала: «Кого ты защищать идешь? Где отечество? Что дает тебе это отечество

как еврею?.. Со слезами на глазах рассказывали мне солдатики-евреи, как враждебно к ним относятся в армии солдаты и офицеры. А что сотворили со всеми евреями, которые жили близко к позициям, ведь их всех превратили в преступников. За кого ты идешь сражаться? Где самолюбие у тебя?.. Подумай, что ты делаешь».

Так, наверное, думала и моя бабка. Она – женщина решительная – собрала в узел гражданскую одежду и поехала в город, где стояла часть, в которой перед отправкой на фронт служил ее старший сын. Она по-еврейски сказала ему, что он должен переодеться и незаметно уйти. Его спрячут так, что никакая полиция не найдет, то есть она предлагала ему, просила и умоляла его дезертировать. Он ответил, что против совести и закона не пойдет.

«Почему должны воевать мои товарищи, – спрашивал он, – а я – сидеть за их спиной? Нет!»

В слезах мать уехала со своим узелком. Прошло время, и получено было казенное письмо, в котором говорилось, что он «пропал без вести» (была в ту войну такая формулировка). Пропал без вести – значит, убит неизвестно где и когда. В Пруссии, Прибалтике, Галиции?

А у ног матери (моей бабушки) припал на одно колено мальчик в белой рубашке. Лицо его, мне кажется, выражает внимание, любопытство, вопрос. Что будет, что там – впереди? Его призвали в Красную армию в 1941 году уже зрелым человеком. Полной мерой он хлебнул трагическое начало войны. Выходил из окружения, попал в плен, чудом бежал и снова был поставлен в боевой ряд. Ему повезло. Он прошел войну «от звонка до звонка». Но вскоре умер.

Мы не от старости умрем.

От старых ран умрем...

(С. Гудзенко)

Это и о нем. Мой дед потерял еще одного сына.

Но до Отечественной войны семью деда не обошла трагедия, обрушившаяся на многие тысячи советских людей. Ежовщина! Бешено крутящаяся ее воронка втянула мальчика, который на фотографии опустил на коленки, опершись о них руками. Он смотрит прямо, даже с некоторым вызовом, как бы готовый принять рок.

Никого из детей моего деда не прельстили торговля или финансы. После революции страна строила, и все сыновья стали инженерами. Этот мальчик окончил институт инженеров транспорта и строил шоссейные дороги. Одна из лучших шоссейных дорог 30-х гг. «Москва – Минск» – его работа, его проект. Сам нарком Каганович вручил ему ценный подарок – золотой портсигар и представил к ордену. Тогда, в 1935 – 1936 годах, так называемых орденосцев в стране было очень мало.

Потом его перевели из Минска в Москву, и он стал главным инженером учреждения, строившего шоссейные дороги по всему Союзу. Но на беду начальником этого учреждения



Два брата отца. 1926 г.

был Л. Серебряков – бывший секретарь ЦК и... бывший сторонник Л. Троцкого. В борьбе с «врагами народа» Сталин копал глубоко, можно сказать, черпал до дна. Когда в 37-м Серебряков был взят, стало ясно, что вся его команда последует за ним. И «мальчик с фотографии» знал это. Дома он говорил жене и старикам-родителям: «Не надо отчаиваться. Ну, получу пять-шесть лет. Когда вернусь, дочка будет уже большая, пойдет в школу, и я буду сопровождать ее».

Он жестоко ошибся в оценке своей «вины». Ему дали не пять лет, а «десять без права переписки», что маскировало высшую меру – расстрел. Его, как и тысячи других, убили на полигоне НКВД «Коммунарка» под Москвой. Это жене его дали восемь лет лагерей. На руках стариков осталась трехлетняя внучка. Они не отдали ее в детский дом, и она выросла человеком чистой души, была преподавателем университета, а последние годы прожила в Израиле.

В дополнение к восьми годам жену «врага народа» на несколько лет лишили права жить в Москве. Сначала она жила в Тихвине, а через три года ей позволили вернуться в Москву. Я много раз разговаривал с ней. Она рассказывала, что когда на Лубянке ей объявили приговор, она мгновенно и полностью оглохла. Потом слух возвратился...

Я осуждал Сталина, ту власть. Она резко обрывала меня: «Замолчите! Вы ничего не знаете, а главное – ничего не понимаете!»

Я часто размышлял над ее словами. Боялась «стен»? Нет, тут было что-то другое. Что? Не знаю...

Маленький мальчик, сидящий на фотографии в нижнем ряду на стульчике, смотрит не по-детски серьезно, внимательно. Он пережил всех своих братьев, и ему одному дано было узнать их горькие судьбы.

В Отечественную войну его не мобилизовали на фронт, потому что он был путейским инженером-изыскателем. Он и

его товарищи группами, партиями, где пешком, где верхом на лошадях, часто шли по неизведанным местам, нанося на карты и планы линии будущих железных дорог. По ним потом непрерывными потоками шли на запад тяжелые составы с орудиями, танками, самолетами, солдатами. А эти люди часто недоедали и недосыпали. Ночевали либо в палатках, либо в старых вагонах на заброшенных полустанках. Фронт требовал! К концу войны этот мальчик был отмечен тремя инфарктами (помимо медалей и орденов). Но у него еще были силы схранить отца (моего деда), умершего день в день со Сталиным – 5 марта 1953 года.

На кладбище еще лежал глубокий снег. Проваливаясь в него, мы добрались до вырытой могилы. Высокий тощий еврей в черном и кипе подошел к нам.

– Нужна ли заупокойная молитва? – спросил он.

И мы – неверующий, последний оставшийся в живых сын и неверующие внуки – ответили:

– Нужна.

Гортанные, непонятные звуки понеслись к низкому хмуromу небу. А вскоре четвертый инфаркт в возрасте 55-ти лет доконал и последнего сына, мальчика, который на фотографии сидит на детском стульчике. Всю свою трудовую жизнь он проходил в поношенных железнодорожной тужурке и фуражке. В них он и был похоронен. Когда об этом сказали матери (моей бабушке), она уже была совсем плоха. Долго молчала. Потом сказала:

– Плохой свет...

* * *

Рано ушли из жизни пять мальчиков в русских рубашках-косоворотках, как и многие из их поколения. Будут ли когда-нибудь еще в России люди такого самоотверженного, бескорыстного поколения?

*Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье,
Но их повибило железом.
И леса нет. Одни деревья.*

(Д. Самойлов)

Товарищ Зиновий Иофо...»

Отец мой тоже родом из Белоруссии. Но был он человеком не сельским, а городским. Он из городка Горки, известного еще в XVI веке. Там, между прочим, издавна существовал сельскохозяйственный институт, после революции названный даже Академией! Дальше «горецкого деда» генеалогия моя не идет. Да и его (как и бабу) я никогда не видел, если не считать какой-то старой «паспортной» карточки, сохранившейся у нас дома, и его небольшой фотографии в рост. Судя по ней, был он среднего роста, носил небольшую бороду. Одевался по-местечковому, но и по-мужицки тоже: картуз, поддевка, сапоги.

По глупости мальчишки и эгоистичности юнца я мало расспрашивал своего отца. Теперь бы расспросил обо всем, да слишком поздно хватился. Знаю только, что никаким ремеслом дед не владел. Держал огород, выращивал огурцы и, видимо, продавал их. Ясно, что от такого «бизнеса» не разбогатеешь, а в семье подрастало пятеро детей: четверо сыновей и дочь. Старшим был мой отец, он первый и покинул Горки. У родителей был родственник (или знакомый) в Херсоне – часовщик. К нему в ученики они и отправили сына. В мальчишестве мне долго казалось, что отцовское детство – такое же, как у чеховского Ваньки Жукова. Конечно, над ним не издевались, как над Ванькой, не «тыкали селедкой в морду», но

добротой хозяин не отличался. И отец рассказывал, что, бывало, по ночам, лежа в прихожей на отведенном ему сундуке, он тихо плакал.

В 1914 или 1915 году отца призвали в армию. Отправили в Иркутск, а через некоторое время, в составе какого-то сибирского стрелкового полка, – на Северо-Западный фронт, в Прибалтику. Здесь часть, в которой он служил, попала в плен. Сначала русские пленные использовались на сельскохозяйственных работах. Содержали их в лагере плохо, кормили брюквой, и многие болели. У меня сохранилась старая фотография. На ней двое в русской солдатской форме стоят в каком-то перелеске. На обороте почти стертая, но все же еще различимая фраза, написанная намусоленным карандашом: «Товарищу Зиновию Иофо на память. Гусельщиков Степан, Тамбовской губернии. Бранденбург, 1916 год». Я очень дорожу этой фотографией.

Позднее в лагерь стали приезжать незнакомые люди, о чем-то говорили, пленных выстраивали, и переводчик предлагал тем, кто владел заводской профессией или ремеслом, выйти из строя. Вскоре эти вышедшие из лагеря уезжали. Как-то раз переводчик неожиданно крикнул: «Часовщики есть?» Отец сделал шаг вперед...

Он проработал на германских часовых предприятиях целых восемь лет! С подписанием Брестского мира начался процесс обмена военнопленными. Он особенно расширился после договора между Россией и Германией, подписанного в Рапалло в 1922 г. Пленные могли возвращаться на родину или ехать в другую страну. Мой отец вернулся домой. Это было в 1923 году. В следующем году он женился и перебрался в Москву навсегда. Тогда Москву наполняло много разных приезжих. Профессия отца требовала клиентуры большого города.

Жаль, я ничего не знаю о жизни отца там, в Германии. Он привез оттуда очень хороший, ценный набор инструментов для своей работы, которым пользовался всю жизнь. Когда после тяжелой болезни он умер, явился ко мне человек, представившийся знакомым отца по долгим совместным прогулкам в последний год его жизни. Попросил продать этот германский инструмент. Я отдал ему весь набор. Оставил себе только маленький молоточек.

Из Германии отец привез также любовь к поэзии Генриха Гейне и нередко цитировал его стихи.

*Пиджаки, чулки из шелка,
С тонким кружевом манжеты,
Речи, жаркие объятия.
Если б сердце вам при этом!
Я хочу подняться в горы,
Где живут простые люди,
Где свободно веет ветер
И легко усталой груди...*

А по Москве, как и по всей стране, «гулял» НЭП. Появились всякие синдикаты, концессии, торгсины. Расправил плечи частник, по следам которого неотступно шли фининспекторы. Знали, зачем шли. Некоторые, особенно ювелиры, часовых дел мастера и проч., «шуровали» на черном рынке, богатели, становились подпольными миллионерами. Их сажали за «золотуху». Они отсиживали свой срок и, странное дело, вновь брались за свое. И так бывало по несколько раз! Эти люди не боялись тюремных нар. Видно, страсть накопления подавляла у них страх. Еще мальчишкой я знал одного подобного, по фамилии Маевский. У него было жирное лицо с большой ямочкой на тяжелом подбородке. На носу – старомодное пенсне со шнурком. Он считался часовым мастером,

но, как говорил отец, работать не умел. Да и не хотел, наверное. Занимался другим... У него имелась обширная клиентура, с которой он собирал часы для ремонта, а затем раздавал их мастерам-работягам (был, скорее всего, и другой «бизнес»). Сколько он сдирал со своих клиентов, этого никто не знал. Мастерам же выдавал гроши, да и то далеко не сразу, с оплатой тянул до предела. Хорошо помню, как отец (иногда он брал меня с собой, и я ждал его на улице), возвращаясь от Маевского, с досадой говорил:

– Опять сказал, что не может заплатить. Велел зайти через неделю.

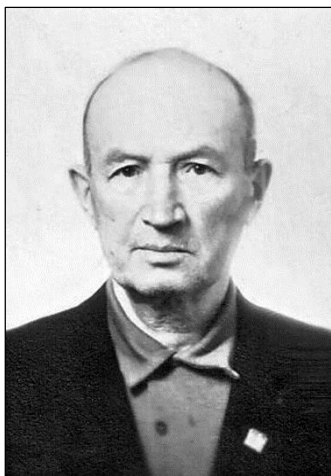
В такие минуты мне было жалко отца до слез, и я тихо ненавидел Маевского.

Отец любил старые песни: «Вот вспыхнуло утро...», «Ямщик, не гони лошадей...», «На сопках Маньчжурии» и другие. Голоса у него не было, и он часто просил, чтобы кто-нибудь ему напел:

*Тихо вокруг, ветер туман унес.
На сопках Маньчжурии спит русский солдат
И русских не видит слез...*

Нравились ему и новые песни. Особенно в исполнении Марка Бернеса: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей...».

Отец в 20-х годах был частником. Но при этом – очень честным человеком. Кроме того, он часто говорил, что «хочет спать спокойно». Как человек, не получивший образования, он прямо-таки преклонялся перед образованными людьми, особенно имевшими высокие ученые звания. Если ему указывали на кого-то и говорили, что вот этот человек – профессор,



он проникнулся к нему высшим уважением. Когда мне присвоили профессорское звание, я, конечно, был доволен. Но в то же время очень жалел, что отец мой уже никогда об этом не узнает – вот кто был бы счастлив искренне и безмерно.

Мастерская отца (и его напарника) находилась в центре, на Лубянке, и в нее иногда заходили «большие люди», например, поэт Демьян Бедный. К тому времени звезда его уже закатилась, но,

Мой отец Зиновий Иоффе видимо, за свои прошлые революционные сочинения он был награжден старинным особняком на взгорье Рождественского бульвара. Как-то он сказал отцу, что у него в особняке много напольных, настенных и настольных часов, требующих контроля, и просил отца время от времени заходить к нему их проведать. Помню (это было уже в середине 30-х годов), как Демьян Бедный прислал нам, детям, от своих щедрот пакет с мандаринами, бывшими в то время большой редкостью.

Но недолго торжествовали частники. Фининспекторы победили: НЭП сворачивали, частников и кустарей собирали в артели и другие предприятия. Одно из часовых предприятий называлось «Верное время». Оно находилось в начале Кузнецкого моста (если идти с Неглинки). Это был небольшой старый дом с застекленной витриной, выходявшей на оживленную улицу. В первом ряду сидел мой отец – технический руководитель отдела. Я этим очень гордился и часто специально заезжал на Кузнецкий мост.

Horresco referens (Содрогаюсь, рассказываю)

...А родные отца остались в Белоруссии. И почти все на свою погибель. Кроме двух братьев и племянника, призванных в Красную армию. Брат Абель – малограмотный (если не сказать большего) мужиковатый еврей, хитроватый, но и напористый. Он один из всей семьи не покинул родные Горки и жил в доме своего отца с женой, дочерью и сыном. Дети оказались на редкость способными, особенно сын Израиль. В 40-м году он окончил школу и уехал в Ленинград, где стал студентом технического вуза. Но летом 41-го он ушел в армию, был направлен в артиллерийское училище и всю войну отслужил офицером в зенитных частях московского ПВО, охранявших жизненно важное Икшинское водохранилище. А в Горках был мобилизован Абель. Его признали годным лишь к нестроевой службе, но вскоре вообще комиссовали по болезни. Мы были тогда в эвакуации в удмуртском Глазове, и он приехал к нам. Работал при какой-то конюшне. Я часто встречал его на улочках городка. В неподпоясанной ремнем длинной замызганной шинели он уныло брел, ведя за собой на поводу такую же унылую, старую лошадь. Он ничего не знал о жене и дочке, оставшихся в Горках. Может, и лучше, что не знал: их уже не было на этом свете...

Перед войной с женой и двумя дочерьми лет двенадцати и пятнадцати жил в белорусском местечке Дрибин другой брат моего отца – Моисей. Однажды, еще пацаном, я написал в Дрибин письмо о том, что хочу стать летчиком (тогда многие мальчишки мечтали об этом). Ответили мне мои двоюродные сестры, а дядя Моисей сделал приписку. Написал, что тоже мечтал быть летчиком, и заметил, что частично мечта

его осуществилась: он – маляр и часто трудится на крышах, а также на верхних этажах...

Я не знаю, почему Моисея не призвали в Красную армию в первые же дни войны. Если бы призвали, это, возможно, стало бы его спасением. Но Холокост накрыл всю семью. И она исчезла целиком, никто не мог сказать, где и как они погибли. «Ни приметы, ни следа», как писал А. Твардовский.

Младший брат моего отца, Наум Иоффе, покинул родной дом и Белоруссию в конце 20-х годов по призыву на военную службу. Есть его фотография, на которой он – красноармеец учебной команды в г. Клинцы. На нем шинель, буденовка. Он стал кадровым военным, капитаном или майором, участвовал в походе 1939 года в Западную Украину и Западную Белоруссию, воевал в зимнюю финскую кампанию 40-го года, а в канун Отечественной войны его часть стояла в Прибалтике. Никто не знает, что с ней произошло. Скорее всего, она погибла в бою.

Но все-таки судьба была к нему милостива. Он не узнал, какой силы удар нанесла война его семье. Жена с двенадцатилетним сыном эвакуировалась в г. Шую. В ночь, когда она дежурила в аптеке, где работала, произошел пожар. Сгорело все. И она тоже. Осиротевшего сына взяла в свою семью сестра Наума.

Казалось бы, хватит гибелей и смертей. Нет. Может быть, самая ужасная участь выпала на долю единственной сестры отца, Доры Наумовны. С мужем и двумя дочками она жила в Белоруссии, в поселке Дубровно. Летом 41-го она приехала в Москву консультироваться с врачами и взяла с собой младшую дочь. Ее звали Маня, она перешла в седьмой класс, никогда не была в Москве и жаждала увидеть ее достопримечательности. Маня ездила и ходила по Москве, смотрела во все свои большие черные глаза и светилась радостью. Через не-

которое время мать решила, что Мане пора возвращаться домой: надо помогать отцу и сестре по хозяйству. Маня не хотела уезжать, упрасивала маму остаться с ней хотя бы еще на недельку, плакала. Судьба! Почему ты не шепнула женщине только два слова: «Пусть останется!». Девочка уехала навстречу смерти. Под огненный каток германского вторжения попали все: муж, старшая сестра Мани и сама Маня, единственная имевшая шанс остаться в живых. Потом дошел до нас слух, будто кто-то из сестер, может быть, Маня, бродила по словно вымершему поселку, стучалась в соседские двери, прося впустить. Никто не откликнулся. Зловещее молчание. Но это был слух...

У В. Высоцкого есть стихотворение «О новом времени». Приведу лишь последнее четверостишие.

*И когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,
И когда наши кони устанут под нами скакать,
И когда наши девушки сменят шинели на платьица, –
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.*

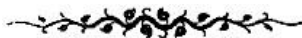
Не знаю, от чьих рук погибла девочка Маня. Давным-давно это было. Многое уже отгрохотало, отгорело, отплакалось. Можно «потерять», можно даже «простить». Поразительно другое. В наши дни немало потомков безвинных жертв Холокоста, покинув родину, чернят и клянут Россию, Красную армию! Они забыли? Неужели и впрямь забыли, что Красная армия спасла от страшной судьбы Мани всех, еще остававшихся в живых? Успела. Подошла к их смертной черте. Потеряв на горьком пути своем миллионы солдат...

А мама Мани до конца дней своих уже не жила, а казнилась, считая себя прямой виновницей гибели дочери.

Но страшна война не только тем, что убивает. Страшна и тем, что духовно калечит многих, оставшихся в живых. В 1948-м Дора Наумовна, несчастная мать, жившая в Шуе и работавшая там приемщицей в прачечной, умерла. На похороны приехали несколько человек родных. Кладбище. Потом полутемная комнатка, в которой жила мать Мани. Сели за стол, говорили, вспоминали, горевали... Вечером я забрался на что-то вроде полатей, задремал. Разбудила меня громкая руготня внизу, за столом. Там крепко ссорились из-за, в сущности... грошовой суммы, оставшейся на сберкнижке покойной...

Дождавшись рассвета, я ушел на станцию.

**С ЧЕГО
НАЧИНАЛАСЬ
РОДИНА...**



В «Мещанской слободе»

Наш богом забытый, деревянно-булыжный Орловский переулок. Коренные москвичи, и то, наверное, не многие, знали его, да и теперь наверняка далеко не все знают. Проложен он на землях старинной Мещанской слободы, появившейся «на Москве еще при царе Алексее Михайловиче Тишайшем» – гонителе «огненного протопопа» Аввакума и антินิกонианцев (XVII век). Спустя много лет по слободе проторили четыре Мещанские улицы с прилегающими улочками, переулками и тупиками. Ближайшая к нам 3-я Мещанская известна одноэтажным домиком великого актера М. Щепкина, в котором (а это совсем мало кто знает) позднее часто бывал и временами жил замечательный писатель М. Булгаков. И уж совсем, думается, неизвестно, что о нашей 3-й Мещанской режиссером М. Роммом еще в 1927 году был поставлен фильм. Считают, что в нем впервые показали новый, советский быт.

В 10-х – начале 20-х годов на 1-й Мещанской (самой большой из Мещанских, ныне Проспект Мира), возле Грохольского переулка, жил поэт В. Брюсов. Уже в мое время на той же 1-й Мещанской жил чемпион мира по шахматам М. Ботвинник (чемпионский венок долго лежал на балконе его квартиры.) А на другом конце улицы (почти у Рижского вокзала) в детстве жил Владимир Высоцкий.

2-я Мещанская вроде бы связана с именем бытописателя Москвы В. Гиляровского, известного «дяди Гиляя». Позднее ее и назвали его именем.

На маленькой 4-й Мещанской одно время проживал Евгений Евтушенко (после войны он учился в 254-й школе, которую летом 45-го окончил и я), а также будущий тренер победной сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов (по

прозвищу Кыра). Мы гоняли с ним в футбол. Может, кто-либо еще из знаменитостей был так или иначе связан с Мещанскими, но, увы, мне сие неизвестно. Да и кто из знаменитостей мог жить на этой окраине? Они в большинстве уже тогда жили в центре города.

Наш же родной Орловский переулок (серый, ни одного деревца) шел параллельно 3-й Мещанской. Между ними – огромный двор старой Екатерининской больницы (в мое время областной клинический институт с его деревянными корпусами зеленого цвета). Орловский соединял Самарский переулок (начинавшийся от Божедомки; теперь его нет: он исчез под зданиями Московской олимпиады 80-го года) и длинную Трифоновскую улицу, от которой до Виндавского (потом Рижского) вокзала и до «блатной» Марьиной Рощи рукой подать. До Рощи можно было добраться напрямиком, через большое кладбище, на котором в 30-е годы уже не хоронили, но холмики могил и покосившиеся или разбитые надгробья еще сохранялись. С улицы, например, хорошо был виден высокий столбик с вращающимся на ветру авиапропеллером. Говорили, что во время Первой мировой войны тут похоронили героя-летчика.

Орловский переулок был проложен по отлогому холму. Наш дом № 8 стоял в самой нижней его точке. Когда построили этот дом – никто не помнил.

В «угар НЭПа», как рассказывали старожилы, дом принадлежал некоему гражданину Пацкину. Жил он с супругой в нашей квартире № 3 (остальные сдавал). Поэтому и провел в дом водородовод, канализацию, а себе – даже телефон. Такого в других домах не было. По всему переулку – несколько водоразборных колонок, зимой обледенелых и похожих на сосульки. Говорили, что Пацкин владел и другими домами, возможно, и в Орловском переулке. Рядом с нашим домом находились два дома, по слухам, ранее принадлежавших некоему Юдину. Дома эти называли «Юдинкой». На «Юдинке» самым

заметным был человек по прозвищу Бутя. Две дочки его играли в знаменитой в те годы женской хоккейной команде «Буревестник», а за ними приударяли два футболиста из послевоенной знаменитой «команды лейтенантов» ЦДКА: Гринин и Виноградов (по прозвищу Барель). И мы, пацаны, почитали «Юдинку». Куда исчезли Пацкин и Юдин после того, как ликвидировали НЭП, никто не знал. Впрочем, можно было догадаться...

В переулке – никаких магазинов. На первом этаже одного из жилых домов на углу с Большой Екатерининской – только булочная. Помню те времена, когда хлеб в ней выдавали по карточкам, и не дай бог их потерять. За другими продуктами ходили на 3-ю Мещанскую. Называлось это – «пойти к Мажарину». Когда-то человек по фамилии Мажарин был хозяином магазина. Сам он исчез, как Пацкин и Юдин, а магазин так и остался в памяти и умах окрестных жителей как «Мажарин».

Была еще в переулке палатка. В ней (после отмены карточной системы) можно было купить крупу, муку, селедку, конфеты-«подушечки» и водку. После одного из выступлений Сталина, в котором он сказал, что «жить теперь стало лучше и веселей», повсюду стали распевать песенку:

*Жить стало лучше, жить стало веселей!
Четвертинка – три пятнадцать,
А пол-литра – шесть рублей!*

Жильцы нашего дома

Сколько этажей было в нашем доме № 8 – это как считать. Если с подвалом, окна которого выходили как раз на уровень переломанного тротуара, – три. А если без подвала – два.

В подвале жили люди. Их так и называли – «подвальные». В этом слове сквозило легкое презрение. В сильные дожди и от текущей рядом загрязненной речки Синички подвальных заливало водой. Тогда являлись какие-то хмурые дяди, задумчиво бродили возле подвала, качали головами, цокали языками, произносили загадочное слово «дренажи» и вновь исчезали. До следующего наводнения. А в следующее наводнение они снова приходили, опять цокали языками, говорили свое таинственное «дренажи» и опять исчезали.

В то время расхожим было словечко «жильцы» (население дома). Этих самых жильцов в нашем доме насчитывалось немного. В подвале жила семья Гавриловых: отец, мать, лицо которой было как будто бы пропитано угольной пылью, и их восьмилетняя дочка Галька. Эту Гальку ребята соседних дворов просто изводили нелепым и дурацким прозвищем «Марья Хридовна». Девчонка плакала, жаловалась родителям – ничего не помогало. В детках жестокости хватало... Кроме Гавриловых, в подвале жили всегда выпивший сапожник Маркин и его сын Митька, по прозвищу Мухря. На лице его выделялось то, что называлось «собачьим прикусом». В проходивших по Трифоновке трамваях Мухря наладился шарить по карманам пассажиров, и его куда-то вскоре забрали. Домой он больше не вернулся. Маркин же старший по-прежнему напивался, выходил на подвальную площадку, растягивал драную гармошку и распевал антисоветские частушки. Впоследствии моя мать, смеясь, передала мне содержание некоторых:

*Ленин Троцкому сказал:
Пойдем, товарищ, на базар,
Купим лошадь карию,
Накормим пролетарию!*

Другая:

*Кто сказал, что Ленин умер?
Я вчера его видал.
Только в брюках, без рубахи
Пятилетку выполнял!*

Тогда из соседних дверей выходил милиционер Исаак Ду-
нер и, грассируя, говорил:

– Магкин! Пгегкати петь антисоветскую пгопаганду! И
сгазу! Посажу! Отпгавлю в 19-е отделение. Сгазу!

Дунер жил в подвальной комнатке с молоденькой женой
Цилей. Она часто поднималась в нашу квартиру, чтобы позвонить
по телефону Дунеру на работу. Разговор их обычно затягивался
надолго, велся, как правило, о каких-то особо вкусных клецках в
супе, который уже ждал любимого Цилей мужа.

Вскоре Дунер со своей Цилей уехали. И все понимали:
подвал не место для проживания представителя власти.

А над подвалом, в квартире № 3, проживали две семьи:
наша и семья Моховых (у них, как и у нас, было двое детей:
Колька – старше меня на два года, и Галка – моложе на че-
тыре года). В квартире! Хорошо сказано! Сказать так – ку-
рам на смех... Две комнаты на семью. Каждая площадью
метров по двадцать. Перегородки, как фанера, слышимость
– сто процентов...

По меркам нашего худосочного Орловского переулка Мо-
ховы считались «богатыми» и потому не пользовались распо-
ложением других жителей дома. У Моховых часто собира-
лись гости, выпивали, шумели, громко спорили.

Наутро они гремели посудой, выносили множество бутылок, рюмок, коробок. Мать семейства – довольно красивую Елену Феофиловну – в доме особенно не любили, подозревая в ней «полячку», а про себя называли «барыней», потому что она постоянно жаловалась на мигрень и часто ходила с мучительным выражением лица. Голова ее была обмотана мокрым полотенцем. Но перед самой войной, как поговаривали, за «шахер-махер», арестовали главу семьи Кузьму Васильевича, и тут все болезни Елены Феофиловны как рукой сняло. Она пошла работать буфетчицей в театр Вахтангова.

Вообще, надо сказать, в военные годы очень многие хворобы странным образом исчезали, а после войны вновь возвращались. Загадка физиологии и психологии...

Кузьма Васильевич был высок ростом, но не в меру толстый. До революции он служил в царской гвардии. Я видел его фотографию того времени: красавец-солдат! В те годы в гвардейские войска брали парней высоких, статных, с правильными, приятными чертами лица, дабы не вызывать дурных эмоций у государя-императора.

При советской власти бывший царский гвардеец стал коммерческим директором предприятия, производившего отравляющие вещества для домашних паразитов. А поскольку таковых в те поры имелся переизбыток, спрос на их погибель был велик. Это приносило, видимо, немалые доходы. Но, как говорили некоторые жильцы-завистники из нашего дома, «сколь веревочке ни виться, все равно укоротят». Так и случилось с Кузьмой Васильевичем. Я видел его уже после войны, когда он отсидел свои пять лет. Дома жить ему не разрешалось. Отбывших наказание в те годы не подпускали к Москве ближе, чем на 101 км. Иногда он тайно приезжал на ночевку, но кто-то, видимо, «засекал» его, докладывал «куда следовало», и утром милиция выпроваживала нарушителя закона назад, на точно отмеренный 101-й километр. «Засекала», скорее

всего, дворничиха по фамилии Дрыгалина, считавшая себя представителем власти. Ее побаивались.

На одной с нами лестничной площадке находилась квартира № 4. В ней жил Иван Алексеевич Алехин. Он переехал сюда из подвала, женившись на проживавшей здесь скромной тете Насте. Алехин носил длинную шубу на меху и высокую каракулевую шапку, как у «всесоюзного старосты» Калинина. Иван Алексеевич часто приходил к моему отцу и вел с ним беседы на разные темы. Его, например, интересовало часовое производство за границей, особенности часов таких фирм, как «Лонжин», «Мозер», «П. Буре» и др. Позднее, уже после войны, помню, вел Иван Алексеевич с отцом разговоры и о политике. Мне запомнилось одно его толкование, и я часто вспоминаю его.

«Я тебе так скажу, Натаныч, – говорил он, – Россия такая уж страна, ее трудно изменить, а может, и вовсе невозможно. Вот у твоих ребят, я видел, была такая игрушка ванька-встанька. Этого Ваньку как ни клади, как ни верти, а он все равно свое изначальное положение примет! Народ игрушку придумал! Себя, суть страны своей в ней, думаю, выразил! Умно. Или возьми другую игрушку – матрешку. Ее открываешь, а внутри – глядь! – такие же матрешки! Опять не глупо! Вот она – Россия! Так-то, брат...»

Наверху, на третьем этаже (выше уже находился чердак), проживал бухгалтер Дмитрий Алексеевич Королев и супруга его, домохозяйка Мария Сергеевна (тетя Маруся) – женщина не злая, но строгая. У них рос сын по имени Павел, а по-дворовому – Пашка. За редкую растительность на голове уже тогда его прозвали Лысым. Был у Пашки младший брат Витька. После войны он завербовался работать куда-то на Север, на шахты, и погиб там при неизвестных обстоятельствах. Как пелось в популярной песне, «шел парнишке в ту пору восемнадцатый год».

Королевы жили в комнате метров девять-десять. Бóльшую

ее часть занимала кровать, которую тетя Маруся любовно лелеяла, украшая разными подушечками, покрывалами, кружевцами. Глава семьи, Дмитрий Алексеевич, являл собой человека строгих нравственных назиданий и наставлений. Он учил нас, мальчишек, жить по-старинке, что считал совершенно правильным. А тетя Маруся толковала нам:

– Вот-вот, отца-то лучше послушайте, чем шелопаичничать! Он ведь не соврет, он всю правду про жизнь вам, дурачкам, скажет! Жизнь-то она ведь не простая, не легкая.

И Дмитрий Алексеевич не спеша начинал рассказ про былую жизнь.

– Мы с матерью на Самотеке жили, а магазин, где я в учениках состоял, – аж на Пятницкой. Пешком ходил, на трамвай мать денег не давала. Ботинки берег как зеницу ока. Всю дорогу нес их завернутыми в газету, а сам шел в старых мамкиных туфлях без каблуков. Приду в магазин, только там и переобуваюсь. Во как оно было. Берегли родительскую копейку!.. А как нынче?

И он долго говорил о «неблагообразности» нынешней молодежи. Одни-де пионеры, сидящие у костров. «А что от этих ваших костров толку-то?»

В квартире с Королевыми соседствовали супруги Поспеловы с детьми – Борькой и Тamarкой, но вскоре они переехали на соседнюю Большую Екатерининскую улицу, обменявшись с некоей бабкой Шушуевой. Бабка, в свою очередь, сдала «угол» (т.е. часть комнаты, так тогда говорили) холостому шоферу Лешке Лельчуку. Перед войной он женился и, отслужив в армии, в 1945 году вернулся к семье (жена его, Шурка, и двое маленьких детей всю войну прожили у бабки Шушуевой). И тут в нашем тихом доме разразился скандал. «Доброжелательные» соседки пустили слух, что в отсутствие Лельчука Шурка-де грешила с... соседом, подростком Пашкой!

И Лешка поверил в этот бред. Шурка рвала на себе пышные свои волосы, клялась в невинности – все было напрасно. Как к якорю спасения она прибежала к моей матери. Ей раскрыла «страшную тайну»: Лельчук, оказывается, боже мой! был марьинорощинским евреем, но тщательно скрывал это. Шурка умоляла мою мать подействовать на ушедшего мужа, призвав одуматься как еврея. Ничего не помогло. Лешка навсегда покинул наш дом номер восемь. Соседки шептались, хихикали, теша себя, даже не думая о том, что сдуру развалили целую семью.

А вот и о главе семейства Пospelовых – плюгавеньком Иване Даметыче – время сказать. Для тех лет его ждала, можно сказать, сказочная судьба. Во время войны он попал в плен, каким-то образом оказался во Франции, там осел и... женился! Сообщил – домой не вернется. И не вернулся. Все в доме были ошарашены: наш Иван Даметыч женился (можно ли представить такое?!), аж на француженке! А они представлялись тогда чуть ли неземными красавицами.

В той же квартире, что Королевы, Лельчуки и бабка Шушурева, занимала шестиметровую комнату молодуха Дуська. Она работала где-то на Красной Пресне. Детей не имела. У нее, как говорили соседи, был «приходящий мужик» по фамилии Здунис – ни много, ни мало бывший латышский красный стрелок. Длинный, костлявый, обросший прорыжелой щетиной и почти всегда подвыпивший. В доме его боялись. Когда, пошатываясь и что-то бормоча себе под нос «не по-нашему», он поднимался по лестнице к своей Дуське, ему давали дорогу: «красный стрелок»! «Партеец, наверняка». Чекист в прошлом, а может, и настоящим. Подальше от него... На всякий случай.

На противоположной стороне лестничной площадки всю квартиру занимали Алехины. Их отец, Семен Алексеевич, стал первым арестантом нашего дома. Никто не знал, за что его забрали. Дворничиха Дрыгалина делала вид, что знает, но многозначительно «держала секрет»...

Дома у Алехина остались жена и трое детей: уже взрослый Веньямин, младшие Сергей и дочь Шурка. У всех был смуглый цвет лица, и мне казалось, что они «почернели» от случившегося горя. Серега вскоре связался с воровской шпаной из соседнего Тузовского проезда, попался на грабеже и куда-то пропал навсегда. Шурка, которой было лет пятнадцать, уже начала жить своей, закрытой для нас, жизнью. Вскоре она переименовала себя в более «респектабельную» Сашку .

Кроме Алехина, у нас в доме «за политику» в дальнейшем вроде бы никого не забирали. Да и кого в нем было забирать? Никто политикой не занимался, высоких постов не занимал. Длинные языки все давно прикусили. Завидовать было некому и нечему, квартиры у всех были почти одинаково плохи, поэтому доносы «по политике» писать не имело смысла, да и особо грамотных не имелось.

Цаповка и Церковка. На дачах

Как раз напротив нашего дома, на другой стороне Орловского, располагался «цаповский двор». Его называли так по фамилии бывшего хозяина двора и находившегося в нем дома и других построек – Цапова. Внешне Цапов мог бы стать идеально подходящим типажом для советских фильмов, изображавших нижегородских купцов. Он был большим, толстым, медлительным, с грубым лицом простого мужика. До революции и в период НЭПа Цапов занимался извозом. Если кому-нибудь из округа надо было привезти или отвезти что-то грузоподъемное, обращались к Цапову. У него имелось несколько лошадей-битюгов, телеги, конюшня, сараи и др. Были и возчики. К середине 30-х годов всего этого он лишился. Осталась только одна комната в когда-то собственном доме и покосившийся са-

рай, возле которого неподвижно сидел бывший цаповский конюх, теперь седой как лунь и всегда пьяный старикан. Про него говорили, что он пьет политуру, которую в быту называли ханкой. Сам же Цапов стал работать пространщиком в находившихся рядом Рижских банях: подавал там простыни, приносил желающим пиво, смотрел, чтобы что-нибудь не украли. В эти бани и после войны мы ходили всем двором. Цапов все еще работал в бане.

В Кольке Мохове, несомненно, была артистическая жилка, смешанная со склонностью к измышлениям, хвастовству и вранью. Вскоре после войны он нес нам околесицу, будто в театре им.Вахтангова (там в буфете работала его мать) он играет «убитых немцев», и актер Славка Дугин говорил: если бы Станиславский видел тебя в этих ролях, он бы воскликнул: «Верю!».

А теперь в бане Колька разыгрывал перед старым Цаповым эдакого дореволюционного купчишку.

– Ну что, старик, все еще прыгаешь?

– Что делать, сынок? Жить-то надо! А папаша-то твой Кузьма Васильевич, как? Живой ли?

– Не дают ему жить дома...

– Власть такая... Хороший человек, уважаемый. Привет передавай. Он меня знал.

– Ладно. Ну, тащи нам по паре «Жигулей» на брата, и чего-нибудь пожевать.

Тяжело было смотреть, как когда-то здоровый мужик, крепкий хозяин, шаркая ногами, спешит в буфет при бане за пивом каким-то молокососам.

Кроме цаповского, был еще в Орловском бывший церков-



*Моя мать Серафима
Григорьевна Иоффе, 60-е гг.*

И вот однажды во сне явился ему его покровитель, святой Трифон, и указал то место, где находился сокол. В честь этого Трифон построил тут часовню.

Существует и исторически подлинная история трифоновской часовни, но у нас бытовала эта. А в XIX веке перед часовней воздвигли большой храм Трифона Мученика. Его ломали на наших глазах, в начале 30-х годов. Дети подбирали разноцветные облицовочные плитки и обменивались ими как фантиками. От храма остались только каменные ворота с куполом наверху, со временем все более и более ржавевшим и кренящимся набок, и еще глубокие подвалы. В них устроили овощехранилище. Но они пригодились в годы войны и для другого.

А часовню XVI века не тронули. Маленькая, запущенная, среди какого-то хлама и обломков кирпичей, она стояла на небольшом бугре при выходе на 3-ю Мещанскую. Придет время, и ее реставрируют как реликвию.

Летом многие москвичи выезжали за город, на дачи. Собственных дач было мало. Большею частью дач снимали. В 1936 году родители снимали дачу в деревне Мякинино,

ный двор – в просторечии Церковка. Среди наших жителей ходил рассказ о том, как еще в XVI веке сокольничий Ивана Грозного, Трифон Патрикеев, упустил в здешних дремучих лесах любимого царского сокола. Тогда пришедший в ярость Грозный приказал Трифону не являться ему на глаза, покуда сокол не будет найден. Трифон много лет бродил в чащобах.

близ станции Павшино. Запомнилось это потому, что как раз тогда потерпел страшную катастрофу гигантский самолет «Максим Горький», и мы, к своему ужасу, могли наблюдать ее. Два маленьких самолета летели недалеко от крыльев «Максима Горького», и один из них зацепил крыло гиганта. Потом долго расследовали: случайно ли так произошло или пилот Благинин совершил «вредительство». Чем кончилось следствие – не знаю. «Максим Горький» со всеми пассажирами рухнул в районе поселка Сокол. Тогда это была окраина Москвы.

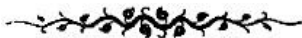
Дачные домики находились неподалеку друг от друга, и по вечерам можно было слышать игру патефонов. С крутившихся пластинок звучали песни знаменитых в то время эстрадных и оперных певцов: Л. Утесова, К. Шульженко, И. Юрьевой, В. Козина, С. Лемешева, С. Козловского, М. Рейзена и др. Они и тогда брали за душу.

Вот, к примеру, Козин:

*Осень. Прохладное утро,
Небо как будто в тумане,
И яркий свет перламутра,
Солнце холодное, тайное.
Не уходи, тебя я умоляю,
Слова любви сто крат я повторю.
Пусть осень у дверей –
Я это твердо знаю –
И все ж не уходи – тебе я говорю.*

Никто еще не знал, как скоро множество людей уйдет и никогда не вернется...

**«ВОЙНА
УЧАСТВУЕТ
ВО МНЕ...»**



Снегири

*Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.*

Это правильно: великое – в малом, в простом. Кажется, это одна из первых народных песен о войне, может быть, лучшая. В ней – понимание неизбежности, готовность принять нахлынувшую беду, покорность судьбе.

Для меня слова «22 июня» (начало войны) и название подмосковного дачного поселка (и станции) Снегири слились воедино. Произошло так оттого, что на солнечный прекрасный день – воскресенье – отец мой заказал полуторку, чтобы ехать в Снегири. Я знал почти все станции по этой Рижской дороге: Опалиха, Манихино, Нахабино, Гучково (туда мы ходили играть с местными в футбол), наши Снегири, а дальше – Новый Иерусалим, городок Истра, и еще дальше – старинный Волоколамск. Красивейшие места!

Мне было тринадцать лет, сестричке Леле – на год больше. И мы радостно предвкушали вольную жизнь на даче с замечательным названием Снегири. Мы нетерпеливо ждали машину, выбегали в переулок встречать ее. Не едет, и все тут! Должна была придти рано утром, а все нет. Наконец, громыхая, подъехала. Шофер выскочил из кабины, подбежал к отцу и крикнул:

– Ну, что делать-то будем?!

– А что такое?

– Как что? Не слышали, что ли? Война!

Как?! Но вещи собраны, упакованы, все готово. И мы поехали! Трудно теперь понять такое легкомыслие. Но это было, было...

Снегири – замечательное место. Недалеко – село Рождествено, там протекает глубокая быстрая Истра, по берегам которой сплошняком рос ивняк. Рождествено облюбовали для своих дач знаменитые в те года народные артисты, главным образом Большого театра. Мы ходили туда купаться

На станции Снегири был установлен громкоговоритель в виде большого раструба. Когда прошел слух, что выступает Сталин, все бросились туда. Там уже собралась толпа. Сталин говорил глуховатым голосом, спокойно, но было слышно, что стоило ему это немалого волнения. «Братья и сестры!.. Друзья мои!» – эти слова коснулись людских сердец...

Да, воевали как могли. Нынешние критики говорят: надо и можно было лучше. Но вот беда – их и в помине тогда не было. Это их счастье: им досталась лучшая доля...

Впоследствии в газетах, журналах, на выставках я видел много фотографий, на которых были запечатлены лица таких же людей, слушавших Сталина. И сравнивал, сопоставлял их с нынешними, с теми, кто пришел в этот мир спустя полвека и больше. Какая разница! Там было много простых, мужицких лиц. На головах – кепки, одеты в рубашки-косоворотки, поддевки. И женщины одеты скромно, большинство в платках, не видно косметики. Эти люди и приняли на себя ошеломляющий по силе германский удар...

Мы вскоре уехали из Снегирей. А немцы, продвигаясь вперед, на Волоколамском направлении в октябре дошли до Истры. Потом я узнал, что оборону в этом районе держала стрелковая дивизия полковника А. Белобородова. До Москвы оставалось всего 25 километров. Неся огромные потери, дивизия все стояла. Шесть с половиной тысяч солдат сложили свои головы в боях под Снегирями. Главный удар приняли на себя 66-я стрелковая дивизия и части 10-й армии, на помощь которым подошли сибирские войска.

Теперь недалеко от Снегирей стоит памятник: фрагмент

кремлевской стены, которую с оружием в руках обороняют солдаты. Я часто смотрю фильм, где под низким, хмурым московским небом, пригнувшись, с винтовками наперевес, проваливаясь в глубокий снег, поднимаются в атаку солдаты.

И вспоминаются строки Константина Симонова:

*Осталась только сила ветра
И грузный шаг по целине,
И те последних триста метров,
Где жизнь со смертью наравне.*

Пионерлагерь имени хана Батыя

Несмотря на набравшую размах войну, где-то и кто-то в школьном руководстве, видимо, тоже подумал, что с ней мы покончим в несколько недель, а потому пусть ребяташки, как всегда, отдохнут на природе. Дома меня не хотели отпускать. Но я настоял: мой дружок Борька Горячев едет, поеду и я! С Борькой нас сдружил фильм «Истребители» с восходившей кинозвездой Марком Бернесом в главной роли. В фильме два красавца-летчика влюблены в одну девушку – Варю, а она колеблется в выборе. Но случается беда. На задании один из летчиков слепнет. Варины сомнения кончаются: она проявляет благородство и выбирает несчастного слепца. Но в благородстве с ней состязается второй летчик: он летит за знаменитым профессором, который делает операцию, и к ослепшему возвращается зрение – счастливый конец. Мы с Борькой решили стать такими же, как герои «Истребителей». Наметили даже «свою» Варю. Ею стала наша одноклассница Инна Корсакова. «Истребителей» мы смотрели шесть раз. Как-то собрались пойти в седьмой раз, но Борьке потребовалось сперва забежать домой. Пошли. Спустились по лесенкам в полуподвал,

дверь в комнату была открыта настежь. На полу, в собственной луже, вдрызг пьяный лежал борькин отец-плотник.

– Опять набухался, – сказал Борька. – Вот мать придет...

Мы вышли во двор и стали ее ждать. Она пришла через полчаса, пнула лежавшего на полу мужа ногой и с руганью накинулась на Борьку. Я понял: мне лучше уйти, и вышел на улицу. В безоблачном небе два истребителя крылом к крылу набирали высоту. Вспомнилась прекрасная песня из «Истребителей»:

*В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.*

Я посмотрел вокруг. Несколько чахлах, пыльных деревьев. Мелькнуло и исчезло сердитое лицо борькиной матери. Тоска... А два истребителя, ушедшие ввысь, превратились в едва заметные точки.

Через два дня мы с Борькой уехали в лагерь. Он находился в деревне Шатрище, около городища Старая Рязань – города, разрушенного и сожженного в 1237 году ханом Батыем. Шатрище стояло на Оке, на другой ее стороне – городок Спасск. Туда, наверное, бежали жители Рязани, спасаясь от свирепых всадников Батые.

В нашем лагере было человек тридцать пять, большинство – марьиноорошинские пацаны шестых-седьмых классов. Матерщине и начаткам «фени» они учились в своих дворах и частично в сортирах нашей 607-й школы. Вожатый, Димка Дубровицкий, – семнадцатилетний парень полуспортивного вида, лицо которого было отмечено печатью наглостности и недоброты. Некоторых лагерных пацанов Димка явно побаивался и всячески старался им подыгрывать. Основной метод в этом был им, видно, уже опробован. Наметив «слабака», он превращал его в «козла

отпущения». Остальное было делом техники – на «козла», по мере надобности, спускалась лагерная «стая».

На сей раз «козла» определили почти сразу. Им стал я как еврей и «слабак». В колхозной общаге мне отвели самое плохое место. Звали почему-то Моськой. На работе в конюшне я вполне поспевал. Конюх Кузьмич, одноногий еще с Первой мировой, относился ко мне по-хорошему. Он научил меня запрягать лошадей, ездить возчиком. Лошадей он любил, пожалуй, больше людей. «Лошадь, – говорил он, – она добрая, послушная, безотказная. Никого не обидит. Сравни-ка ее с этим вашим вожакон. Злой мальй, а в комсомолии».

Иногда он брал гармошку, садился на бревно у конюшни и хрипловато пел-напевал:

*Брали русские бригады
Галицийские поля,
И достались мне в награду
Два тяжёлых костыля.*

*Из села мы трое вышли,
Трое первых на селе.
И остались в Перемышле
Двое гнить в сырой земле...*

Однако на полевых работах я безнадежно проваливался. Когда ребята, закончив работу, уже сидели вокруг Димки и под его руководством распевали какую-нибудь песенную похабень, я все еще находился почти посерединке отведенной мне грядки.

Как-то Димка на лагерном сборе, ухмыльнувшись, спросил:

– И до каких пор этот Моська нам трудовую картинку портить будет? Мы бы уж давно в передовых ходили. Глядишь, премию поимели бы какую-никакую. Гнать этого Моську, что ли?

Ко мне подошел Валька Душкин – один из наиболее крепких ребят и самых преданных димкиных холуев.

– Ну, вот что, Моня, – сказал он, взяв меня за ворот рубахи, – вали отсюда на ..., так, чтоб мы твой чесночный запах здесь больше не нюхали. Понял, нет?

Я высвободился из валькиных рук, повернулся и пошел в сторону. Пацаны заложили пальцы в рот, раздался свист, полетели камни. Недалеко за поворотом был глубокий овраг, и я знал, что, спрыгнув в него, стану недосыгаем ни для свиста, ни для камней. Глубина оврага и высокая трава, растущая там, надежно укрыли бы меня от Димки, Вальки, лагерной братвы, вообще от людей... Вот он, край обрыва. Я прыгнул вниз, и в тот же момент ощутил удар по голове. Сел, приложил ладонь к затылку, посмотрел. Ладонь была в крови... Куда идти? Побрел в конюшню. Кузьмич подорожниками залепил мне ранку на голове, последними словами ругая Дубровицкого.

– И чего он такой злобный к тебе, этот ваш комсомолец? Евреев не терпит, они у него все – жида. А я вот, когда в Карпатах в пятнадцатом годе воевал, у нас в роте два братьельника-еврея служили. Каганы, кажись, была им фамилия. Я, брат, мужиков такой смелости не видывал! В рукопашные ходили. Ты хоть в кино рукопашную видел?.. Сам начальник дивизии, генерал Корнилов, прибыл, лично кресты приколот, каждого обнял. «Спасибо, – говорит, – братцы». Вишь как: «братцы»! Ну, что делать, потерпи. Найдется и на вашего управа.

Лагерь просуществовал недолго. Из школы прислали учительницу русского языка и литературы по прозвищу Мармынка. Большую часть ребят она забрала. За другими, еще остававшимися с Дубровицким, приезжали родители. За мной приехал отец. Он не стал расспрашивать о лагерной жизни – по-видимому, все понял сам. Домой плыли по Оке на барже, а навстречу двигались теплоходы, грузовые платформы, баржи, переполненные покидавшими столицу людьми. Немцы рвались на восток.

Дома мы пробыли дня два. Еще стояло лето, а у сестры моей матери и ее мужа имелась небольшая дачка в Баковке, по Белорусской железной дороге. Они пригласили нас. Считали, что в Баковке будет безопаснее.

Солдаты нашего двора

Немцы взялись бомбить Москву спустя месяц после начала войны – 22 июля. Город насупился. По улицам и площадям проходила пехота, кавалерия, танки. Мобилизованные девчонки в юбках-х/б и пилотках медленно тянули «под уздцы» огромные азростаты воздушного заграждения. По вечерам и ночам противно выли сирены. Стали приходиться извещения об убитых. Их называли «похоронками».

Нашим бомбоубежищем стал церковный двор – Церковка, вернее, как я уже писал, подвалы, сохранившиеся от разрушенного храма Трифона Мученика. Из овощных складов они были превращены в бомбоубежища. В них было холодно, несло сыростью и гнилью, но зато было надежно, и все терпеливо ждали сигнала отбоя.

Рядом с Церковкой, отгороженный от нее проржавелой железной изгородью, целый квартал занимал двор Московского областного научно-клинического института (МОНИКИ). Теперь в его корпусах разместили госпитали. Поправлявшиеся раненые были одеты в застиранные байковые халаты синего или коричневого цвета, почему-то всегда распахнутые, полотняные белые кальсоны с болтающимися завязками на щиколотках и тапочках. Они бродили по больничному двору, толкались возле изгороди, заигрывая с проходившими по улице девчонками. Иногда они кого-нибудь подзывали к решетке:

– Эй, малый! На тебе гроши, сыпь в Солодовку, возьми там чекушку!

– Мне не дадут! Я там никого не знаю.

– Дадут! Скажешь – в госпиталь на Мещанке. Давай, не тани резину!

Все хорошо знали, что такое Солодовка. Это был огромный кирпичный дом, занимавший целый квартал на углу Трифоновской улицы и 2-й Мещанской.

Он назывался так по фамилии купца-мультимиллионера и филантропа Гаврилы Гавриловича Солодовникова. Еще в начале прошлого века он построил эту домину на свои деньги для бедняков и малоимущих. Со временем стали считать, что Солодовка превратилась в прибежище бродяг, воря, хулиганья. Подпольно там можно было достать и водку.

Было приказано наклеить на стекла окон крест-на-крест бумажные ленты, во дворах вырыть щели, чтобы в особых случаях укрываться в них, снести заборы дворов для уменьшения угрозы пожаров. Заборы снесли, дворы наши соединились, обнажив покосившиеся сараи для дров, мусоросборники, другие «необходимые удобства».

Мы «слились» с двором, где находились длинный одноэтажный дом и флигель. В доме проживало семейство Белугиных. У них было три сына: старший Володька, средний Сергей, которого почему-то все звали Лялькой, и младший Валька, по прозвищу Бычок. Володька – здоровенный верзила – уже не один год работал с отцом на заводе кузнецом. Как сейчас вижу их, возвращающихся с работы. Идут медленно, усталые, чуть ссутулившись, с сумками в руках. Впереди – отец, за ним – Володька... А Серега, в отличие от брата, – небольшой, худощавый, верткий. Хорошо играл в футбол, хоккей и разные дворовые развлечения.

В войну почти исчезли конверты для писем. Люди наладись сворачивать их в треугольнички, и они, после проверки цензурой, расходились по всей стране. От Володьки сперва треугольнички родителям приходили часто, а потом только

осенью 41-го года. Писал, что живой и здоровый. От Сереги пришло два известия, тоже 41-го года. Сообщал, что в военном училище и скоро на фронт. И все. Больше треугольников ни от Володьки, ни от Сережки так и не пришло.

А флигелек занимали мать с сыном – ровесником Сережки Белугина. Его звали Лева Киселев. Отца посадили еще в начале 30-х. Мать очень опекала сына, формируя из своего любимчика примерного, интеллигентного юношу. Киселев с Белугиными не дружил, к нам заходил редко.

Его тоже почти сразу после начала войны призвали в армию. В отличие от братьев Белугиных, ему повезло: он вернулся. Говорили, что он за что-то попал в штрафбат, несколько раз ходил в штыковые атаки, участвовал в рукопашных боях и «сломался». По ранениям его комиссовали, но он стал совершенно другим человеком. Мать во время войны умерла, Лева, получивший несколько ранений, болел, стал пить все больше и больше. Из Левы он превратился в Левку Киселева. Одетый в старую, растянутую фуфайку, в ботинках без шнурков на босу ногу, брел он, всегда пьяный или полупьяный, по Орловскому переулку. Останавливал кого-нибудь и предлагал беззубым ртом:

– По стакану? Не хочешь? Ну, тогда иди на ...

Через некоторое время прошел слух, что Левку Киселева увезли в какой-то специальный дом...

16 октября. Эвакуация

В Баковке мы хотели укрыться от бомбежек, но оказалось, что Баковка лежала как раз по курсу полета немецких бомбардировщиков, направлявшихся к Москве. Нередко, не сумев долететь до нее из-за действий наше ПВО и истребителей, немцы беспорядочно сбрасывали бомбы на близлежащие к Москве станции, в том числе на Баковку. На дачных участках многие жители рыли щели и во время бомбежек (обычно по

ночам) прятались в них, чтобы уберечься от бомбовых и оружейных осколков. Мы тоже вырыли.

Как-то рано утром я вылез из щели и увидел: весь наш участок стал белым. Побелел он от множества листовок, сброшенных немецкими самолетами. Я поднял одну из них. Крупным черным шрифтом в ней было напечатано, что фюрер не хотел войны, что это Сталин готовился напасть на Германию и фюрер вынужден был действовать превентивно. А дальше содержался призыв свергнуть жидовско-коммунистическое правительство. Много лет спустя я прочитал то же самое в книжке беглого советского разведчика по фамилии Суворов... Жаль, что не сохранил хотя бы одну листовку...

А немцы подходили к Москве. Говорили, что некоторые их танки прорывались чуть ли не до Химок, и вот-вот могут пойти по московским улицам. Распространялись слухи, что Сталина в Москве уже нет, но по радио выступил секретарь МГК А. Щербаков и сказал, что Сталин в Москве.

В октябре быстро начало холодать. Над городом закружился первый, еще редкий снег. Ветром его заметало к кромке тротуаров, и он лежал там, не таял. Ни разу не пробилось солнце. Иногда казалось, что даже днем полутемно. 16 октября в городе вспыхнула паника. О ней впоследствии писали многие свидетели. Спустя годы в каком-то журнале я прочитал дневник известного довоенного писателя Первенцева, автора книги о кубанском Чапаеве – Кочубее. Первенцев тогда записал, что обстановка в Москве в середине октября была такова, что вполне могло вспыхнуть восстание. Конечно, Первенцев видел и знал несравненно больше меня, мальчишки, но мне теперь думается, что он все-таки хватил лишку. Кто мог восстать? Не было таких организованных сил. Но несомненной фантазией, ложью явились поздние «воспоминания» о том, что якобы многие московские молодые жен-

щины, готовясь к встрече с немецкими солдатами и офицерами, чуть ли не толпами шли в парикмахерские делать модные прически и маникюр!

А в нашем заброшенном, забытом богом Орловском переулке ни 16-го, ни 17-го ничего особого не происходило. Учреждений и магазинов – никаких. Грабить нечего. Правда, ветер нес какие-то листы бумаги, переворачивал брошюры. Из окон нашей квартиры, крест-накрест заклеенных бумажными лентами, видны были очень редкие прохожие, какие-то ссутулившиеся, съжившиеся. Они шли быстро, почти бежали, скрывались в дверях домишек или юркали во дворы, заборы которых, как я уже писал, были сломаны из-за угрозы пожаров во время немецких бомбежек. Тишина... Два-три грузовика с грохотом промчатся по бульжной мостовой и исчезнут на Трифоновке.

Мы сидели на кухне с соседями Моховыми. Их было трое: Елена Феофиловна и ее дети – Колька и Галка. Кузьма Васильевич по-прежнему находился в заключении, и у его семьи было нехорошее отношение к советской власти. Проще сказать, Елена Феофиловна была не прочь, чтобы пришли немцы. По карточкам уже почти ничего не выдавали, и она говорила прямо и открыто: «Придут немцы, так хоть, может, продукты появятся. Уж скорее бы приходили, господи боже мой...». Она не стеснялась, хотя хорошо знала, что будет означать для нас приход немцев. Из белорусских местечек, где жила вся отцовская родня, никаких известий не приходило. Мы понимали, что это означало. Слушали и молчали. Нечего было сказать. Мучительно думали: уезжать или оставаться? Все пожитки были уже несколько дней как упакованы в чемоданы, коробки и пухлые узлы. Уезжать? Куда? А вдруг наши отобьются? К ночи 17-го колебания кончились: надо уезжать, может быть поздно.

Не помню, совсем не помню, как ранним утром 18 октября

мы со всеми своими пожитками добрались до Курского вокзала. Ту площадь Курского вокзала вижу как будто сейчас. Теперь такой ее помнят, наверное, немногие. Огромное асфальтовое пространство было сплошь завалено разным домашним скарбом, как будто вся Москва вытащила его из своих квартир и разложила здесь. Среди этого скарба бродили люди, сидели или лежали на нем. Ждали железнодорожных составов, чтобы со всем этим имуществом втиснуться в его вагоны, покинуть Москву, уехать, уйти на восток от нависающей над городом смертельной угрозы. Но никаких составов не подавали и никто ничего не обещал. Ночь с 18 на 19 октября в этом огромном «курском таборе» прошла тихо. Немцы в ту ночь не бомбили Москву. Наверное, они уверовали, что Москва уже вот-вот у них в руках, и хотели, чтобы она досталась им целехонькой. А может быть, были какие-нибудь другие причины.

Утро 19 октября вставало хмурое, промозглое. Когда совсем рассвело, вдруг голосом диктора Левитана заговорили находившиеся на высоких столбах радиоустановки. Они были похожи на большие трубы старинных граммофонов, на площади их находилось несколько. «Постановление Государственного комитета обороны о введении в Москве и прилегающих к городу районах осадного положения» – читал диктор Левитан. Огромная площадь замерла, вслушиваясь в его уже давно привычный мощный голос. «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 км западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии Жукову...».

Необычным, неожиданным было первое слово – «сим». И тогда было, конечно, понятно, что оно означает, но употребление его в постановлении такой исключительной важности, видимо, не было случайным. Старорусское слово, к тому же из духовного, религиозного словаря, – так мог написать

только сам Сталин, в далеком прошлом учившийся в духовной семинарии. Сейчас мне кажется, что тогда, в час нависшей смертельной угрозы, он вспомнил его, полагая, что оно знакомо, а, главное, близко людям. В нем, в этом коротеньком слове, ныне мне слышится историческая русская даль, сила многовековой веры. О суровости Постановления говорило то, что оно требовало «провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте». Постановление подписал И. Сталин. Стало ясно: Москву «просто так» не сдадут, она будет обороняться до последнего.

И мы решили: хватит сидеть на площади под хмурым небом, возвращаемся домой, и будь что будет. Мама уже хотела искать грузовик или извозчика, которые согласились бы отвезти нас в наш Орловский, но, видно, так уж бывает: жизнь поворачивается другой стороной в самый критический момент. К нам бежал знакомый мужчина с перекошенным от крика ртом: «Состав! Дали состав! На второй платформе, быстрее! Дали состав!» Увлекаемые полубезумным порывом толпы, мы подхватили свое барахло и бросились к железнодорожным путям. Лезли и в двери, и в окна, через головы людей бросали на площадки вагонов свои пожитки, карабкались кто как может. Нам помогали знакомые, без их помощи нам бы в вагоне не оказаться... Вагон, в который мы втиснулись, был плацкартным. Несмотря на страшную тесноту, разместились быстро и без всяких пререканий. Некоторые занавесили свои полки одеялами, простынями, другими материалами. Никто из попутчиков мне не запомнился. Думаю, что и многим другим тоже. Люди были глубоко погружены в то, что с ними произошло и что еще ждет их впереди.

Состав наш не шел, а тащился, подолгу простаивая на станциях и полустанках, а то и просто где-нибудь в чистом поле. Мы стояли часами и сутками, а в другую сторону, на запад, шли и шли воинские эшелоны. Платформы с закрытыми

брезентом танками, орудиями, самолетами. И теплушки, бесконечные теплушки с солдатами. Последние вагоны, на открытых площадках которых стояли часовые в длинных тулупах, вечерами и ночами мелькали красными фонарями, и поезд исчезал во тьме. А днем солдаты стоявших эшелонов часто отодвигали двери теплушек и, сгрудившись у дверей с поперечным деревянным засовом, разглядывали нас, дымили самокрутками. Они-то знали, куда едут...

Город Глазов. Удмуртия

Наш поезд шел к Уралу. На десятые сутки пути он остановился между Кировым (Вяткой) и Молотовым (Пермью) на станции города Глазова. Потом я узнал, что это был последний пункт, до которого в гражданскую войну дошли войска Верховного правителя адмирала Колчака, после победы над красными под Пермью. Кто-то сказал, что Глазов – неплохой городок, народу тут немного, жизнь, может быть, не очень дорогая. Есть смысл выходить здесь. И мы вышли.

...Почти пустынно. Несколько человек бродят по платформе. Грязь довольно большой привокзальной площади припорошил недавно выпавший снег. Возле построек, похожих на сараи или амбары, лошаденка, запряженная в какую-то таратайку. Маленький мужичок, одетый в ватную телогрейку, перехваченную сыромятной опояской, поправляет хомут. Мы подошли к мужичку. У него были воспаленно-красные с язвочками глаза:

– Здравствуйте. Не могли бы вы отвезти нас в город?

Продолжая возиться с хомутом и не глядя на нас, мужичок ответил:

– Дак чего не отвезть? Отвезть можно.

– Много возьмете?

– Да сколько дадите. Может, у вас чего из одежды или обуви есть?

– Есть, конечно, есть.

Сторговались за теплую рубашку.

– Дак куда везти?

– Мы эвакуированные. Нам, наверное, в эвакуопункт. Есть тут такой?

– Как не быть? Много народу-то прибыло.

Поехали. На улицах грязь тоже перемешалась со снегом, и лошадка медленно тянула таратайку. Удивляли деревянные тротуары, высокие, похожие на мостки. Нигде раньше мы не видели таких. Прохожих мало. В эвакуопункте пожилая женщина с теплым платком на голове, замотанном и завязанном вокруг шеи, дала нам адрес, где можно было, как она сказала, «встать на квартиру». Красноглазый мужичок повез нас по этому адресу еще за одну рубаху. Привез к недавно построенному дому на окраине города. Навстречу вышел хозяин – коренастый мужик с льяными выющимися волосами. Отрекомендовался:

– Хрисанф Михайлович я. А жена моя – Марья, она сейчас в отъезде, в деревню к своим поехала.

Комната, которую мог предложить нам Хрисанф Михайлович, была маленькой для троих: метров восемь-девять. Он и сам хорошо понимал это. Сокрушался:

– Да что делать? Другой-то нету. А я вот что: я парнишке полати наверху уделаю, он там и спать будет.

И, обращаясь ко мне, сказал:

– На втором этаже жить будешь. Плохо ли? Я тебе туда радионаушники подведу, слушать будешь про все. А днем, когда еще светло, и книжки-учебники там читать можно. Хорошо!

Все так и сделал рукастый добряк Хрисанф Михайлович. Я славно жил на втором этаже, «уделанном» Хрисанфом Михайловичем. Сколько книжек я там прочитал, лежа на соломенном матрасе и укрывшись в холода шинелью, которую и носил... По

вечерам, когда темнело, спускался вниз, садился за стол, на котором стояла бутылочка с керосином и опущенным в него фитильком. Слабенькое пламя этого фитилька тускло освещало часть стола. Мать ставила передо мной миску с вареной картошкой, заправленной льняным маслом. Уминая картошку, я читал когда-то прекрасно изданные и отлично сохранившиеся книги, взятые из школьной, ранее гимназической библиотеки. И все там, у себя на полотах, или внизу, под колеблющимся огоньком фитилька.

Хрисанф Михайлович во многом опекал нас. Предупреждал, давал советы, помогал. За свой десятидневный рейс в поезде мы обовшивели. Мыло не помогало. Хрисанф Михайлович дал совет:

– А вы керасином попробуйте. Вошь керасина не выдерживает, я по опыту знаю. Попробуйте.

Мы попробовали: точно! Даже густые и длинные волосы моей сестрички быстро очистились.

Выдаваемых по карточкам скудных продуктов не хватало. Приходилось ходить на рынок и выменивать там какие-нибудь вещи на хлеб, картошку, льняное масло. Привозили их обычно из деревень удмурты (раньше их называли вотяками), но Хрисанф Михайлович сразу предупредил:

– Тут смотрите, у кого берете. В деревнях у удмуртов почти сплошь трахома. Раньше и в Глазове была, вывели. А в деревнях, видать, не поспели: война. Выбирайте мужиков, у каких глаза почище, а мыть все, что моется, надо лучше.

Два-три раза в неделю Хрисанф Михайлович обязательно приходил к нам, спрашивал:

– Может, что надо? Мы люди простые, сами можем не доглядеть. Вы не стесняйтесь, говорите. Я все уделаю.

Несколько раз предоставлялась возможность переехать в большую квартиру. Но не хотелось менять золотую душу Хрисанфа Михайловича на большую жилплощадь. Все же в конце



Я с отцом. Глазов, 1942 г.

концов пришлось переехать: очень уж тесно. Нового хозяина звали Петр Петрович Трапезников. Он владел большим двухэтажным домом, двор которого огораживал высокий забор. Трапезников работал в единственной в городе часовой мастерской, ремонтировал часы. Работал один, без помощников. Был он очень малого роста, немного горбатенький, похож на гнома. Но детей у этого «гнома» имелась целая куча – восемь душ!

Война войной, а мальчишеская жизнь шла своим чередом. Зимой лихо спускались на лыжах с крутого берега Чепцы (приток Камы), демонстрируя свою смелость курсантам эвакуированного в Глазов Ленинградского пулеметно-пехотного училища. Я, конечно, не мог тогда знать, что среди этих курсантов находился будущий «архитектор перестройки», правая рука Горбачева А.Н. Яковлев. И тем более не предполагал, что через много лет буду безуспешно поступать в аспирантуру Ярославского пединститута, подчиненного зав. отделом школ и вузов Ярославского обкома партии тов. Яковлеву А.Н. А еще спустя почти двадцать лет даже окажусь в группе историков, которая в перестроечные годы под его руководством начала было писать, но так и не написала настоящую, «правдивую» историю большевизма. События тогда стремительно опережали нас, и скоро большевизм вообще перечеркнули большим жирным крестом. И одним из инициаторов этого «перечеркивания» станет сам А.Н. Яковлев. Но об этом – речь впереди.

Военные пряники

Глазов, как уже сказано, стоит на реке Чепце. Она – сплавная. Плывший по ней лес достигал до перекрывающей реку «запани» и останавливался. В летние каникулы мы, мальчишки, испытывая свои ловкость и быстроту, купались в Чепце, бегая по бревнам «запани». Это было рискованно: можно было уйти под воду вместе с тонущими под нашим весом тяжелыми бревнами. Со мной однажды так и случилось. Вытащил меня одноклассник Аркадий Лекомцев. Я просил его и других ребят ничего не говорить матери, но она все же каким-то образом узнала о случившемся. Чтобы отвести меня от Чепцы, мама попросила Трапезникова на лето взять меня «подмастерьем» к себе в мастерскую. Он согласился.

Учебу у него я начал с «ходиков» – настенных часов с расписанными разными картинками железным циферблатом и двумя подвесными гирями. Чинить в них в общем-то было нечего. Надо было их разобрать и очистить от паутины, дохлых мух и клопов, набившихся в простейший механизм «ходиков» за долгое время. До меня Трапезников «ходики» в ремонт не брал, а тут их владельцы пошли один за другим.

– Дак удаеам! – бодро говорил им Трапезников.

Когда я освоил «ходики», Трапезников доверил мне будильники. Наверху их корпуса был установлен металлический купол, в который в установленное время оглушающе трещал молоточек. Будильники эти я тоже довольно быстро научился «уделявать».

Половина Глазова, наверное, побывала у нас. Но мне особенно запомнился высокий военный, который часто приходил и всегда шумно и весело произносил: «Привет рабочему классу!»

Мастерская, в которой мы работали, была весьма просторной. Но однажды появился высокий дядя кавказского типа и сказал, что ему позволили отгородить часть мастерской под помещение для выпечки пряников. Пришли плотники, быстро возвели из плохо обструганных досок стенку, потом какие-то люди завезли

печку, еще что-то. Теперь пряничный дух наполнял нашу мастерскую. Я подходил к стене, припадал глазом к щели между досками и смотрел, смотрел, как из печи две женщины вынимают противни с румяными пряниками. Пряники во время войны! Не чудо ли? Может ли быть такое?

Человек кавказского типа – его звали дядя Ашот – заметил мой «наблюдательный пункт» и как-то раз позвал меня из-за стены:

– Мальчик, зачем смотришь? Зачем подглядываешь? Ай, нехорошо. Зайди, присядь и спокойно покушай пряники!

Я зашел и потом заходил несколько раз. Дядя Ашот обычно завертывал в газету еще несколько пряников и говорил:

– Дома сестрицу угостишь. У тэбя есть сестрица? Маму угостишь, нэ забудь.

Но недолго длилась моя «пряничная жизнь». Явились другие люди, сломали стенку, увезли оборудование. Исчез и дядя Ашот. Говорили, что его «забрали». Не знаю. Только вот его военные пряники мне не забыть.

В Глазов, как уже отмечалось, эвакуировали Ленинградское военное училище. Молодые его курсанты были неотъемлимой приметой города. По-ротно или по-взводно они маршировали по улицам, распевая бодрые солдатские песни. Вот идут в баню, «на помывку», со свертками сменного белья в руках. Под грохот кирзовых сапог кто-то высоким тенором запекает:

*Распростился с Нюрой чернобровой
У фонтана около реки,
И сказал я Нюре той бедовой:
Нюра! Ухожу я в моряки.*

Другие басовито подхватывают:

*В гавани, в знакомой гавани,
Пары подняли боевые корабли
На полный ход. Уходим в плаванье
С кронштадтской гавани,
Чтоб стать на страже советской земли.*

Шагавшему рядом знакомому капитану Маслову, отцу моего одноклассника Славки, песня не по душе, и он комадует: «Курсант Савченко! Давай другую!»

И вся рота вслед за Савченко «дает другую»:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину, огонь, огонь!*

Песни... Эти песни пели мальчишки-курсанты, уходившие на фронт. А там, на фронте, и у нас в тылу, были другие песни, по сей день бередящие души тем, кто, просыпаясь от раскатов грома и сверкающих молний, все еще может подумать, что это, как писал Р. Рождественский, «грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны».

Песни военных лет! Песни-оружие, песни-надежда...

«Давно мы дома не были...»

В конце 43-го года эвакуированные постепенно стали возвращаться. Но необходимо было получить специальный вызов. Наконец, вызов пришел и нам. Быстро собрали свое барахлишко. Поезд, шедший с Дальнего Востока, останавливался в Глазове минуты на три. Если бы не помощь многих провожавших нас школьных друзей, он ушел бы без нас. Когда состав остановился на станции, двери всех вагонов оказались задранными. Лишь в хвостовом проводница немного приоткрыла их, стоя с флажком на площадке тамбура. Бросились туда. Проводница размахивала флажком, показывая, что мест нет и что она никого не пустит. Леня Горопов (одноклассник моей сестры), парень сильный и ловкий, плечом отодвинул ее вглубь тамбура, крикнув стоявшим внизу: «Давай!». В тамбур полетели наши вещи, влезли туда и мы сами. Поезд тронулся.

В тамбуре было холодно, и все-таки пожалевшая нас проводница позволила нам перейти в коридор, а потом на освободившиеся полки.

Некоторое время мы с сестрой переписывались с глазовскими друзьями, однако постепенно переписка оборвалась. Но никогда мне не забыть черноглазенькую Гелю Хомякову, влюбленного в стихи А. Блока поэта Юру Масловского, утонувшего в Чепце, когда спасал девочку, Кирку Копосова и Леню Торопова – друга моей сестры. Став позднее моряком, он погиб в аварии в подводной лодке. Я до сих пор вижу их на пустынной станции Глазова. Вот Юрка Масловский, улыбаясь, машет рукой, а Леня Торопов все бежит и бежит рядом с набирающим скорость поездом, что-то крича. Нет, ничего не слышно...

В апреле 1944 года мы вернулись домой.

Уже на другой день я пошел по улицам нашего «околотка». Дошел до Самотеки. День стоял теплый, солнечный. И вдруг я ощутил невероятные радость и блаженство. Продолжалось это всего две-три минуты. Много лет спустя я рассказал о случившемся старому знакомому, с которым прогуливался по Патриаршим прудам. Он остановился, внимательно посмотрел на меня и вполне серьезно сказал:

– А над вами тогда ангел пролетел. Вы оказались в полосе его пролета.

Я засмеялся. Если бы так...

К концу войны наш Орловский «обрюзг и одрях». Сломанные заборы обнажали грязные дворы с помойными контейнерами, наспех сооруженными будками для необходимых нужд, покосившимися сараями. Соседи приспособили наши две комнатки под личный склад картошки. Понятно, во что эти комнатки скоро превратились. В подвале под нами уже никто не жил, там стояла гнилая вода, и ее запах заполнял все помещение.

Впрочем, еще до нашего возвращения соседям пришлось свой картофельный склад ликвидировать. Комнаты отдали под жилье инвалиду войны Ивану Гребенникову и его многочисленной семье. Жена Гребенникова чуть-чуть не дотягивала до звания «мать-героиня». У нее было семь или восемь детей, начиная с семнадцати лет и кончая почти грудным младенцем!

Трудно было понять, как бывшего фронтовика с огромной семьей могли поселить в такую халабуду. Гребенников был малограмотным деревенским мужиком, до войны – возчиком, и, видимо, принимал все как должное. В доме над ним посмеивались.

Наше положение, однако, было не лучше гребенниковского: нам вообще негде было жить. Добрые люди подсказали путь – «к Гальке Тумановой». Говорили: «Не подмажешь – не поедешь». Туманова – двадцатипятилетняя деваха неплохой внешности – занимала должность домуправа. В ее ведении находилось несколько домов в нашем Орловском переулке, Орловском тупике и на Церковке. Не знаю, через кого именно, но ей, как тогда говорили, «положили на лапу», и она подписала бумагу на въезд в комнату на первом этаже двухэтажного дома на Церковке. В этом доме в былые времена жили священнослужители храма Трифона Мученика. Там, где домуправ Туманова «отписала» нам одну комнату, раньше была пятикомнатная квартира священника по фамилии Ярре. Но теперь ее поделили на пятерых. Худшая (напротив чулана с парашей) была оставлена за женой ссыльного священника (все в доме ее звали «матушка») и ее невестки по имени Муся. Муся была худой, злой, и матушка как огня боялась ее. Обе с нетерпением ждали возвращения из армии сына и мужа Димы. Старшего сына еще задолго до войны, как тогда говорили, «выварили в пролетарском котле», и он где-то навсегда исчез.

А меня постоянно тянуло в Орловский. Наши ребята – Колька Мохов, Пашка Королев, Витька Шишкин и еще один знакомый парень, «кореш» с Тузовского проезда Исаак Бочман – были с конца 25-го или 26-го годов. Призываться им надлежало не раньше окончания 43-го. В войну не спрашивали: сколько тебе лет? Спрашивали: с какого ты года? Это сразу определяло время призыва в армию.

Но еще осенью 42-го года родственница Королевых устроила своего племянника Пашку и Кольку Мохова на авиационный завод за Семеновской заставой, где много лет работала сама. Там им выдавали рабочую карточку (800 граммов хлеба, иждивенцы получали по 400) и некоторые другие продукты. Бочман вскоре тоже пошел работать монтером на военный завод «Борец», находившийся в Марьиной Роще. Когда мы возвратились из эвакуации, ребята все еще трудились на заводах. В армию их не призывали – у них была «бронь».

Работали тяжело, десять-одиннадцать часов. Бывало, что иной раз и «мастырились», чтобы получить на пару-другую дней больничный лист. Положит руку на каменную ступеньку лестницы нашего дома и бабахнет молотком по суставу большого пальца руки. Вскочит, кричит. Больно! Кисть на глазах синеет, вспухает. Или выкурит чуть ли не полпачки «Беломора», вызывая болезненное седцебиение. За «мастырку» под суд полагалось. Но что было, то было...

Заводские ребята иногда приезжали к нам в Орловский. Чаше других появлялся «Мартыныч», почему-то всему удивлявшийся. Удивлялся он и глядя на меня. Я носил очки в роговой оправе, и «Мартыныч» с искренним изумлением говорил:

– Глянь! Корешок-то, как Ботвинник!

Мне запомнился Федя Хаев – паренек небольшого роста, худенький, на голове кепка-малокозырка. За отличную работу он был награжден орденом Ленина (ребята называли это:

Федя Ленца схватил). Шли все в бочманский двор. Федя хорошо играл на гитаре. Присядет, бывало, на лестничную ступеньку, ударит по струнам и запоет.

Лучше всего получались у него блатные песни.

*Вот поезд летит по широкой равнине.
Кондуктор! Нажми на тормоза!
Я маменьке родной с последним приветом
Хочу показаться на глаза...*

Хорошо пел Федя и песни военных лет.

*Давно мы дома не были,
Цветет родная ель.
Как будто в сказке-небыли,
За тридевять земель...*

Где он теперь, этот Федя? Где все другие?

*Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней...*

«Большой вальс»

До войны советская радиопромышленность выпускала приемник СИ-235 (главная станция – «имени Коминтерна»). Приемник был похож на большой четырехугольный ящик. С началом войны власти реквизируют эти ящики, опасаясь немецкой радиопропаганды. Вместо них выдали расписки с обещанием вернуть приемники... после войны. Конечно, об изъятых СИ-235 в ходе военных трагедий совершенно забыли, но уже в 1944 году (вот чудеса!) их стали возвращать владельцам. И вот однажды я услышал по своему СИ, что по Москве поведут пленных. Со всех ног бросился на Самотеку.

Мне повезло. Я успел и стал свидетелем исторического

события – движения массы немецких пленных солдат и офицеров по большим улицам Москвы. Прогон немцев называли (в НКВД) «Большой вальс». Это было в июле. Немцев, главным образом из группы «Центр», собрали в районе стадионов «Динамо» и «Юных пионеров». Оттуда двинули по Ленинградскому шоссе, довели до пл. Маяковского, а затем разделили на два «рукава». Один пошел направо, к Павелецкому вокзалу, другой – налево, на Курский вокзал. Измученные, обшарпанные, в расстегнутых зеленоватых мундирах, немцы казались мне похожими на огромное сборище мышей. Они не шли, а брели. Впереди – генералы и офицеры. На тротуарах стояли толпы людей. Стояли, в основном, молча, тихо.

Много лет спустя Евгений Евтушенко написал в своих мемуарах, что он, якобы, был свидетелем сцен, когда некоторые женщины подбегали к колонне пленных немцев, и из жалости и по доброте душевной совали им куски хлеба. Не знаю, где стоял тогда мальчик Евтушенко. Там, где стоял и шел параллельно колонне я, этого не было и вряд ли могло быть. Хлеб выдавали строго по карточкам. Кто мог отдать, пусть даже и поверженному врагу, свой собственный хлеб? Почти у каждого, кто наблюдал за продвижением немцев, кто-то не вернулся с войны или вернулся раненым. Никакого сожаления к немцам не было и не могло быть. Их ненавидели. К. Симонов в яростном стихотворении призывал:

*Так убей же немца, убей!
Так убей же хоть одного,
Сколько раз увидишь его,
Столько раз и убей!*

Позже он заменил «немца» «фашистом». Но это было сделано явно в угоду новым политическим установкам.

«Правда» напечатала статью «Товарищ Эренбург упро-

щает», в которой критиковала писателя за непримиримую антинемецкую пропаганду в годы войны. Времена менялись. По-видимому, уже разрабатывались планы создания ГДР. От ненависти надо было переходить к дружбе. В угоду политике Симонов «поправил» правду. А Евтушенко... По-моему, он просто скалькировал старую «Владимирку», по которой брели арестанты, а сердобольные русские женщины подбегали и давали им в дальнюю дорогу харчи.

Женька

По старому соседству я часто приходил к Кольке Мохову, в Орловский. Как-то раз в дверь постучали... Вошел солдат. На нем была укороченная шинель, подпоясанная дерматиновым ремнем, несмотря на летнюю погоду – ватные армейские брюки заправлены в кирзовые сапоги, на голове, почти на лбу и набекрень, чудом держалась замасленная пилотка. Одной рукой он держал шнурок висевшего за плечом мешка, другой опирался на суковатую палку.

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие, – сказал Колька, не поднимаясь со своего дивана.

Солдат снял с головы пилотку и усмехнулся:

– Наше благородие – ваше превосходительство. Тетя Лена моховская здесь проживают?

Колька чуть приподнялся:

– Тетя? Это как раз ее окоп. А ты что, в ее племянниках обретаешься?

Солдат кивнул головой:

– Точно. Мы с тобой, ежели ты ее сын, двоюродные братья!

– По такому случаю пузырь срочно нужен. Посылай меня за водкой.

– Не надо. При себе.

– Тебя как звать-то?

– Женька. Старший сержант Сеница.

– Сеницын?

– Сеница! Птичка такая.

Женька снял шинель, на застиранной гимнастерке звякнули медали.

Вечером пришла «тетя Лена» – Елена Феофиловна.

Она работала в театре Вахтангова буфетчицей и всех будущих народных артистов знала еще совсем молодыми, почти мальчишками.

Женьку Елена Феофиловна приняла. Между старой изразцовой печкой, давно уже не топившейся, стеной и обеденным столом втиснули завалившийся топчан – Женькино место. На этом топчане он спал, сидел, когда ел или с кем-нибудь разговаривал. У него было перебито колено правой ноги, она не сгибалась, и он всегда держал ее вытянутой, отставленной немного в сторону, и время от времени слегка постукивал по ней палкой. Был он всегда в одной и той же расстегнутой гимнастерке с боевыми медалями. Густые черные волосы его падали на лоб, глаза улыбающиеся, веселые. Он постоянно что-нибудь рассказывал.

Говорил ли он правду или привирал немного – это для нас не имело особого значения. Война кончилась, но все еще дышало ею. Все напоминало о ней. Мы не «отошли» от нее ни на шаг, все еще жили ею.

Свои рассказы Женька обычно начинал со слов: «А вот я вам еще такое дело расскажу». И рассказывал, например, как в группе полковых разведчиков ночью ходил в немецкие траншеи «братя языка».

– У нас старшой был, Хиз. Одесский малый. Росточка небольшого, но силища в нем дьявольская таилась. Вроде как Григорий Новак, и на лицо даже схожий. Финкой действовал – я такого не видал, хотя в кичмане бывал. Он и нас научил: наповал били. Раз ночью спрыгнули в немецкие траншеи. Слышим: идут немцы. Темень... Втиснулись в стенки, ждем. Трое! Я бормочу:

– Ну, господи...

Хиз мне на ухо:

– Бог не фраер. С ним не скорешись... Пальцы, м..., ото-
двинь от рукоятки. Твой левый. Мочи его!

Другому нашему парню – Ваньке Лисовскому, его потом
убило – назначил замочить правого. «А среднего, – говорит, –
я валю. Его и тащим». Сделали все, как он сказал. Ножи в шею
по рукоять вошли. А Хиз кулаком «своего» свалил, оглушил.
Километра два его тянули: здоровенный был, черт! Его, Хиза,
к Герою представляли, но наверху нашли что-то в его одесской
биографии, вроде сидел он за грабеж. Отклонили.

Конец войны Женьку застал в Австрии. Демобилизовали
его не сразу. Об этом периоде своей солдатской жизни Женька
рассказывал чуть ли не как о пребывании в доме отдыха. Но ду-
мали, как оно там, в России. Некоторым давали отпуск домой.
Побывал дома, в Костромской области, и Женькин друг –
Васька Бортников. Когда вернулся, Женька спросил: «Ну как
там у вас, в деревнях-то?» Васька отвел Женьку в сторонку,
тихо сказал: «Женя, кругом одна солома! Вот что война-то
наделала, Женя. Как жить будем? Только молчи об этом...»

Но долго Женькина жизнь у Моховых продолжаться не
могла. Тут и без него повернуться было трудно. Нервничала
«тетя Лена», капризничала Колькина младшая сестра Галка,
девчонка своенравная и нагловатая. И Женьке дали понять:
надо искать тебе новое пристанище.

Он ушел. Некоторое время толкался на Тишинке, где
было много инвалидов войны. Одни продавали сасовскую ма-
хорку, насыпанную в обрезанные алмазом стаканы. Этим за-
нимались неходячие. А те, кто мог передвигаться, занимались
другим делом. Они были барыги, действовали парой. Один
предлагал покупателю товар, к примеру, шинель, а другой –
напарник – подходил и «базарил», будто шинель эта ему нра-
вится, и он готов ее купить. Настоящий покупатель «подогре-
вался» и решался на покупку. Это и называлось «петь»:

напарник «пел», подначивая покупателя приобрести, часто, какой-нибудь хлам. В общем, был рыночным провокатором. Что делал Женька на Тишинке – вопрос. Но как-то сразу всю инвалидную братию, всех махорочников и «певцов» куда-то убрали. Колька Мохов сказал, что видел Женьку. Он вроде бы устроился на работу истопником.

– Ну, и как он? – спросил я.

– Керосинит. Там с ним баба одна работает, вдрызг алкоголичка, она, видно, его и спаивает.

Как-то раз тот же Мохов сообщил мне, что Женька женился на этой самой алкоголичке, зовет нас на свадьбу. Мы пошли всем двором: Мохов, Пашка, Бочман, я и еще один малый – Витька Шишкин, по тогдашней моде носивший фикса во рту. Мы купили Женьке от всех подарок: металлический портсигар.

Женькина жена жила в полуразрушенной хибаре на углу Суцевской и Палихи. Мы зашли в комнату, больше похожую на чулан. Сильный спиртной запах пропитал ее насквозь. Табачный дым плавал в спертom воздухе. За столом сидело несколько совершенно пьяных. Тут же были и Женька, тоже пьяный, и новобрачная с испитым, опухшим лицом.

Женька закричал:

– А, вот и мои кореша пришли! Заходите, братцы!

– Ну, и налей им, если они уж такие тебе кореша, – сказала новобрачная.

– Вот б..., – опять закричал Женька, обращаясь к нам. – Она хотя и б..., но женщина хорошая, добрая!

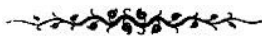
Он налил в стаканы самогона. Тошнотворный дух сивухи вызвал у меня рвотное движение. Но мы все выпили за Женьку-солдата, который «три державы покорил».

Через некоторое время я спросил Кольку про Женьку. Он помолчал, потом сказал:

– Нету его. Помер. Болел сильно.

А война шла к Победе. Один за другим гремели салюты в честь наших войск, быстро продвигавшихся вперед.

**ВОЙНА
ОСТАНОВИЛАСЬ
НА НАС**



Еще не окончилась война, а многие московские вузы открыли подготовительные отделения для всех, кто в военные годы не закончил десятилетку, пройдя лишь восьмой или девятый классы. Открылось такое отделение и в Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева («Менделеевке»). Моя сестричка поступила туда. Я никогда не хотел от нее отставать. Еще в 1935 году, когда она, восьмилетка, пошла в первый класс, я (младше на год и три месяца) заявил, что «без Лельки дома не останусь». Пришлось отцу упрашивать школьного директора, чтобы приняли нас обоих. Но вскоре выяснилось, что сестре моей, очень способной и развитой, в первом классе делать нечего, и ее перевели во второй. Я же остался в первом классе.

Теперь картина в чем-то повторилась. Леля, закончившая в Глазове девятый класс, быстро осваивала программу подготовки в «Менделеевку». Я же, вернувшись из Глазова после восьмого класса, «спотыкался» на математике (моя ахиллесова пята) и явно «не тянул». На семейном совете решили: идти мне в школу.

254-я школа ДОНО

В Отделе народного образования Дзержинского района (ДОНО) меня направили в школу № 254. Инспекторша сказала:

– Там один десятый класс на весь район. И то еле наскребли. Так что смотри, не подкачай...

Школа находилась на 3-й Мещанской улице (тогда еще не переименованной в улицу Щепкина), почти на углу с пересекающей ее улицей Дурова (бывшей Божедомкой). Рядом – посольство, не помню какое.

Недалеко уже находилась 1-я Мещанская (проспект Мира) с ее высокими домами, построенными, видимо, в начале века. На

одном из них запомнилась надпись, сделанная после революции: «Вся наша надежда на людей, которые сами себя кормят».

В десятом классе, куда я пришел уже после начала занятий, было всего четырнадцать человек. В военные годы не говорили: «Сколько тебе лет?», а спрашивали: «С какого ты года?». Из ответа на такой вопрос скорее можно было понять, когда призываться.

Почти все четырнадцать человек были с 28-го года, то есть если бы продолжилась война, то мы подлежали призыву, скорее всего, осенью 45-го года. Но война подошла к нашему году и остановилась на нас.

Меня посадили за парту рядом с пареньком по имени Марк Желнов. Оглядев меня с ног до головы, он спросил:

– У тебя по литературе сколько было?

– Пять, – ответил я.

Он пообещал:

– У нас три будет...

Он похихикивал в нос и потирал при этом руки. Казалось, он делает это специально, чтобы заставить собеседника смутиться, почувствовать себя неловко. Впрочем, возможно, это была просто дурная манера. Много-много лет спустя, когда Желнов уже стал доктором философских наук, профессорствовал в МГУ и писал толстые книги о Фоме Аквинском, при встречах он все так же хихикал и потирал руки. Жил он с матерью в отдельной однокомнатной квартирке на первом этаже большого дома, по-видимому, построенного в 30-е годы, у выхода 4-й Мещанской на Колхозную (бывшую Сухаревскую) площадь. Как раз напротив кинотеатра «Форум». Туда мы ходили чаще всего. Были еще «Уран» на Сретенке и «Перекоп» в Грохольском переулке. Но «Форум» привлекал больше всего: там внизу был буфет, в холле перед началом сеанса играл оркестр и пела певица, одетая в красивое длинное платье.

Много лет спустя стало известно, что эта певица была мамой поэтического кумира 60-х годов Евгения Евтушенко.

Мои товарищи...

С Желновым я не сошелся. Через некоторое время пересел на другую парту, к Игорю Полозову. Это был красивый парень, с густыми волнистыми волосами, падавшими на лоб. Самые лучшие девчонки двух соседних женских школ были по уши влюблены в Полозова, о чем он хорошо знал, но почти не обращал внимания. С Полозовым мы сдружились. Он жил в большом красно-кирпичном доме во дворе между Цветным бульваром и Трубной улицей. Семье его принадлежала там отдельная трехкомнатная квартира, что тогда являлось редкостью. Был у Игоря старший брат, по-моему, капитан, служивший в гвардейской Таманской дивизии под Москвой. Иногда Игорь приглашал меня, чтобы вместе готовиться по литературе или истории. Мама его была красивой и приветливой женщиной. Отец производил другое впечатление: неразговорчивый, строгий, даже сердитый. Был он писателем, если можно так сказать, средней руки. Под псевдонимом Павел Березов популярно писал главным образом на исторические темы. Одна его небольшая книжка – «Падение двуглавого орла» – была посвящена Февральской революции 1917 года, и еще в 60-х – 70-х годах упоминалась в сносках некоторых научных трудов: о Февральской революции тогда мало писали.

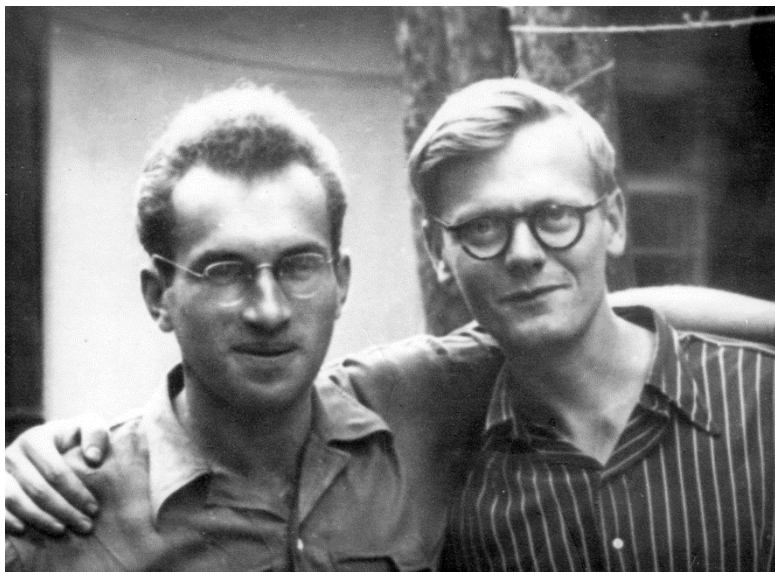
А в молодые свои годы Павел Иванович Полозов (Березов) вращался в кругу поэтов Серебряного века, сам писал стихи. Глядя на него – замкнутого, холодного, – это казалось странным: неужели люди так меняются с годами? У него имелась большая библиотека со стихами поэтов, которых давно не печатали и которых наше поколение почти не

знало. Это были Ахматова, Гумилев, Блок, Бальмонт, Брюсов, Северянин, Есенин, Крученых, Каменский, Саша Черный и другие. Он собирал их, очевидно, еще в предреволюционные годы и в 20-х годах.

Игорь иногда приносил старые, затрепанные сборники стихов в школу, и мы их на переменках часто читали вслух. Особым успехом пользовались такие противоположности, как есенинская «Москва кабацкая» и северянинские «поэзо-грезы». Оба поэта тогда не издавались, пребывали под запретом за свою «безыдейность». Но Павел Иванович Полозов, сам того не ведая, просвещал нас в знании поэзии.

Другим одноклассником, с которым я сблизился, был Виталий Свинцов – слегка сутуловатый парень, одетый в китель, га-лифе и сапоги. В военном обмундировании, впрочем, тогда ходили многие. Сапоги, которые по-блатному назывались «прохоря», носили почти все. Но на Виталии была офицерская форма.

С отцом и матерью он приехал в Москву лишь в 44-м году. Отец его – Иван Иванович Свинцов – являлся кадровым военным, получил генеральское звание и был командирован в Министерство обороны. А маму звали Надежда Израилевна. Жили они в военной гостинице на площади Коммуны, рядом с парком ЦДКА, а когда получили квартиру в только что выстроенном «генеральском» доме на Соколе, Виталий не захотел расставаться с классом. Так и ездил в школу с Сокола. Мы с Игорем часто бывали там, в большой двухкомнатной квартире. Сначала она была почти пустая – только кровати да стол, но сразу же после войны генерал Свинцов съездил в Германию и, видимо, по какой-то разнарядке получил там мебель, посуду и другую утварь. В коридоре долго стоял мотоцикл «Харлей», а в каждой комнате – по пианино. На одном из них мы поочередно учились играть «Темную ночь» – знаменитый шлягер, как теперь сказали бы, из фильма «Два бойца», с Марком Бернесом и Борисом Андреевым.



Генрих Иоффе и Виталий Свинцов. 1946 г.

Наша троица неплохо разбиралась в книгах из библиотеки писателя Березова. Это довольно быстро заметила наша учительница литературы, пожилая женщина со страдальческим лицом. Не скажу, что мы вели себя по отношению к ней как-то напоказ неуважительно. Но она, вероятно, чувствовала наше некое превосходство и мальчишескую иронию. В качестве противодействия бедная наша «училка» выбрала совершенно ошибочный метод.

– Полозов, – говорила она на уроке, – в перемену подойдите ко мне.

Полозов подходил. Тогда, отведя его в сторону, она негромко поучала:

– Полозов, вы такой способный юноша. Зачем вы дружите со Свинцовым и Иоффе? Они плохо на вас влияют, вы должны это иметь в виду.

В другой раз таким же образом она подзывала Виталия Свинцова и внушала ему:

– Свинцов, вы же очень талантливый человек, у вас большие перспективы. Не надо только дружить с Полозовым и Иоффе. Ничего не хочу сказать плохого, но им далеко до вас.

Сходную «операцию» она проделывала и со мной. Видно, только чувство, близкое к отчаянию, толкало ее на весь этот примитив. Неужели в ее голову не приходила мысль, что все ее увещевания мы передадим друг другу с веселым смехом?

Сто граммов хлеба дополнительно

*Н*ас было четырнадцать. Помню почти всех. Вот парень с Самотеки Валька Ерошкин, одетый в синий цивильный пиджак и сапоги; два дружка – Кутасов и Власов – будущие два доктора математических наук; еще два дружка – крепкие, коренастые Прокунин и Талянкер. Мой «земляк» по 3-й Мещанской Генка Петухов («Петух»), ставший генералом. Часто по утрам, направляясь в школу, мы сходились с ним у «Мажарина» – продовольственного магазина, сохранившего свое название по фамилии хозяина еще с нэповских, а может, и дореволюционных времен. Все так и говорили: идем к «Мажарину». Был еще маленький Фрадкин, отец которого играл в оркестре Утесова. Мы звали Фрадкина так: Фрадкин-Фридкин-Гефрудкин. Вскоре он ушел.

На задней парте в среднем ряду сидел слепой парень Пятницын. Его приводили в класс родные, он всегда внимательно слушал учителей, учился очень хорошо. Позже стал доктором философских наук.

Потом в класс пришел Долгов. Его семья приехала из Донбасса, из Краснодона, ставшего знаменитым благодаря роману А. Фадеева «Молодая гвардия», который печатался в «Знамени» и «Комсомолке». У Долгова выспрашивали:

– Ты Олега Кошевого-то знал?

Он отвечал:

– Нет, лично нет. Он – постарше.

– Но хоть видел?

– Ну, это да!

– Какой он был-то?

– Правильный комсомолец! Чуть что – он сразу в комитет комсомола. Как «Тимур и его команда».

– Бреешь ты все, Долгушкин. Не знал ты Кошевого.

– А чего тогда спрашиваете?

На большой перемене дежурный брал деревянный поднос, стоявший в шкафу, и шел с ним в школьную столовую. Там, в соответствии со списком присутствовавших в классе, ему выдавали куски черного хлеба – каждый точно по сто граммов. Мы получали дополнительное питание. Конечно, такой голодухи, как в 41-м – 42-м годах, уже не было. Война шла к победному концу. Жизнь потихоньку налаживалась, лучше становилось и с едой. Но хлеб и другие продукты все равно выдавали строго по карточкам: рабочая карточка – восемьсот граммов, для служащих – шестьсот, иждивенцам полагалось вроде бы четыреста граммов хлеба. А нам выдавали еще по сто граммов вкуснейшей «черняшки».

Когда, бывало, в классе случалось какое-нибудь ЧП и классный руководитель – математичка Анна Дорофеевна, высокая, худая, изможденная женщина – не могла решить вопрос, являлся сам директор – Иван Иванович Винокуров. Евгений Евтушенко, который жил на 4-й Мещанской и тоже одно время учился в нашей школе, но, кажется, двумя или тремя классами

ниже, в своих мемуарах «Волчий билет» называет его альбиносом. По-моему, Евтушенко ошибся. Иван Иванович был высоким, стройным человеком с пышной, совершенно седой шевелюрой. Солидность и значительность придавало ему и пенсне, которое он носил. При его появлении все мы тут же вставали, грохоча крышками парт. В таком положении он держал нас несколько минут, потом коротко командовал:

– Сесть!

Все садились. Опять наступало тягостное молчание. Затем, поочередно называя фамилии, Иван Иванович приказывал встать каждому в отдельности. Названный поднимался. Указывая на него, Иван Иванович вопрошал:

– Признаешь себя виноватым?

Следовал отрицательный ответ.

– Сесть! – командовал Иван Иванович.

Когда таким образом оказывались опрошенными все присутствовавшие, Иван Иванович произносил небольшую речь.

– Вас здесь четырнадцать человек. Всего четырнадцать. На весь огромный наш район. В силу чего так получилось? В силу, если хотите, естественного отбора. Жизнь, а может быть, сама мать-природа уберегла вас. Вот вам дают дополнительно хлеб. Вам дают, значит, от кого-то отрывают. А почему? Потому что страна наша рассчитывает на вас.

Кто-нибудь на задней парте, не выдержав патетики, тихонько прыскал, но грозным взглядом Иван Иванович оставался смешок.

– Неужели произошла ошибка природы? Неужели отобранные не те, на кого рассчитывает страна, кому она вручит свое будущее после этой страшной войны? Ведь ни у кого из вас не находится мужества и честности признаться, осудить свое поведение! Ни у одного!

Класс угрюмо молчал. На лице Ивана Ивановича появлялась презрительная гримаса.

– Эх, вы! – произносил он с отвращением и, уже покидая класс, бросал на ходу: – Болото! Топь!

Теперь много пишут о насильственном идеологическом воспитании, промывавшем мозги нам – «совкам». Напоминание Ивана Ивановича о некоем «естественном отборе» для будущих свершений ради своей страны – вот, пожалуй, и все, что осталось в памяти. Учили нас только хорошему: бескорыстию, скромности, честности, товариществу, всему тому, что теперь в таком дефиците.

Мы вошли в жизнь в годы войны, и она осталась с нами навсегда. Мы все измеряли «по войне», по тому времени, по его людям.

*Гори, свети, огарочек,
Гремит недалёкий бой,
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой...*

Учителя

Иван Иванович Винокуров не часто приходил к нам в класс: ЧП случались редко. Но однажды произошел «исторический бунт». Историю преподавала относительно молодая женщина (имя ее забыл), которая явно была к этому не готова. На уроках она просто пересказывала учебник академика А.М. Панкратовой, написанный схематично по содержанию и вяло-затрудно по стилю. Класс учительницу не слушал. Во время ее объяснений шли разговоры, на замечания дерзили, всячески проявляли свое нерасположение. Она, бедная, покрывалась

красными пятнами, щеки ее пылали. Но перебороть обстановку, подчинить класс не могла. Она боялась нас – это было видно. Вероятно, в учительской или в кабинете директора дело доходило и до слез, потому что однажды в класс явился Иван Иванович. Он опять говорил, что мы не оправдываем закона естественного отбора и надежд страны, что мы – болото и топь.

– До слез доводите человека, – сказал он. – Не хочет она с вами работать. На той неделе придет к вам другой преподаватель. Я вас предупреждаю: больше безобразий не потерплю.

Через несколько дней Иван Иванович привел в класс массивного, громоздкого старика с моржовыми усами и представил:

– Владимир Яковлевич Рабинович. Он будет преподавать вам историю.

Зимой в классе было холодно. Мы сами часто сидели за партами кто в шинелях, кто в так называемых телогрейках – ватниках, которые были, кажется, самой «модной» тогда одеждой. Старик Рабинович и подавно мерз. Он всегда восседал за учительским столиком в накинутах на плечи поношенном зимнем пальто с вытертым меховым воротником. С собой приносил солдатский котелок с едой – то ли кашей, то ли картошкой или еще чем-то – и в большую перемену уходил к окну, ставил свой котелок на подоконник и съедал содержимое.

И при Рабиновиче мы учили историю «по Панкратовой»: это был единственный «стабильный» учебник. Но объяснял наш старик совсем не по учебнику.

У него была «фирменная» фраза, с которой он начинал рассказ:

– Ребята спросят...

Дальше следовал вопрос, который, как он считал, должны «задать ребята», и пространный ответ на него. Например, он вопрошал:

– Ребята спросят, а почему же Ленин так упорно настаивал на немедленном восстании?

С последней парты Валька Ерошкин поначалу подавал голос:

– Да, интересуемся!

– Сейчас, сейчас, – говорил Рабинович. – Минуточку! Сейчас объясню.

И очень увлекательно, интересно рассказывал. И Валькин голос как-то постепенно замолкал. История в рассказах нашего нового учителя превращалась из скупых, надоевших «закономерностей», «неизбежностей», «обусловленностей» в живую картину поступков и взаимодействий людей. Вот он рассказывает нам о наступлении деникинской армии на Москву в 19-м году.

– Ребята спросят – почему же она потерпела поражение, почему большевики, которым уже пели отходную, устояли?

И среди других факторов и причин упоминает генерала Май-Маевского, талантливого полководца, но пьяницу.

Это может кому-то показаться странным, но два-три такого рода исторических рассказа Владимира Яковлевича Рабиновича изменили мое отношение к истории. Раньше она представлялась чем-то совершенно отдаленным, мало, а то и совсем никак не связанным с нашей жизнью, просто одним из скучных «предметов», подлежащих зубрежке. Но в повествованиях старика прошлое оживало, входило в наше время.

В накинутах старом пальто, нахохлившись, старик сидел за учительским столиком, никогда не глядя по сторонам. Генка Петух, великий выдумщик, пользовался этим. Вызванный к доске, он отходил немного назад и, прикрыв полую шинели панкратовский учебник, «шпарил» по нему свой ответ. Вслед за Петухом и другие стали практиковать такой «метод». Но однажды старик сказал:

– Кого вы хотите обмануть? Меня? Я не боюсь быть обманутым. Я многое повидал. Вы себя обманываете, даже обкрадываете.

Генка Петух сейчас же пустил слух, что у Рабиновича есть «затылочное зрение», и благодаря ему он когда-то тайно был заброшен в деникинский штаб, что и обеспечило победу красных.

На уроках истории я стал понимать, что такое настоящий Учитель, что он может сотворить. Физику у нас преподавал Ефим Емельянович Жебров – маленький, плотно сбитый старикан с ежиком седых волос на голове. Строгий, насупленный, даже суровый. Любое нарушение или непослушание резко пресекал, никаких поблажек никому никогда не делал. Его наша вольница побаивалась. Но у Емельяныча был божий дар «втолковывания». Не то, чтобы он умел понятно и доходчиво объяснять. Но он обладал способностью раскрыть, расщепить какую-то «зажатость» в мозгах тех, кто уже привык считать, что физика – это не для него, что к физике он просто от природы неспособен. Жебров не признавал слов «не могу».

– Как не можешь? – каркал он. – Не можешь – научим. Не хочешь – заставим! «Не могу» – такие слова вон!

Происходило чудо: по физике все мы учились только на четыре или пять, больше даже на пять.

А если бы все учителя были такими, как Жебров?

Увы, были и совершенно другие. Например, Абдулла – военрук и физрук. Кто и когда назвал его Абдуллой – этого никто не знал. Но все его так звали, и он был Абдулла и больше никем. В его распоряжении находился большой зал, но мы приспособили его для игры в футбол, а самого Абдуллу – в «шухерного» на лестничной площадке. Мы играли до умопомрачения, гоняли до седьмого пота какую-нибудь деревяшку, а Абдулла стоял «на шухере» и подавал нам сигнал в случае приближения опасности, например, директора. И все шло хорошо и плавно, но вдруг...

При зале имелся маленький кабинет, а там, в специальном ящике (это мы хорошо знали), находились две малокалиберные винтовки. Это был большой соблазн: какому пацану пострелять неохота!? Кто, как и когда открыл ящик с малокалиберными винтовками – так и осталось загадкой на все времена... Наутро Абдулла вошел в наш класс с откровенно заплаканными глазами. Дрожащим голосом он произнес:

– Не ищущ концы, не хочу знать, кто держит ленту и куда она ведет... Об одном прошу – к вечеру чтоб винтовки на месте были... Не будут – поймите, мне крышка. Ведь могу под суд пойти. Ребята, прошу – не погубите! Я фронт прошел...

Шаркая ногами и как-то скособочившись, Абдулла вышел из класса. Днем мы – Игорь Полозов, Виталий Свинцов, Валька Ерошкин и я – собрались в своем заветном месте: на Самотеке, под часами. Перешли на другую сторону, в Екатерининский сквер, сели на скамейку.

– Ну как, утрем слезы Абдулле – вернем винтовки по-тихому? – задал вопрос Полозов.

– А зачем тогда тырили? – спросил Валька. – Оружие при себе – это надега. Шпана из Выползова переулка атакует школьные вечера. Вон Галке Масковой из 235-й школы щеку лезвием бритвы «пописали», а будь у нас малокалиберка, мы бы...

– Все равно, – сказал Виталий, – винтовки надо вернуть. Жаль Абдуллу, да и дело вообще может кончиться плохо... Надо вернуть, как хотите. Точка.

Я кивнул головой.

На другое утро Абдулла вошел в класс раньше звонка. Он весь сиял. В костюме с иголки, белая рубашка с ярким галстуком. Надушенный, напудренный... Потирает руки.

– Ну, ребяташки, спасибо вам! Выручили. По гроб не забуду. Первый урок у вас мой? Идите в зал гонять в футбол, а я посмотрю...

Девушки нашего времени

Наша мужская школа находилась между двух женских школ. Одна из них тоже была на 3-й Мещанской, напротив большой церкви, тогда, естественно, не действовавшей. У школы был большой двор, и мы иногда ходили туда погонять в футбол. (Какжется, в 60-х годах во дворе установили памятник космонавту В. Комарову, который учился в этой школе в 50-х годах и позднее погиб в космическом полете.)

Другая женская школа находилась подальше от нас – за Садовым кольцом, между Сретенкой, Колхозной и Трубной улицами. С десятиклассницами этих школ у нас, по-моему, раз в две недели был общий урок – астрономия. Проходил он в Планетарии, на Садово-Кудринской. Урок этот ожидался с некоторым волнением. Почти у всех были знакомые из женских школ, и потому, в каком-то смысле, уроки астрономии превращались в свидания. Мы обычно приезжали раньше, становились вдоль дорожки, которая вела от ворот к зданию Планетария с большим куполом, и «небрежно» высматривали своих знакомых. А они все шествовали, как бы не обращая на нас внимания.

Я же напряженно высматривал свою знакомую. Ее звали Инна Корсакова. Мы учились вместе с первого класса. Школа наша тогда находилась в здании, похожем на старинную церквушку, затесавшуюся в захолустном Малом Екатерининском переулке. Инка была маленькая, худенькая и курносовая. В школу ее приводила мама. После уроков встречала и вводила домой.

Потом в Москве развернулось колоссальное школьное строительство. Повсюду воздвигались типовые четырехэтажные здания из красного кирпича с длинными коридорами и просторными, светлыми классами и кабинетами. Многие и по сей день не утратили своего назначения. К третьему классу

нас перевели в одну из таких школ на Трифоновской улице (№ 607), и в ней мы проучились до конца шестого класса. В это время Инна мне уже потихонечку нравилась. Потом началась война, и мы потеряли друг друга из виду. Честно говоря, я и забыл о ней. Встретились только осенью 44-го. Ее трудно было узнать, и она казалась мне тогда чуть ли не кинозвездой тех лет Диной Дурбин. Я учился уже в десятом классе, она – тоже. Я стал заходить к ней, в маленькую «спичечную» коммуналку, чтобы пригласить на каток в парк ЦДКА. Она уже подходила к начальной «невестинской черте», и ее мама хорошо понимала, что девушке надо бывать в «обществе». А на каток приходило много разных ребят из нашей и других мужских школ.

Мы часами бродили по улицам, бульварам, паркам и разговаривали о настоящем и будущем.

– Вот закончу школу, – как-то сказал я, – потом институт и сделаю тебе предложение. согласишься?

– Мама, наверное, не разрешит, – ответила она.

– Почему?

– Она не любит евреев.

– А папа?

– Папа? Скажу... Только это секрет. Папа пьет. Редко бывает трезвый.

– Вот его-то мы и спросим!

Но не антисемитизм Инкиной мамы являлся моим кошмаром. Им стал угол Трифоновской улицы и нашего Орловского переулка.

На противоположной стороне переулка, возле своего дома-развалюхи обычно стоял лохматый, слюнявый Колян и, завидев меня, орал во все горло:

– Эй, жид!

Если я шел один, это было еще ничего. Я старался поскорее проскочить проклятый угол и скрыться из виду. Но Колян

не шадил меня и тогда, когда со мной рядом была Она. Наоборот, в этом случае его «жидовский позывной» звучал еще громче. Кровь прилиwała к моей голове, тарахтело сердце, слабели ноги. Лучшее, что я бы мог сделать, – это провалиться сквозь землю... Спасибо Инне. Она делала вид, что не слышит. Но не могла не слышать. Я проклинал себя.

Но настал и мой день. С соседом по квартире Колькой Моховым мы шли в баню. Дорога проходила через наш старый церковный двор, запущенный и захламленный. Повсюду валялись деревяшки, железки, кирпичи. Я посмотрел вперед и увидел шедшего нам навстречу Коляна. Мохов не без любопытства покосился на меня: ему были известны колянские «жидовские» выкрики. Колян поравнялся с нами, слегка толкнул меня и привычно произнес свое «фирменное»: «Эй, жид!».

Я нагнулся, поднял с земли кирпич весом, наверное, с килограмм, и когда Колян отошел на несколько шагов, с силой бросил кирпич ему в голову. Это сатана, скорее всего, помог Коляну: кирпич пролетел в нескольких сантиметрах от его лохматой головы. А попади я, череп Коляна был бы, конечно, разбит...

Колян оглянулся и побежал.

– Ну и свиреп же ты, – сказал Колька.

На другой день, вечером, мы шли с Инкой на каток. На своем «сторожевом посту» стоял Колян. Я приготовился к худшему. Но он перешел переулок и подошел к нам.

– Привет! – вдруг сказал он. – А чувиха у тебя клевая.

И неожиданно протянул мне руку. И я тоже протянул ему свою. С тех пор не могу себе простить, что не поднял валявшуюся на дороге железную палку и, вместо рукопожатия, не перебил его руку пополам...

А что же «моя» Инка, которую я когда-то нетерпеливо ждал у планетария и из-за которой принимал «коляновы муки»? Время развело нас. Она окончила школу, поступила в университет, познакомилась там с каким-то «возрастным»

парнем и вышла за него замуж. Фамилия его была Рябцев. Мама, наверное, была довольна.

Со школой на Сретенке у нашей дирекции была довольно прочная связь. Директриса школы Шах-Назарова была известна в педагогических кругах Москвы. Она, кажется, имела звание заслуженной учительницы РСФСР. Возможно, она представляла себя в роли начальницы чего-то подобного Смольному институту благородных девиц. Во всяком случае, своих подопечных держала в строгости. Когда у нее в школе устраивали вечер с приглашением нашего мужского класса, вводился особо жесткий режим. Расставленные повсюду учителя глядели в оба глаза. Чего уж они там наблюдали – не знаю. Моральное состояние школьников было в те времена высокое. Ни с кем мы не «обжимались», да и «обжиматься» было негде – разве только в подъездах...

Мы трое подружились с тремя десятиклассницами – Алей Данюшевской, Милочкой Подольской и Ниной Хамковой. Все они жили в районе Трубной улицы, комфортабельнее других – Аля Данюшевская. Ее дом – шестиэтажный, построенный, надо думать, в нэповские годы, – находился во дворе, имевшем входы с Трубной и с Цветного бульвара. На двери ее квартиры была табличка: «Инженер Юлий Данюшевский». В то время он был уже совсем старым человеком. Мать Али была намного моложе.

Квартира была отдельная, большая: целых четыре комнаты. Мы собирались вечерами у Али, в комнате, отгороженной от спальни родителей большим, тяжелым ковром. Приглушив звук, слушали вошедшие тогда в большую моду песни Вертинского и Петра Лещенко. Откуда они были у Али – не знаю. Возможно, их привез Алин родственник – майор с Золотой звездой Героя Советского Союза. Он временно жил в одной из комнат, и когда мы уходили уже совсем поздно, в час-

два ночи, то всегда видели его сидящим на кухне в задумчивом одиночестве и непрерывно курящим. Звали его Вольф.

Девчонкам больше нравился печальный Вертинский, мы же предпочитали по большей части залихватского Лещенко, хотя и грусть Вертинского приходилась по душе.

Из трех девчат самой замечательной была Аля. Она не блистала красотой, но зато излучала ум, доброту и понимание всех и вся. Мы знали, что она тайно была влюблена в нашего Игоря, но, увы, безответно. С ней и ее подругами мы поддерживали дружбу всю жизнь...

Была среди наших друзей еще одна десятиклассница из «пансиона Шах-Назаровой»: Таня Прунтова. Около нее вьюном вился лучший танцор класса Желнов. Но конкуренции с нашим красавцем Игорем Полозовым он не выдержал. А Татьяна была «воздушной блондинкой», сознававшей свою неотразимость и потому позволявшей себе некоторую женскую капризность. Ко всему прочему, она была генеральской дочкой. Ее отец – генерал-лейтенант И. Прунтов – был, как мы знали, начальником медико-санитарной службы авиации дальнего действия, которой командовал маршал авиации А. Голованов. Сейчас трудно себе представить, что жил этот высокопоставленный генерал со своей семьей (женой и дочерью) в коммунальной квартире в старинном доме на самом спуске Рождественского бульвара к Трубной площади. Приходя к Татьяне, мы выбирали у дверей квартиры нужный звонок, звонили и попадали в темный коридор, увешанный по стенам корытами, детскими ванночками, велосипедными колесами и рамами. Настоящая коммуналка. Здесь генерал жил не только в 45-м году, но и позднее.

Судьба его оказалась трагической, и трагедия эта фактически развернулась на наших глазах, во всяком случае, на глазах Игоря. Правда, случилась она уже в 47-м году, зимой. Вчетвером (с Татьяной) в один из зимних вечеров мы пошли на

каток в Парк культуры. В толпе катающихся Игорь с Таней затерялись, не знаю уж, случайно или намеренно, чтобы оторваться от нас. Мы с Виталием накатались вдоволь и вернулись домой. А на следующее утро мы узнали...

Игорь с Татьяной тоже вернулись домой на Рождественский бульвар, мирно сидели и беседовали. К ним в комнату несколько раз заходил Танин отец, просил у Игоря закурить. И уже когда наш Игорь засобирался домой, обнаружилась страшная картина: генерала нашли повесившимся в ванной комнате. Что произошло, что толкнуло его на этот страшный поступок, так и осталось неизвестным.

Можно только предполагать. После войны, по выражению одного историка, Сталин-де учинил «охоту за генералами», включая и авиационных («дело авиаторов»). Что за этим стояло – стремление убрать набравший за годы войны огромное влияние генералитет, какие-то реальные факты разгильдяйства и провалов в военной промышленности, состояние Сталина, который вышел из войны тяжело больным человеком? Или все вместе? Ни в одной из книг до сих пор нет ясного ответа. А может, причиной смерти генерала Прунтова было что-то другое?

Эта ужасная смерть еще больше сблизила Игоря Полозова и Татьяну. Вскоре они поженились. Это, конечно, отодвинуло его от нас, неженатых и вольных, но не настолько, чтобы все связи школьной дружбы оказались прерваны. Перезванивались, встречались.

В 2004 году я приехал в Москву из Канады. Пошли на Ваганьковское кладбище, где похоронен друг наш Виталий Свинцов. Зашли в бетонный, холодный колумбарий, петляли длинными мрачными коридорами. Было пустынно. Долго искали контору. В тесной комнате за столом сидела молодая девица. У ног ее лежала большая, лохматая собака, сонливая от старости. Девица лениво указала нам путь.

Мы долго, молча сидели на скамье, вглядываясь в небольшую плиту с фотографией живого, молодого «Свинца». Он многого достиг. Был кандидатом философских и доктором филологических наук, профессором, заведовал кафедрой. Всегда был недоволен собой, говорил: «Кому нужна философия?». Но однажды сказал мне: «Нет, студенты ко мне на лекции ходят». Он писал стихи. И поэмы. О Сен-Симоне и Паганини...

– А давай зайдем и к моему тестю. Помнишь ту зиму 47-го? – сказал Игорь.

Среди тесноты могильных плит и решеток мы с трудом добрались до заросшей густой высокой травой могилы со слегка покосившимся надгробием.

– Вот, – показал Игорь. – Здесь. Помню тот вечер, как будто это было вчера. Он с маршалом Головановым работал.

Я сказал:

– Я читал воспоминания о нем. Перед смертью он жене говорил: «Мать, какая страшная вещь жизнь!». Знаешь, в 44-м году шел я в школу. По мостовой голубь ходил, что-то клевал. Грузовик неожиданно дал задний ход и задел голубя. И я, веришь, поймал его пораженный взгляд. Человечий. В нем был ужас недоумения. Он не понимал: что произошло?! Вот он был живой, ходил... А через несколько секунд лежал уже мертвый. Страшная вещь...

Через год и Игорь нашел свое успокоение здесь, на Ваганьково.

Победа

В начале мая 1945 года пришла долгожданная Победа. В 42-м году я видел хроникальные кинокадры, в которых показывали выступление Сталина, по-моему, 6 ноября 41-го года, в честь

очередной годовщины Октября. Выступал он тогда на станции метро «Маяковская», где впоследствии укрепили мемориальную доску (не знаю, есть ли она там сейчас). Немцы были тогда у ворот Москвы. Сталин стоял на трибуне и говорил тихим, глухим голосом с сильным грузинским акцентом. Говорил, мне казалось, быстро, скороговоркой, словно бы подчеркнуто невыразительно, обыденно.

– По всему видно, что гитлеровцы хотят вести войну на истребление.

Он сделал паузу, не спеша налил из графина в стакан воды, отпил и еще более глухо, неторопливо сказал:

– Они ее получают.

И сбылось, свершилось.

Ужасной ценой была добыта Победа, но тогда никто не подсчитывал, не считал. Понимали, что цена – страшная, но, может быть, думали: это неизбежно, не могло быть иначе, если не хотели сдать. Считать, а не плакать стали много позже люди, которым та горькая доля, к их счастью, не досталась. В начале ельцинских реформ я как-то стал случайным свидетелем разговора молодого парня с ветераном войны, увешанном орденами и медалями.

– Навесил цацки, – говорил парень. – Ну, и что? Чем гордишься-то? Победители... Утопили немцев в собственной крови...

Ветеран не перебивал, потом сказал:

– Может, ты и прав. Да что делать-то было, милый? Кроме таких, как мы, других-то не было. Были бы такие, как ты, тогда, глядишь, и не пришлось бы топить немца в крови. Ну, да не дай бог вам такой войны, как та. Ты уж не сердчай больно-то...

Разговор этот был на Старом Арбате. По обе стороны улицы сидели и стояли какие-то молодые ребята и девицы, продававшие что попало: матрешки в виде Горбачева и Ельцина, картины, советскую военную форму (даже генеральскую!) и советские ордена. Шатались туда-сюда люди.

А на углу Арбата и Смоленской пожилая женщина в солдатской гимнастерке времен войны с медалями и планками ранений, сидя на раскладном стуле, играла на аккордеоне и пела: «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза...».

Вокруг нее кружком стояли люди и бросали деньги.

А за полвека до того, 9 мая 45-го года, мы втроем – Виталий Свинцов, Игорь Полозов и я – в бесконечных потоках москвичей шли по улицам Москвы к Красной площади. Был вечер, но город светился тысячами огней. Народ ликовал! На Неглинной мы нагнали трех девушек, по виду тоже десятиклассниц. Настроение было радостное, и Игорь Полозов, наш неотразимый красавец, окликнул их:

– Девочки, давайте пойдём на Красную площадь вместе. Может, мы запомним друг друга навсегда: ведь такой день больше не повторится.

Но, видно, этим девочкам мамы приказали ни под каким видом не знакомиться с мальчишками на улице. Они взялись под руки и ускорили шаг.

– Жаль, – сказал Игорь им вслед. – Ведь мы хорошие, интеллигентные. Очень жаль. Хотите, мы вам стихотворение прочитаем?

Он стал читать Есенина, «поправляя» его.

*Когда-то у той вон калитки
Нам было семнадцать лет.
Но девушки в белых накидках
Сказали неласково: «Нет!».*

Девочки скрылись в толпе. Мы двинулись на Красную площадь и с большим трудом пробились туда. Никогда больше такой массы ликующих людей мне не пришлось здесь видеть. Но каждый год вспоминая об этом, вижу, будто бы

сейчас, нас троих и тех трех девочек, с которыми мы так и не познакомились в тот исторический вечер...

У выхода на Манежную через проход Исторического музея большая группа девчонок, пританцовывая и притоптывая, не то пела, не то декламировала:

*Девочки, конец войне,
Девочки, победа!
Девочки, весна идет –
Женихи к нам едут!*

*Ехали солдаты,
Ехали матросы.
Всех зовут Иванами,
Курили папирсы!*

Мне вспомнилось «22 июня, ровно в 4 часа...», такая же простая и пронзительная песня. Только та была наполнена печалью и тревогой, а эта – брызжущей, бесконечной радостью. Солдаты возвращались с Победой! Всех звали Иванами. Всех! Но, увы, слишком многие не дождались женихов... Война повыбивала их сотнями тысяч. И множество молоденьких невест так и состарились в своем промозглом одиночестве. Война закончилась победой, но еще десятки лет волочила за собой бесчисленные, особенно женские, драмы и трагедии.

В день парада Победы на Красной площади – 24 июня 1945 года – было пасмурно, моросил дождь. Нам, выпускникам школы, предстояло через несколько дней сдать последний экзамен на аттестат зрелости. Его ввели впервые (раньше выдавали свидетельства об окончании школы), и сам Иван Иванович Винокуров, приходя в класс, неоднократно подчеркивал значимость нововведения. Особо отличившиеся в учебе и на экзаменах награждались к тому же (и тоже впервые) золотыми или серебряными медалями. Как теперь понятно, все

это соответствовало политике укрепления государственности, которую еще до войны начал проводить Сталин и которая содержала в себе некоторые реставрационные элементы.

Парад на белом коне принимал Жуков, командовал парадом на вороном коне Рокоссовский. Теперь рядом со зданием Исторического музея при входе на Красную площадь стоит памятник Жукову, выполненный в классическом стиле: маршал восседает на боевом коне, закусившим удила и готовом загарцевать. А мне довелось видеть немного другого Жукова. Было это уже в 60-х годах, когда я работал в издательстве «Наука». Директор нашего издательства А.М. Самсонов (впоследствии академик), военный историк, задумал выпуск мемуаров военачальников Отечественной войны. Возникла идея и публикации воспоминаний Жукова. Он приехал в издательство в Подсосенский переулок, и принимали его в красивом директорском кабинете (издательство помещалось в старинном особняке Морозова). Жуков был в штатском. Небольшого роста, коренастый, крепкий, с уже поседевшими редкими волосами. Поражал его подбородок: огромный, массивный, как утверждают, признак большой воли. Но еще больше поражала какая-то скромность Жукова, его, как показалось, даже некая неуверенность, чуть ли не стеснительность. Неужели партийные передряги, пережитые после войны, в позднесталинские, а потом хрущевские времена, могли так повлиять на человека, командовавшего миллионами? Или прав И. Бродский, написавший в стихотворении «На смерть Жукова»:

*Сти! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою...*

Наш выпускной вечер состоялся спустя несколько дней после парада Победы. Все было торжественно. В конференц-зале нас по одному вызывали на сцену, и Иван Иванович Винокуров вручал нам красивые, голубоватые аттестаты зрелости. Медали никто из нас не получил.

Говорили речи, напутствия. Потом были танцы! Пригласили выпускниц женской школы на Сретенке. Кто-то из ребят тайком притащил водку, и мы хлебнули ее в пустом темном классе. Расходились уже поздней ночью. Мы втроем пошли провожать «Полозовскую» Татьяну. Со Сретенки свернули на Рождественский бульвар. Попрощавшись с ней, сняли специально надетые на выпускной вечер галстуки, расстегнули ворота рубашек. Дул легкий теплый ветерок...

Через несколько дней мы собрали все свои учебники, нам уже ненужные.

– Что будем делать с этим? – спросил Свинец.

Подумали. Игорю Полозову пришла счастливая мысль:

– Загоним! Толкнем на Центральном рынке и обмоем аттестаты. Как?

Понравилось. Нагрузившись книгами, двинулись на Цветной бульвар. Рынок там был шумный, не только продуктовый: барахолка. Горячие и возбужденные, мы врзались в толпу торговцев. Подняв над головой учебник английского языка и размахивая им, как флагом, Полозов выкрикивал:

– Изучайте язык союзников! Изучайте! С ними еще придется поговорить! Изучайте язык союзников!

Вокруг нас крутились люди, кто-то книги у нас покупал, кто-то смеялся. Хохотали и мы...

Тогда по всей Москве стояло много наскоро сбитых заведений, где можно было, забежав, выпить «150 с прицепом»: 150 граммов водки и кружку пива. Заведения назывались «деревяшками». В одной из них мы и выпили по 150 с прицепом.

Товарищ командующий

Мы поступили в разные институты. Павел Иванович Березов, намучившись, наверное, со своей писательской гуманитарной профессией, твердо сказал сыну: «После войны – разруха. Надо и будут много строить. Вот настоящая стезя для молодого человека!»

И Игорь поступил в Строительный институт им. Моссовета. Был тогда такой. Виталий Свинцов поступил в очень престижный в те годы Московский авиационный институт (МАИ), а я (как очень того хотели мои родители) пробился в 1-й Медицинский институт, находившийся на Моховой, во дворе, рядом с университетом.

Полозов сразу нашел себя. Он окончил свой институт. Стал инженером-строителем, лауреатом Государственной премии. Мы же со Свинцом, ни с кем не посоветовавшись, после первого учебного семестра ушли из своих институтов и решили: будем поступать на философский факультет МГУ. В этом поступке было, конечно, очень много мальчишества, но присутствовала, тем не менее, и свойственная нам обоим тяга к гуманитарным наукам. Мы понимали, что экзамены предстоят трудные, и готовились со всей ответственностью. Но главное – было решено: если один выдерживает экзамен, а другой – нет, не поступаем оба. Мы взвесили многое, но не учли, пожалуй, самого главного. В 1946 году началась демобилизация из армии военнослужащих, имевших среднее образование. При поступлении в ВУЗы они получали очень важную, решающую льготу: их принимали вне конкурса. Если добавить к ним выпускников школ, получивших золотые или серебряные медали, которые освобождали их обладателей от экзаменов, то станет ясно, какими поистине чудовищными становились конкурсы на незначительное число

мест для нас, простых смертных. Особенно это относилось именно к гуманитарным факультетам, ставшим после войны особенно престижными. Точно не помню число претендентов на каждое место на философском факультете в МГУ, но, думается, не меньше двадцати.

Поступавшие фронтовики, это было заметно, чувствовали себя независимо и уверенно. Они держались своими «кучками»: все были в военной форме, только уже без погон. Между прочим, был среди них ставший впоследствии широко известным Александр Зиновьев. Он тоже ходил в шинели с голубыми («летными») петлицами и фуражке с таким же околышем. Небольшой, ладенький, с вьющимися волосами, напоминал молодого Сергея Есенина. Еще очень далеко было до его диссидентских «Зияющих высот», этой сатиры на советский строй, до эмиграции, следовавшего затем разочарования в Западе, до множества книг, разоблачающих «западничество» как силу, которая, разрушив советский социализм, нанесла непоправимый удар по самой России. «Целились диссиденты в коммунизм, а попали в Россию». А может те, кто держал их под локоть, и целились-то в Россию?

Мы сдавали пять экзаменов, и максимальное количество баллов, которое можно было набрать, равнялось двадцати пяти. Такого результата не добился никто. Проходным баллом могло стать двадцать четыре. Мы оба набрали по двадцать три и «выпали в осадок». Вышли из правого крыла университетского здания на Моховой, где находился тогда философский факультет, сели на низкий бетонный парапет чугунной решетки. Мимо нас туда и сюда двигались людские ноги в сапогах, ботинках, туфлях. Шли своим чередом по своим делам...

Ясно было, что с положением, в которое мы попали, нам самим не справиться. Вмешался отец Виталия, Иван Ивано-

вич. Он был генерал-майор, а генералы в первые послевоенные годы пребывали в большом почете. Одна звезда на золотых генеральских погонах значила, конечно, немало, но целых три... Некоторые старые друзья Ивана Ивановича, с которыми он когда-то начинал военную службу, в годы войны сделали большую карьеру. Одним из них был Филипп Федосеевич Жмаченко. После войны, приезжая в Москву, он обязательно навещал «друга Ивана». Массивный, тяжелый, в парадном мундире цвета морской волны с разными расшитыми золотом галунами, увешанном целым иконостасом орденов и медалей, генерал-полковник Жмаченко производил неотразимое впечатление.

В очередной раз он заехал к «другу Ивану» на Сокол как раз в момент нашего университетского провала. Ему рассказали о случившемся. Молодая, пышная блондинка, «гарная жинка» – жена Жмаченко, – попросила его:

– Филипп, ты бы помог хлопцам!

– А чего ж нет, – сказал он, – подскажи, Иван, что делать надо, с кем поговорить?

И вот в один прекрасный день мы вдвоем стоим во дворе у машины Жмаченко, ждем генерала, чтобы ехать с ним в ректорат МГУ. Он вышел, сел на переднее сиденье возле шофера, тоже военного. Наше самолюбие тешила речь водителя:

– Куда едем, товарищ командующий? Ясно. Ребят тоже берем, товарищ командующий? Есть! Пусть покажут дорогу!

Поехали. Водитель плохо знал московские улицы, допускал нарушения. Милицейские свистки несколько раз останавливали нас. Жмаченко выглядывал из-за стекла и весело кричал милиционерам:

– Ну что, братцы? Какие претензии?

Жмаченковские звезды производили ошеломляющее впечатление. «Братцы» брали под козырек.

В просторной приемной ректора МГУ профессора И.С. Галкина все стулья, расставленные вдоль стен, были заняты. Посетители, скорее всего, явились сюда, как и мы, по делам приема. Когда в парадном, сверкающем мундире вошел Жмаченко, все взоры обернулись на него. А за его спиной «небрежно» шествовали мы в летних рубашечках с закатанными рукавами. Жмаченко подошел к секретарше, которая поднялась.

– Товарищ ректор у себя?

– К сожалению, нет. Его вызвали на совещание в министерство.

– Когда прибудет?

– Часа через два.

Жмаченко слегка отодвинул рукав мундира, взглянул на часы:

– Сейчас 12.15. Значит, будет в 14.15...

Секретарша и посетители не могли сдержать улыбок.

– Нет, – сказал Жмаченко, – к 14.15 вернуться не смогу. Еду в Кремль на Верховный Совет. У вас листок бумаги найдется?

Листок нашелся. Жмаченко присел возле стола, и я краем глаза видел, как он крупными, аккуратными буквами стал писать: «В приемочную комиссию Московского университета. Прошу принять для прохождения учебы на философическом факультете: 1) Свинцова Виталия Ивановича, 2)...», – он повернулся ко мне:

– Тебя как точно? Два эф?..

И написал: «...2) Иоффе Генриха Зиновьевича». Чуть ниже поставил подпись: «Депутат Верховного Совета, Герой Советского Союза, генерал-полковник Ф. Жмаченко».

– Вот, передайте товарищу ректору, – сказал он секретарше.
– Жаль, не могу его повидать. Верховный Совет...

Мы вышли в университетский двор.

– Вам куда, ребята? – спросил Жмаченко. – Могу подбросить.

Мы ответили, что погуляем.

– Верно, – заметил он, – побродите по Москве, погода отличная. Скоро вам за учебу, гулять некогда будет. А нам – в Кремль.

– Так точно, товарищ командующий, – рапортовал водитель.

Не знаю, что было бы, если бы генерал Жмаченко встретился с ректором Галкиным в «14.15», когда он, Галкин, обещал «прибыть». Может, нас приняли бы на «философический факультет» двоих. Генеральская же записка сработала наполовину. Согласились принять одного, того, кто стоял в жмаченковском списке под номером один.

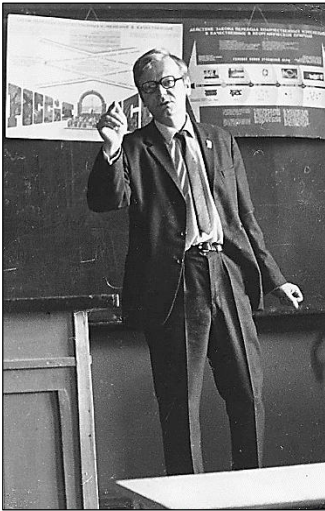
– Я один поступать не буду, как договорились, – твердо сказал Свинец.

– Будем хлопотать и за дружка твоего, но поступать надо, хватит ребячества, – еще тверже сказал старший Свинцов. Он, конечно, был абсолютно прав.

* * *

С той поры мы с Виталием не расставались никогда. Когда уезжали, писали письма. Вот они – целые пачки. Не хватает духу их разобрать. Но я знаю, что в них немало глубоких размышлений. Его интересовала прежде всего человеческая личность, ее внутренний мир, душа.

Однажды Виталий рассказал:



– Была у меня нянька Даша, из деревни отца. Она мне объясняла: «Вот видишь, детка, только-только человек народился – сейчас Бог к нему ангелов посылает. А и сатана не дремлет – бесов своих шлет. Кто, значит, первый душу захватит. А душа наша, детка, на двоих сделана, на два то есть места. Хошь ангелов туда суй, хошь бесов. Боле двоих не вмещает. Вот и выходит: кому два ангела досталось – энтот добрый, святая душа. Кому два беса

Виталий Свинцов в 80-е гг. – энтот злодей лютый. Ну, а кому по ангелу и бесу – энтих в миру самое многое, грешных. У них ангел на свое тянет, а бес – на свое».

– Ну, как тебе философия Дашина? – спросил он.

– Сильно! А ты что же, к вере потянулся?

– Я – как у Ионеско: «Мне кажется, я верую, не слишком веря, что верую». Люди ищут дорогу к Храму, а вот нянька моя неграмотная знала: доброта души человеческой и есть истинный Храм. Другие Храмы, я думаю, факультативны...

Профессор Разгон – историк

У моего отца – простого рабочего, часовых дел мастера – был земляк, которым он очень гордился: профессор истории, лауреат Сталинской премии И.М. Разгон. Отец вообще испытывал глубокое почтение к людям образованным, а профессора казались ему просто небожителями. О Разгоне он рассказывал: «В Горках (городок в Белоруссии – Г. И.) семейство Разгонов хорошо

знали. Старик музыкант был. Азохенвей... Клезмер. Знаешь, что такое клезмер? На свадьбах играли. Бедняк... Но после революции младшие Разгоны пошли в гору. Все способные. Учились, комсомол, партия... Очень многого добились...»

Отец считал чуть ли не за честь, если профессор Разгон обращался к нему с просьбой починить часы. Чинил и сам привозил ему домой, в «сталинский» дом на улице Горького. Разгон подарил ему третий том «Истории гражданской войны», в написании которой принимал участие, и сделал надпись на титульном листе: «Моему дорогому земляку...». Отец хранил эту книгу в красном переплете и всегда показывал ее гостям. В тот год, когда генерал Жмаченко хлопотал о приеме нас на «философический факультет», профессор Разгон читал лекции по истории Октябрьской революции и гражданской войны на историческом факультете МГУ. После исключения меня из жмаченковского списка дорога вела к профессору Разгону.

Он оказался приземистым, очень широким, плечистым человеком с большой головой, украшенной пышной гривой волос. Говорил громко, весело, и так же громко хохотал.

– Что? – зарокотал он, когда мы с отцом явились к нему. – Какой еще философский факультет?! Тоже мне профессия – философия! С ума сойти! Только история!

Он назначил мне день, когда я должен был явиться к нему на истфак на улице Герцена, угол Моховой. Мы пошли вдвоем с Виталием. Разгон велел мне посидеть у входа в кабинет декана исторического факультета, профессора М.Н. Тихомирова, а сам направился к нему.

– Старик, – тихо шептал мне Виталий, – отвечаю: тебя возьмут. Видал у Разгона лауреатскую медаль? Ему не откажут.

Примерно минут через пятнадцать-двадцать меня позвали в кабинет. Тихомиров сидел за столом в накинута

на плечи пальто: в комнате было холодновато. У него было лицо монголоидного типа. Щеточка усов, старомодные очки в круглой оправе...

Он поднял голову и сказал:

– Вот при профессоре Разгоне говорю: сдашь экстерном все экзамены за первый курс на пятерки, переведу тебя в будущем году на второй курс стационара. Старайся! Все.

Я честно старался. Один лишь профессор А. Арциховский поставил мне по «основам археологии» четверку и никак не соглашался на переэкзаменовку. Все остальное я сдал, как велел Тихомиров. Но, конечно, не Арциховский стал причиной моей новой университетской неудачи. И не в том было дело, что Тихомиров нарушил свое слово. Шел 47-й год. Чувствовалось, как усиливается идеологическое давление в стране. Уже позади был разгром ленинградских журналов, печатавших «антипатриотических пошляков» Зощенко и Ахматову, начинался «перебор людишек» в институтах, издательствах, редакциях в соответствии со знаменитым «пятым пунктом». Скоро будет убит С. Михоэлс, арестован Еврейский антифашистский комитет и всю развернется пресловутая кампания «борьбы с космополитизмом». И сам Разгон будет объявлен «космополитом» и отправлен заведующим кафедрой в Томск.

В начале 80-х мы, группа московских историков, приехали в Томск на конференцию. Разгон жил в огромной квартире барином. Сибиряки почитали его как своего главу. Он устроил банкет. Разомлев, он предложил петь комсомольские песни его юности, мы было подтянули, но как-то вразнобой. Новые песни уже придумала жизнь.

Впоследствии о «космополитизме», «Деле врачей» и т.п. будут написаны тома, но вразумительного объяснения происходившей тогда политической фантазмагии, пожалуй, нет до сих пор. Имели ли в виду явно погружавшийся в маразм Сталин и окружавшие его алчные парткарьеристы войну с

Америкой и потому смотревшие на «еврейский национализм» как на некую «пятую колонну», – доказать трудно. Но так или иначе, ветер большой политики уже погнал человеческие пылинки по путям-дорогам жизни.

В университет меня не приняли. Приняли на ранг ниже – на исторический факультет Пединститута им. Ленина.

Литинститут

Годы 47-й и 48-й стали для нас поэтическими годами. Это потом, в 60-х, поэзия пришла на площадь Маяковского, где возле памятника поэту зазвучали стихи молодых – Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского и многих-многих других. В их стихах была и лирика, и первые звуки политической оппозиционности. А тогда, сразу после войны, домом поэзии стал Литературный институт на Тверском бульваре, в старинном доме отца Герцена. По вечерам там собирался народ, и поэты читали свои стихи. Мы со Свинцом повадились ходить туда.

Помню маленького, щуплого Павла Антокольского; по-еврейски длинноносого, с грустным выражением лица Михаила Светлова; мрачноватого, небрежно одетого, по-моему, нередко пребывавшего в подпитии Ярослава Смелякова. Но они там преподавали, а для нас тон задавали студенты-фронтовики: Семен Гудзенко, Юлия Друнина, Марк Максимов, Сергей Орлов, Яков Козловский, Александр Межиров, другие. Пережив войну, они так и не могли расстаться с ней. Она вошла в их умы и сердца и, мне кажется, ни о чем другом они не могли писать с той силой, с какой писали о войне.

Затаив дыхание, мы слушали Гудзенко:

*Когда на смерть идут, – поют,
а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою –
час ожидания атаки...*

И нам казалось, что вот сейчас раздастся ротный свисток, и, тяжело перевалившись через бруствер окопа, мы сами пойдем в атаку.

А с обожженным лицом, горевший в танке Сергей Орлов? И теперь часто цитируют великие строчки, написанные им:

*Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат...*

А мы цепенели и от другого его стихотворения:

*Броня от солнца горяча,
И пыль похода на одежде.
Стянуть комбинезон с плеча,
И в тень, в траву. Но только прежде
Мотор глуши и люк открой –
Пускай машина остывает.
Мы всё перенесли с тобой:
Мы – люди, а она – стальная.*

В созвездии фронтовых поэтов обращал на себя внимание вихрастый, напористый паренек с перебитой рукой: Виктор Урин. Среди слушателей он пользовался большой популярностью. Стихи свои читал вдохновенно. У меня долго хранились тоненькие брошюрки его стихов. Потом следы Урина для нас затерялись. И вдруг, спустя полвека, живя уже в Канаде, натываюсь на стихи Виктора Урина в нью-йоркском «Новом журнале». Но это совсем, совсем другие стихи, нечто подсознательное или надсознательное. Ничто не напоминает того юного Урина, которого мы когда-то знали.

Я тут же написал ему: думал, что и он хоть на мгновение вернется в далекую послевоенную молодость. Он отозвался, но в том же духе своих поздних странных сочинений. А было:

*Но мы идем, мы вперед идем,
И если ты устанешь – солги!
Под качающимся дождем
Хрипят и хлюпают сапоги.
У нас желанье одно – привал,
У нас желанье одно – уснуть.
На плече товарища я дремал,
А товарищ клевал подбородком грудь.*

В конце 2004 года я прочитал о смерти Виктора Урина в Нью-Йорке. В некрологе не без некоторого сожаления (так мне показалось) упомянули и о старом «советском патриотизме» Урина. И я вспомнил... Вот он стоит на сцене зала Литинститута и читает стихи, которые нам не забыть.

*Не знаю, где упасть придется,
На Украине – у колодца,
Или в Литве – у стога сена,
Земля повсюду драгоценна.
Пусть мчится наше поколенье
Через тревоги и усталость,
Через смертельные раненья –
Лишь только б Родина осталась...*

Можно сказать о нас словами стихов Юрия Левитанского: да, мы не участвовали в войне, но она участвовала в нас. И будет участвовать до последнего нашего вздоха.

*И отблеск Вечного огня
дрожит на скулах у меня.
(Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от тех снегов, от той зимы.*

*И с той землей, и с той зимой
Уже меня не разлучить,
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.)*

Полет футбольного мяча

О Патриарших прудах я буду рассказывать дальше. А сейчас только скажу, что через много-много лет после окончания школы познакомился я там с полковником, который просил называть его просто Костя. И Костя рассказал мне, что живет он в одном доме с генералом Петуховым, который часто вспоминает школу, в которой когда-то учился. Выяснили, что номер этой школы 254. Я спросил не Геннадием ли зовут генерала.

– Точно, Геннадий Иванович.

– Так это ж Генка Петух из нашего десятого класса, – чуть ли не закричал я. – Передайте ему привет. И я назвал себя.

На другой же день Костя подошел ко мне:

– Конечно, конечно, вспомнил он вас! Здорово, сказал, вы в футбол играли!

Я был несказанно рад этой похвале. Как теперь выражаются, футбол был одной из главных составляющих нашей юной жизни. Да разве только одной нашей? Всей Москвы!

Довоенного большого футбола наше поколение не знало. Мальчишки пробавлялись слухами, верили легендам. О том, например, что на правой или левой ноге какого-либо великого игрока 20-х – 30-х годов была наколота татуировка: «Бить запрещено – удар смертелен». Если наличие таких потрясающих наколок все-таки могли вызывать сомнения, то свято верящих в то, что некоторые футболисты ударом мяча могли ломать штанги ворот, было множество.

Зачитывались книжкой забытого ныне писателя, большого любителя футбола Льва Кассиля «Вратарь республики», герой которой, вратарь Антон Кандидов, вообще не пропускал ни одного мяча, в том числе и в матчах с зарубежными игроками. В фильме, поставленном по книжке Кассиля, они выбегали на поле в головных повязках, на которых были укреплены... рога! Да и выглядели эти игроки как разъяренные быки. Такими ужасными старались представить тогда «буржуазных» футболистов-профессионалов.

Стадионом наших Мещанских улиц был тогда «Буревестник» (раньше называвшийся «Профинтерн»), находившийся в несуществующем теперь Самарском переулке. Впрочем, стадионом, по меркам наших дней, назвать его невозможно: никаких трибун там не существовало. Вдоль вытоптанного футбольного поля (зимой его покрывали льдом) – два ряда длинных деревянных скамеек. Бревенчатый одноэтажный домишко, похожий на сарай, заменял раздевалку для игроков.

По выходным дням на «Буревестнике» играли с утра до вечера. Сначала выходили команды мальчиков. Потом – юноши, а уж за ними – взрослые. Их называли «мастерами». Зрители, конечно, ждали их выхода. Какие они уж там были «мастера» – это большой вопрос, но и среди них попадались классные футболисты. Однако истинные мастера Большого футбола играли на центральном стадионе «Динамо», в Петровском парке.

Летом 1937 года футбольная Москва услышала и увидела дотоле неведомых басков. (Впоследствии писатель А. Нилин написал о них книгу «Баски, 1937 г.».) В Москву приехала знаменитая команда испанской Басконии (тогда шла гражданская война между республиканской Испанией и диктатором генералом Франко). Играли баски блестяще. Даже их имена завораживали – Лангара, Иррагорре, Бласко, Регейро, Силларуэн... Наши лучшие команды, одна за другой, терпели по-

ражения. Выиграл только, кажется, последнюю игру «Спартак», в футболках которого сражались и некоторые игроки сборной СССР. Среди них выделялся рабочий паренек из подмосковного Глухова Григорий Федотов (он играл за «Металлург»). Внешне он не очень был похож на спортсмена. Грузноватый, пожалуй, даже массивный, с грубоватым лицом трудяги на тяжелых работах, этот парень обладал поразительным набором финтов, пружинистым дриблингом, удивительной способностью видеть партнеров на поле и неожиданностью передач мяча. Отличился он и играя против басков за «Спартак». В газетах о нем писали: «Вот он пересек поле, “качнул” защитника, и каким-то падающим движением послал мяч в 30-метровый полет. Через несколько секунд этот полет закончился трепыханием мяча в верхнем углу баскских ворот». Пройдет немного времени, и Федотов станет одной из знаменитостей нашего футбола...

До войны в советском футболе господствовал московский «Спартак», за который в разные годы играла знаменитая четверка братьев, сыновей, по слухам, чуть ли не одного из царских егерей, жившего на Пресне. Это были Старостины: Николай, Петр, Александр и Андрей. Летом 1942 г. знаменитых братьев посадили. Ходили три версии: по одной, их арестовали якобы за какие-то коммерческо-гешефтские дела в «Промкооперации» (которую представлял «Спартак» и которой братья руководили). Вторая версия приписывала им чуть ли не антисоветскую агитацию! А по третьей: покровитель главного соперника «Спартака» – команды «Динамо» – всесильный Л. Берия сам бросил Старостиных в лагерь, чтобы свести «Спартак» до положения заурядного футбольного клуба. Что тут было верно, а что вымысел – сие так до конца и неизвестно.

Так или иначе, но после войны «Спартак» стал уже не тот. Теперь борьба развернулась между московскими командами «Динамо» и ЦДКА. К этому времени мы выросли. Почти весь

наш двор страсто болел за ЦДКА.

Наш Орловский переулок находился рядом с огромным парком, центром которого был ЦДКА – Центральный Дом Красной Армии. До революции здесь находился Екатерининский институт благородных девиц. Легко можно себе представить красоту парка тех времен. Длинные тенистые аллеи, вековые деревья, пруд, по которому плавали прогулочные лодки. Впоследствии вид старинного парка подпортили: построили здание ресторана, оборудовали бильярдную и открытую танцплощадку. В парке стали крутиться жившие неподалеку хулиганистые группки айсоров – монополистов московских стеклянных будок, в которых проходим чистили ботинки, продавали банки с гуталином и шнуры.

Зимой два поля парка превращали в каток. В те годы зимой футболисты переключались на хоккей. Он назывался русским – большое футбольное поле, отсутствие бортов, клюшки с загнутыми крючками и др. И мы с детства являлись завсегдатаями этого катка. Вертелись там днями и вечерами, выделявая на льду головоломные фортели.

Некоторые игроки команды ЦДКА были выходцами из нашего микрорайона, и мы их знали (например, А. Виноградова, по непонятному прозвищу Барель, А. Гринина и др.). Во второй половине 40-х годов ЦДКА была уже ультраклассной командой, как ее называли, «командой лейтенантов».

В ЦДКА все были мастера, но супермастером был новый форвард Всеволод Бобров, который только одним своим внешним видом воплощал классический тип футболиста (он с блеском играл и в хоккей). Если о Федотове мы – мальчишки – узнали по газетным отчетам об играх с басками, то Боброва я и мои «одноворцы» впервые увидели на ледяном поле нашего старого «Буревестника». Это было еще военной зимой 1944 года.



Мы стояли у выхода из бревенчатой раздевалки. Один за другим, стуча коньками по деревянному настилу, из нее на лед выкатывались хоккеисты. Они были одеты в длинные байковые брюки с манжетами у шиколоток, свитеры и вязаные шапочки. Вот на льду уже появился внешне смахивающий на цыгана А. Виноградов (Барель), за ним – стройный русоволосый

Всеволод Бобров. Конец 40-х гг. парень. Стоявший рядом приятель спросил меня:

– Ты о нем что-либо слышал?

– Нет, ничего. А кто он?

– Бобров Всеволод, Севка. Он в хоккей как бог играет. А в футбол еще лучше!

Бобров родился в г. Моршанске Тамбовской области, но вскоре семья переехала под Ленинград, в г. Сестрорецк. Как и Федотов, Бобров был из трудовой среды. Е. Евтушенко, воспевавший Боброва в стихах, отметил в нем крестьянские черты:

*Вихрастый, с носом чуть картошкой,
Ему в деревне бы с гармошкой,
А он в футбол, а он – в хоккей...*

А откуда же им – таким парням, как Федотов или Бобров – тогда браться? Миллионеров среди спортсменов в те времена и в помине не было...

Когда Боброва приняли в ЦДКА, ему не было и двадцати трех лет. Цедековская линия нападения включала в то время таких грозных нападающих, как А. Гринин, В. Николаев, Г.

Федотов, П. Щербатенко и В. Демин. Но Бобров обладал уникальным качеством, которое, собственно, и «делало» игру, приносило победный результат. Он был игроком неудержимого прорыва к воротам противника и точного завершающего удара по воротам. Евтушенко отметил эту бобровскую неповторимость:

*Кто мастер дриблинга, кто финта,
А он вонзался, словно финка,
Насквозь защиту пропоров,
И он останется счастливо
Разбойным гением прорыва...*

Не случайно всю вторую половину 40-х годов, да и несколько лет позднее команда ЦДКА прочно лидировала в нашем футболе. Я помню один из номеров журнала «Огонек» того времени. На его красочной обложке фото – две спортивные фигуры. На заднем фоне – мощный Федотов, на бегу только что передавший мяч. На переднем – Бобров, уже принявший федотовский пас. Руки его «разбросаны» для равновесия, нога занесена для удара. И надпись: «Только что Федотов передал мяч Боброву. Сейчас последует мощный и точный удар по воротам!»

Сколько лет минуло, а эта фотография так и осталась в памяти неколебимой скульптурой...

Я много лет смотрел и сейчас нередко смотрю футбол. Видал «звездных» футболистов из разных стран. Думаю, наш «старый футбол» занял бы среди них хорошее место. Легко, свободно играли, как написал Е. Евтушенко, «в безномерных футболках вольных...».

Не придавалось тогда значения рекламе. И звездной болельню не болели футболисты и хоккеисты. Играли без позы и циркачества. После забитого гола не бросались целоваться и обниматься, не совершали на поле кульбиты, не стаскивали с себя рубашек на глазах многотысячных зрителей. Простые

парни, они играли не за бешеные деньги. Другой был футбол. Теперь его уже нет – он в офсайде...

В дни матчей Москва валила на центральный стадион «Динамо». Трамваи были обвешаны целыми гроздьями людей. Метро забито до отказа. У входов – шпалеры пешеходных милиционерских.

На Восточной трибуне, где, как считалось, собирались настоящие болельщики, вспоминали о давних играх с Уругваем, с турками. Говорили, конечно, о матчах с грозными басками, приезжавшими в Москву в 1937 году. А тут вдруг речь зашла о том, что наши поедут за границу – и куда?! В Англию – страну, признанную по классу футбола номером один. «Припухнут!» – говорили скептики и пессимисты. «Это как сказать!» – отвечали оптимисты. Стали судить и рядить состав. Кого только не перебрали! Потом выяснилось: поедет «Динамо», но усиленное в нападении Бобровым и ленинградцем Е. Архангельским. Команду повез Михаил Якушин («Михей»).

Это теперь за своими любимцами «новые русские» болельщики летят самолетами, а тогда... Москва изготовилась слушать радиорепортажи, которые должны были, кажется, передаваться чуть ли не с того света. С динамовцами полетел единственный тогда спортивный комментатор Вадим Синявский, обладатель хриповатого тенора, благодаря которому он умел достичь эффекта физического присутствия зрителей на стадионе. Много потом было футбольных радио- и телекомментаторов, но такого поразительного в своем искусстве, как Вадим Синявский, убежден, не было никогда. Король он был, настоящий король в своем деле...

Чтобы не ударить в грязь лицом перед гордыми бриттами, наше руководство постаралось: всех футболистов одели в синие костюмы и... шляпы! Считали, наверное, что таким шиком произведут надлежащее впечатление на англичан. Хотели как лучше... Но если мы, плохо зная англичан, делали

(как понимали) все, чтобы подчеркнуть свое к ним уважение, они, со своей стороны, не все и не всегда поступали так. Одна наша газета перепечатала английскую заметку: «Сегодня русские будут свободны от игры. Они станут пить водку, заедать ее черной икрой и под однообразные, надоедливые звуки балалайки плясать на корточках». Впрочем, это писалось до первой встречи на футбольном поле. Первый матч состоялся 13 ноября с «Челси». Если бы тогда кому-нибудь из нас, болельщиков, сказали, что через шестьдесят лет эта команда станет собственностью российского миллиардера Р. Абрамовича, мы бы решили, что все это кому-то приснилось в страшном сне или человек впал в тяжкий бред...

У нас тогда писали, что в «Челси» сделали ставку на непревзойденного Т. Лаутона, такого же всемогущего на футбольном поле, как адмирал Нельсон на морских просторах. «Челси» выигрывал 3:2, но Бобров все же забил свой гол, сравняв счет. Эта ничья была воспринята нами в Москве как победа. Теперь англичане уже не выглядели футбольными суперменами. Не таким страшным оказался и сам Лаутон. Динамовский «раздатчик» мячей К. Бесков точными пасами выводил на удар то Карцева, то Боброва, и они сделали свое дело. Вратарь Хомич вызывал восторг англичан, тигриными прыжками «доставая» мячи из самых дальних углов наших ворот.

А потом был туман. Густой лондонский туман лег на стадион, окутал поле. Но игру со знаменитым «Арсеналом», возглавляемым футбольным корифеем тех лет Стэнли Метьюзом (он потом стал членом Палаты лордов), не отменили. Мы долго настраивали приемник в квартире нового большого дома на Соколе, где жил Виталий Свинцов. Он был страстный болельщик за ЦДКА и поэт. Вот маленький отрывок из его стихов:

*Удар у Гринина прост и прям.
Очень удар суров.
И по самым дальним углам
Бьет обычно Бобров!*

...Наконец сквозь треск и хрипы приемника мы поймали прерывающийся голос Синявского. «Плохо вижу, – говорил он. – Туман даже скрывает фигуры футболистов. Вот сейчас спущусь к кромке поля, чтобы получше разглядеть и даже, если удастся, расспросить наших игроков».

Возможно, Синявский и преувеличивал густоту тумана, но нам у приемников он казался черным, зловещим. И там, в этом мрачном висящем тумане, сражаются наши ребята, бьются за победу. Неверующие, мы молились: бог футбола, подсоби им! Вот опять через треск и шумы хрипотца Синявского: «Сейчас наш капитан Семичастный успел на бегу крикнуть мне, что счет три-три. Опять три-три, как с “Челси”». Потом на момент все стихло, только какой-то гул, отдаленный и непонятный. И разрывая его, ликующий выкрик Синявского: «Четыре! Четыре-три! Мы забили! Это золотая нога Боброва направляет мяч в английские ворота!»

Потом был матч, по-видимому, с непрофессиональной командой «Кардифф-Сити», который мы играючи выиграли со счетом 10:1. И под занавес сыграли с сильной «Глазго Рейнджерс» вничью: 2:2.

Встречали ребят дома с почестями, но довольно скромными. Все тогда было скромное: и люди, и проявление чувств, и даже торжества. Футбол есть футбол, не более, чем игра... Теперь смотрю футбол по ТВ. Вот выходят на поле огромных стадионов черные и белые звезды – сколько длинноволосых красавцев! Кумиры миллионов, да и сами миллионеры. Все умеют, все могут. А я смотрю на сохранившуюся у меня ста-

рую фотографию конца 40-х годов. Вот они, наши футболисты, стоят плечом к плечу перед матчем. Видно, в тот день было холодновато, дул ветер, потому что многие чуть ссутулились, обхватили себя руками. Простые рабочие ребята. Прически – больше «бокс» или «полубокс». А вот среди них и Бобров, совсем еще молодой, через некоторое время уже воспетый Е. Евтушенко:

*Шаляпин русского футбола,
Гагарин шайбы на Руси...*

Они обыгрывали дедов нынешних футбольных корифеев. А самих этих корифеев обыграли бы? На Восточной трибуне «Динамо» настоящие болельщики, наверное, сказали бы: «Сыграли бы: мяч-то – он круглый».

О стадионе в подмосковном селе Лужники до войны, да и после нее вообще не было слышно. Его начали строить в середине 50-х годов, и молодежь со всех предприятий посылали туда на субботники. Я и теперь, более чем полвека спустя, вижу огромный строительный котлован возводимого в Лужниках стадиона. Открыли его в 1956 году, а до того московский народ валом валил на тогдашний центральный стадион Москвы, в Петровском парке, – «Динамо». Существовал и другой стадион – «Сталинец», но он был значительно меньше «Динамо», а главное – находился далеко от центра. На «Сталинец» надо было сперва ехать на метро до Сокольников, потом на трамвае до Преображенки, а от нее еще изрядно топтать пешком. Стадион этот располагался в красивой роще, был уютным, но являлся как бы дублером «Динамо», который казался очень большим, нарядным, праздничным.

Овал динамовских трибун составляли четыре трибуны: Северная, Южная, Западная и Восточная. Северная трибуна у болельщиков считалась «элитной». Она (как и Южная) располагалась вдоль футбольного поля, и футболисты (нам казалось),

как-то по-особому постукивая шипами бутс о каменные ступеньки, выбегали на матч из тоннеля, находившегося как раз под Северной трибуной. Но главное, даже в яркий солнечный день Северная трибуна находилась в тени, и ее зрителям хорошо было видно все футбольное поле. (Мощные прожектора, позволившие проводить игры в вечернее время, были установлены на стадионе позднее.) Цена билета на Северную трибуну рядовым болельщикам была не по карману – аж целый рубль! И на этой трибуне обычно располагалась более-менее состоятельная публика той поры – офицеры (можно было увидеть и генералов), чиновный люд и т.п.

Южная трибуна тоже, как уже говорилось, располагалась вдоль футбольного поля, но она освещалась солнцем и потому котировалась ниже Северной. Цена на нее была меньше – кажется, 70 или 80 копеек.

Западную трибуну осваивала «простая» публика. Трибуна находилась за футбольными воротами, и смотреть за игрой приходилось не в ширину поля, а вдоль него, так что происходившее возле противоположных ворот не всегда было хорошо видно. Но «Запад» имел все-таки некоторые преимущества. Он не так сильно освещался в солнечные дни и не столь плотно «утрамбовывался» людьми, так что свое место (купленное в кассе) там всегда можно было занять. Да и билет сюда стоил всего полтинник.

Восточная трибуна – вот где царила подлинная болельщическая демократия! Работяги в кепажах-малокозырочках и поддевках, пацаны лет двенадцати-пятнадцати – это был их дом. Чтобы попасть на «Восток», надо было заплатить всего 30 копеек. Однако и таких денег у многих ребят с московских окраин часто не имелось. Тогда, как говорили, приходилось идти «на протырку» т.е. на прорыв. В прорывах были и стихия, и подготовка. Мы, например, собирались на нашей Трифоновской улице и ждали прохождения по ней грузовых

трамвайных платформ (в то время такие ходили, перевозя различные грузы). Остановок эти платформы, конечно, не делали, но мы в них и не нуждались. Мы садились на такие платформы с ходу, размещались на площадках и бесплатно доезжали до Верхней Масловки. Тут тоже на ходу выпрыгивали и уже пешком двигались к «Динамо». К нам со всех сторон присоединялись все новые и новые «прорывщики». Толпа непрерывно ширилась и густела. Вот, наконец, и врытые в асфальт заграждения, перекрывающие путь на территорию стадиона. Рядом – контролеры. Толпа сзади все напирает и напирает. Какое-то время несчастные контролеры сдерживают напор, но сил у них явно не хватает, и прорыв совершается! Прорвавшиеся рассыпаются по стадиону, постепенно, однако, сосредотачиваясь у проходов на Восточную трибуну. Но, увы, – это только полдела. Надо еще пройти второй и более строгий контрольный заслон, чтобы попасть на самое трибуну.

Обладатели билетов (они не участвовали в прорывах) чувствовали себя уверенно. Они спокойно проходили через этот заслон и рассаживались по скамейкам на свои законные места. А вот прорвавшимся безбилетникам приходилось метаться. Те, кто поменьше ростом и возрастом, приставали к взрослым: «Дяденька, проведи!» И находилось много сердобольных «дяденек» которые, жалея мальчишек, каким-то образом действительно их проводили. То ли убеждали контролера, что этот со мной и будет сидеть у меня на коленях, то ли ловким мальчишкам удавалось проскользнуть мимо контролера, пока он беседовал с «дяденьками».

А на скамьях Восточной трибуны действовал железный закон футбольных дружбы и братства. Фраза: «Ребята, подвигайся!» работала безотказно, как приказ. Сидели впритык, обнявшись, чтобы не свалиться в проходы, в самих проходах. Пьяные отсутствовали... Любопытно, что под трибунами в то

время свободно, в разлив, продавали пиво и даже водку, а пьяного хулиганства на «Востоке» тогда не было! Вот подходит какой-нибудь работяга к стойке: «Мамаша, насыпь сто пятьдесят!» Выпивает, закусывает, не спеша идет на трибуны и ведет себя там нормально. Да и что может увидеть нетрезвый болельщик? На Восточной трибуне не было случайных или редко приходивших сюда людей. Тут собирался постоянно «прописанный» народ, настоящие знатоки футбола. Они знали все об игроках не только своих, но и чужих команд, а класс и мастерство этих «чужих», будь они даже из других городов и республик, никогда не умаялся в сравнении со своими любимцами. Класс есть класс! Никуда от этого не денешься, причем же тут свои или чужие?

Особенно любили на «Востоке» нескольких стремительных нападающих. Это были великие мастера – Всеволод Бобров (несколько ранее – Григорий Федотов) из ЦДКА, Константин Бесков и Василий Карцев из московского «Динамо», Валентин Иванов из московского «Торпедо», Борис Пайчадзе и Гайоз Джеджелава из тбилисского «Динамо», Александр Пономарев из сталинградского «Трактора» и др.

Бобров был супер-звездой. Но поражал и динамовец Карцев. Небольшой, худенький, даже тщедушный, он обладал невероятной силой ног. Причем удары по мячу он, как правило, наносил со средних и дальних позиций. Вот Карцев, маневрируя, выходит на ударную позицию. «Восток» привстает в ожидании чуда. Секунда... И мяч, сорвавшись с ноги Карцева, как пушечное ядро, врывается в сетку ворот!

А Пономарев, или, как его звали на Восточной трибуне, Пономарь, – невысокий, плечистый, крепкий, как дубок! У него был стелющийся, размашистый бег, и даже мощные толчки защитников не могли его остановить. О нем, впрочем, как и о других, ходили легенды.

Сколько захватывающих матчей видели мы с Восточной

трибуны! Об одном из них стоит рассказать. 1948 год. Впервые за победу в розыгрыше первенства СССР по футболу игроки награждались золотыми медалями. А положение сложилось так, что почти в выигрышной позиции оказалась московская команда «Динамо». Она опережала команду ЦДКА на одно очко и в последнем между ними матче динамовцам достаточно была ничья, чтобы первыми в нашем футболе получить эту высшую награду – золотые медали.

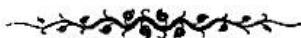
Восточная трибуна сгрудилась намного больше обычного. Сидим, прижавшись друг к другу. Вот выскочили из своего туннельного подземелья футболисты. Свисток судьи, и игра пошла. Открыл счет Бобров, но Бесков сквитал. Как всегда, красиво играл центральный защитник ЦДКА Иван Кочетков! У него был очень высокий прыжок, и он как будто бы на мгновение зависал в воздухе. Кочетков и стал героем матча. При счете один-один армейцы забили второй гол и, казалось, уже шли к победе. Тут-то и произошла кочетковская трагедия. Пытаясь отбить высоко летевший мяч, Кочетков «срезал» его в собственные ворота! Сидевший рядом болельщик «Динамо», одуревший от радости, встал и бросился в нижние ряды трибуны. Его со смехом за ноги вытащили и усадили на место. И оставалось совсем мало времени до конца игры...

Мне кажется я это видел: желтовато-калмыковатое лицо Кочеткова потемнело. Было заметно, что некоторое время он находился в шоке – его перемещения по полю стали хаотичными. Но затем простая мысль, видимо, привела его в чувство. Какая разница: ничья или проигрыш – все равно поражение. И Кочетков сделал выбор. Обнажив свой тыл (была не была!), пройдя с мячом свою половину и середину поля, он увидел, как набирали скорость следовавшие за нападающими совсем молодые армейские полузащитники Вячеслав

Соловьев и Алексей Водягин. Кочетков послал мяч Соловьеву, и тот, не останавливаясь, нанес удар по воротам. Но мяч не достиг сетки. Штанга! Отскочивший от нее мяч перехватил рвавшийся вперед Бобров и вместе с мячом вошел в сетку динамовских ворот! Так и осталось у меня в памяти: растерянность и затем отчаянный рывок Кочеткова, победно выбегающий из динамовских ворот Бобров и бессильно лежащий на траве поверженный вратарь «Динамо» Алексей Хомич...

Прошло много лет, больше полувека. Давно уже в Москве построено множество современных спортивных сооружений, «Динамо» теперь лишь один из периферийных стадионов города. Но та динамовская Восточная трибуна жива в нашей памяти. И я вижу: вот футбольный мяч взвился над зеленым полем и летит в голубизну неба. Это полет нашей уже далекой юности.

**НАШ КОСМОПОЛИТИЗМ
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕРЕУЛКА**



Флигель на Старом Арбате

*Не*удачу с поступлением в МГУ я переживал не слишком долго. Конечно, университет давал более широкое образование, да и престиж его был выше, но что же делать... Зато меня приняли сразу на второй курс Пединститута им. Ленина. Старинное его здание, находящееся на Малой Пироговской улице, особенно его парадный зал, мне понравилось. По всему периметру зала – колонны, гранитный пол, витые деревянные лестницы, ведущие на верхние этажи. В этом зале, между прочим, в 1947 году снимали сцену выпускного гимназического бала из замечательного фильма «Сельская учительница» с артистами Д. Сагалом и В. Марецкой в главных ролях. В этом фильме звучал старинный романс со словами, до сей поры очищающими душу:

*Средь шумного бала, случайно
В тревоге мирской суеты
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты...*

Я быстро подружился с небольшой группой студентов, которые по вечерам иногда собирались у студентки Лины Македонской. Это была исключительно способная студентка, привлекавшая добрым нравом и приветливостью. Большие чуть раскосые глаза ее излучали теплый, согревающий свет. Квартира, в которой жила семья Лины (отец, мать и младший брат), помещалась в низеньком убогом флигеле во дворе Спасо-Песковского переулка на Арбате. Скорее всего, когда-то в этом флигеле находилась какая-нибудь ямщицкая или прислужническая местного барского дома. Зимой, бывало, флигель заносило снегом так, что хоть двери откапывай... Но родители Лины сумели превратить эту старую хибару в до-

вольно уютное, гостеприимное помещение. Охотно приходили к Лине «чайку попить» наши же студенты. Помню бывшего фронтовика (с ампутированной правой рукой) Зиновия (Зямку) Черняка – поклонника И. Эренбурга, изумительного подражателя А. Райкина, остролова. Непременным гостем была ближайшая подруга Лины – весьма «головастая» шахматистка Анна (Анька) Лившиц, азербайджанец из Баку темпераментный Чингиз Аскеров и приехавший из-под Тамбова Иван Тюрин. Приходили к Лине и другие, в том числе бывал и я. Политика мало кого из нас интересовала, и хотя иногда в разговорах что-то политическое и проскальзывало, но абсолютно ничего сколько-нибудь определенного, а тем более предосудительного.

Между тем учеба шла своим чередом. Лекции, семинары, комсомольские собрания... До революции в нашем институте находились Высшие женские курсы, и там работали известные в то время профессора и преподаватели. За давностью лет я позабыл имена многих из них. Лучше запомнились старые ученые, по-тихому предпочитавшие историческую фактуру «партийности». Сумели ли они избежать болезненных идеологических передрыг прошлых лет – не знаю. Но А. Дьяков (Древний мир), В.Ф. Семенов (Средние века) в определенной степени А.Л. Нарочницкий (Новая и новейшая история), И.И. Полосин (Древняя Русь, Смута), К. Сивков (История России XIX в.) и др. читали свои лекции спокойно, вдумчиво, не впадали в пропагандистко-эмоциональный экстаз некоторых своих коллег, прошедших партзакалку «Краткого курса истории ВКП(б)».

Существуют свидетельства, что государственный антисемитизм стал проявляться еще в предвоенные годы, а в войну и сразу после нее, под влиянием фашистской пропаганды, расширился. Но тогда до нас, молодых людей, честно сказать, это слабо доходило. Вообще советское студенчество тех лет резко отличалось от дореволюционного. В сущности,

оно было аполитичным. Только после XX съезда КПСС стали возникать студенческие группы и группки еврокоммунистического направления, подвергавшие критике главным образом сталинизм. Однако существенного влияния они не имели, да и не могли иметь. Время было весьма крутое. Но вот в один прекрасный зимний день (в конце января 1949 г.) центральный орган КПСС газета «Правда» напечатала большую редакционную статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». По имеющимся ныне данным, инициатива ее появления принадлежала самому Сталину. Двумя основными авторами являлись А. Фадеев и Д. Заславский. В написании также участвовали мой любимый поэт военных времен К. Симонов, драматург А. Софронов и др. На заключительном этапе по статье опять прошелся Сталин.

В статье, в частности, говорилось: «В театральной критике сложилась антипатриотическая группа последышей буржуазного эстетства, которая проникает в нашу печать и наиболее развязно орудует на страницах “Театр и жизнь”, “Советское искусство”. Эти критики утратили свою ответственность перед народом; являются носителем глубоко отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма; они мешают развитию советской литературы, тормозят ее движение вперед. Им чуждо чувство советской национальной гордости».

Дальше разъяснялось, что критики, входящие в эту группу «безродных космополитов», стремятся «дискредитировать передовые явления нашей литературы» (такие, как пьесы К. Тренева, А. Сулова, Б. Чирского, А. Софронова и др.), обрушиваются на их «патриотические, политически целеустремленные произведения под предлогом художественного несовершенства». А в заключительной части статьи говорилось: «Перед нами не случайные отдельные ошибки, а

система антипатриотических взглядов, наносящих ущерб развитию нашей литературы и искусства, система, которая должна быть разгромлена». Идейный разгром группы «космополитов-антипатриотов» ставился как первоочередная идеологическая задача.

Эта статья напрямую не касалась исторических проблем, а «прошла» по театральной критике. Театралов среди нас не было, но театроведение было не так уж далеко от истории, да и самое выражение «космополиты», «космополитизм», как и определенный подбор фамилий «космополитов», т.е. людей «чуждых народу взглядов», вызывали интерес и беспокойство. В статье преобладали еврейские фамилии: Ю. Юзовский, А. Борщаговский, Я. Варшавский, Е. Холодов (Меерович) и др. Собственно, некоторый душок антисемитизма нет, но и раньше слегка потягивал в научных и учебных заведениях, но его по большей части приписывали «бытовухе», отдельным личностям. Так, у нас в институте еще в 48-м году «отличилась» некая Е. Демешкан (Калапанова). Она работала доцентом кафедры зарубежной литературы и, видимо, как-то уловив некоторые антисемитские веяния, решила «побежать впереди паровоза». В чем суть дела, мы, студенты истфака, подробно не знали, но отзвуки борьбы вокруг Демешкан до нас доходили. Я несколько раз видел ее, слушал лекции. Женщина довольно симпатичная, полноватая, с правильными чертами смугловатого лица, с приятным голосом. Ее антисемитизм, как поговаривали, был «наследственным» – шел от папаши, белогвардейского офицера...

Но на сей раз «демешканизм» ощущался не где-нибудь, а в передовой «Правды». Более того, после этой руководящей и установочной статьи другие газеты открыли концентрированный и мощный огонь по «безродным космополитам». Дала залп «Литературная газета»: «До конца разоблачить антипатриотическую группу театральных критиков». «Культура и

жизнь» тоже шарахнула редакционной статьей: «На чужих позициях. О происках антипатриотической группы театральных критиков». Затем ударили «Известия»: «Безродные космополиты. Об антипатриотической группе театральных критиков». Еще несколько раз выступила «Правда». От «антипатриотической группы» должно было остаться мокрое место... А огонь вот-вот должен был перенестись с «площадки» группы театральных «критиков-антипатриотов» на соседние с нею гуманитарные «площади» побольше и пошире... Нашим идеологическим работникам разного калибра тех времен не надо было даже моргать глазом, чтобы они тут же засучили рукава.

* * *

В заваленном по окна снегом флигельке на Спасо-Песковском мы, собиравшиеся здесь, не обсуждали происшедшее. Никаких обсуждений я не помню.

Только приходивший играть в шахматы соседний парень Венька Бухман, умный и хитрый, шурясь на расставленные на доске шахматные фигуры, говорил как бы сам себе:

– Да, тут могут быть замысловатые ходы... Тут в цугцванг и безнадёжку легко попасть, братцы.

Черняк спрашивал:

– А причем тут шахматы?

Венька еще сильнее шурился на доску, ухмылялся и многозначительно произносил:

– Конечно, шахматы здесь совершенно ни при чем.

Непосланная записка

Зямка Черняк (позднее, в учительстве, – Зиновий Борисович) – мой лучший институтский товарищ. В начале войны он добровольцем вступил в армию, прошел фронт, потерял, как я уже писал, правую руку. Здравовался и писал левой.

Незадолго до ухода Зямки на фронт был репрессирован его отец, инженер. И не вернулся, получив «десять лет без права переписки» (т.е. расстрел).

Зямка с матерью жил на Патриарших прудах, на самом верхнем этаже высокого дома, построенного, наверное, в начале двадцатого века. Тогда в Москве был строительный бум. Мать Зямки я видел несколько раз. Она производила впечатление в высшей степени интеллигентной женщины. Об этом говорили все ее манеры, печальное выражение глаз, будто бы застывшее когда-то раз и навсегда.

Квартира, в которой они жили, была коммунальной. Между прочим, в ней проживал и заместитель генерала Василия Сталина, командовавшего тогда авиацией Московского военного округа. Этот заместитель тоже был генералом по фамилии Василькевич. Почему жизнь этого генерала была столь скромной – непонятно. Не успели еще, видимо, всех больших чинов как следует расселить.

...Обычно на лекциях, проходивших в больших аудиториях (амфитеатрах), мы с Черняком сидели рядом. Но бывало, что мы сидели и поодаль. Так получилось и на сей раз.

Лекцию читал доцент кафедры новой и новейшей истории и одновременно партсекретарь факультета С. Стегарь (о нем – речь впереди). Лекция была посвящена открытию второго фронта в июне 1944 года. Стегарь резко клеймил У. Черчилля.

– Черчилль был главным тормозом в открытии второго фронта, – говорил Стегарь, постепенно повышая голос до гнева.

Затем, после выдержанной паузы, уже со злобой от внутреннего негодования, почти выкрикнул:

– Скажу! И покойный президент (Ф. Рузвельт – Г.И.) себя тут тоже замарал! Больше скажу: сильно замарал!

По поводу этого стегаревского наигранного негодования я решил обменяться мнениями с Черняком. Вынул из офицерской сумки, которая заменяла мне портфель, записную книжку и на чистом листке написал: «Несет Стегарь примитив, а мы, вроде баранов, слушаем. Замарал! Нашел словечко». Записка предназначалась З. Черняку, но послана не была. Не помню, почему. Может быть, раздался звонок на окончание лекции или, скорее всего, кто-то отвлек меня. Сунув записную книжку с невырванным листком обратно в сумку, я вышел из аудитории. В перерывах, как все студенты, сумку свою я с собой не взял. Она осталась лежать в аудитории. Это была большая дурь и ужасный промах.

Наши «космополиты»

*Ш*ел февраль 1949 года. Кампания против «безродных космополитов», взяв быстрый разбег, развернулась, главным образом, в учреждениях гуманитарного профиля. Мы знали, что на кафедральных «кострах» исторических, филологических и иных факультетов уже «жгли» многих «последышей буржуазного эстетства», «иванов, родства не помнящих». Иначе быть не могло. Статья в «Правде» – приказ, не выполнять его невозможно. И наш Фрунзенский райком партии, и партком нашего института обойти его тоже, конечно, не могли.

На нашем истфаке мне запомнились два «космополита». Один из них был В.Г. Юдовский – старый большевик, в годы революции возглавлявший большевиков Румынского фронта и Черноморского флота. Он был уже стар, глаза его закрывали черные очки, и неясно, был ли Юдовский слеп или щадил уже слабеющее зрение. Ему всегда помогали подниматься на лекционную трибуну и сходить с нее. Кажется, он заведовал кафедрой марксизма-ленинизма в МГУ и по совместительству

читал лекции у нас. Я присутствовал на его «проработках». Он стоял на трибуне прямой, седой как лунь, в бежевом костюме, безупречном, как будто только что с иголки. Его обвиняли в принижении русского народа, русской культуры и социалистического строительства, даже в «мракобесии»(!), «в проповеди идеи всечеловеческого единения народов» и т.п. Юдовский почти ничего на обвинения не отвечал, молча стоял на трибуне, и непонятно было, куда и на кого устремлены черные стекла его очков. Ощущалось что-то зловещее, когда кто-то, взяв его, молчащего, под руку, сводил с трибуны и помогал сесть на место в первом ряду аудитории...

Второго «космополита» я знал хорошо. Это была маленькая, миловидная женщина. В другое, мирное идеологическое время, как говорил товарищ Сталин, без «большевистского мордобоя», ее можно было бы ласково назвать «космополиточкой». Миниатюрная, с кукольно-красивым лицом – доцент кафедры истории СССР Софья Львовна Эвенчик. Представляю, как давно привыкшая к мужскому вниманию, она могла быть поражена и потрясена грубым, а порой и просто хамским обращением с ней мужиков с крутыми загривками, когда она подвергалась антикосмополитическим проработкам. Стоя на трибуне, эта красоточка, хлопая длинными ресницами больших черных глаз, в которых появлялись слезы, пыталась что-то лепетать в свое оправдание.

За что ее конкретно прорабатывали, мы знали. Бедная, она не придумала ничего лучшего, чем избрать темой своей научной работы... Кого же? Боже мой! Обер-прокурора Синода, монархиста, злостного реакционера К. Победоносцева! Что могло быть хуже? Боже, кто ее надумил? Советский историк, и на тебе, изучает мировоззрение такого монстра! Как такое могло случиться? Более того и страшнее всего, в своей книжке, кое-как отпечатанной в нескольких десятках экземпляров в институтской типографии, доцент Эвенчик два раза

сослалась на... американского автора монографии о Победоносцеве, а значит, на явного буржуазного фальсификатора! Напрасно Софья Львовна доказывала, что этими ссылками она как раз хотела показать научную порочность американца. Ее не желали слушать...

И все же эта женственная космополитка смогла проявить твердость духа. Однажды она вызвала меня, закрыла двери и тихо, но строго заговорила:

– Вы пишете в моем семинаре тему «Арест Н. Г. Чернышевского». Хочу еще раз предупредить: тема сложная, нужно полностью раскрыть реакционную сущность политики самодержавия. Очень может быть, что писать работу вам придется в нелегких условиях. Сами видите, какая атмосфера у нас на кафедре и в других институтах. Уже в космополиты причислили академика И. Минца, профессоров И. Разгона, Е. Городецкого и других. А ведь они – вернейшие и преданнейшие партии люди... Но ваша работа должна быть сделана точно в срок. Это важно и для вас, и очень важно для меня. Будем считать это своим долгом чести.

Знала ли уже С.Л. Эвенчик о том, что ждало меня?

Антикосмополитический урок

Имя Минца, упомянутого Эвенчик, да и других, хорошо было известно в исторической среде. Знали, что в гражданскую войну он был комиссаром знаменитого конного корпуса Червоного казачества (наподобие буденновского). Потом учился в Институте красной профессуры, работал с М. Горьким, его знал сам Сталин, а после войны он уже считался чуть ли не главным историком революции и гражданской войны. Не приходится удивляться, что этот статус Минца вызывал

немало зависти у его коллег по истфаку МГУ и Академии общественных наук при ЦК КПСС, где он тоже читал лекции. И вот теперь его самого (и всю его «еврейскую команду») записали в... космополиты! Такого космополитического матерого зверя следовало показывать в «клетке» и разоблачать при большом стечении публики! Как казнь Пугачева на Болотной. Примерно так и поступили. Решено было дать Минцу настоящий бой в цековской Академии. Направили туда и нас, чтобы мы, молодые и еще неопытные, на практике учились по-боевому разоблачать идеологических двурушников.

Академия – массивное двухэтажное здание на Садово-Кудринской, неподалеку от Планетария, и напротив домика-музея А.П. Чехова. Сюда направлялись партработники преимущественно среднего звена и, пройдя курс учебы, составляли потом твердый идейный костяк партии. Роль этого костяка заключалась не столько в творческой работе (писании книг, статей и т. д.), сколько в жестком, неослабном контроле за трудами, написанными другими.

Чтобы пояснить сказанное, расскажу, как один из «зубробизонов» – выпускников Академии, прочитав только что изданную книгу молодого историка, мрачно сказал ему:

– Ты написал вредную книгу.

– В чем? – испугался тот.

– А вот хуже всего не то, что ты написал вредную книгу, но то, что не понимаешь, в чем ее вредность!

Но, как любил писать протопоп Аввакум, возвратимся на первое. Поднявшись по мраморной лестнице, усталой ковровой дорожкой, мы зашли в конференц-зал и расселись по креслам. Из сидевших за столом президиума запомнились своей напористостью и разгневанностью двое – доктор исторических наук МГУ А. Сидоров и доцент Академии общественных наук, некий Дацюк. Сидоров – длинный человек с дынеобразной лысой головой и мрачноватым лицом. Он уже

тогда был известен как крупный историк начала XX века и, возможно, считал, что не Минц, а он, Сидоров, должен стоять во главе исследований центральной в то время проблематики: предпосылок Октябрьской революции и ее истории. Впоследствии он стал директором Института истории СССР АН СССР, возглавил целую школу, в которой было много действительно талантливых учеников. Минца Сидоров терпеть не мог, а тот отвечал ему тем же (как я узнал об этом позднее).

Так что нападение Сидорова на Минца все же имело хоть какую-то почву. А вот с Дацюка, по-моему, просто сняли ошейник, зная, что этот с готовностью вгрызется в любую еврейскую глотку. На трибуну пригласили Минца. Пока он шел между рядами, я не переставал поражаться: и вот этот маленький, горбоносый еврей, со ртом, где вместо губ был какой-то узкий разрез, он-то и был тем человеком – комиссаром, командиром, который мог вести целую конную лаву против белогвардейцев или махновцев?! Чудеса!

Основное обвинение против Минца коренилось в приставке «недо». Он, оказывается, «недостаточно раскрывал» и «недостаточно оценивал», «недостаточно обобщал», «недостаточно доводил до конца», «недостаточно показывал», «недостаточно анализировал» и еще много чего «недо». Что на это можно было отвечать? А он все же как-то ухитрялся отвечать и даже признавать некоторые обвинения, его не слушали, перебивали репликами из президиума и зала. Я сидел близко и хорошо видел, как мелко дрожали пальцы его рук, вцепившихся в край трибуны. Когда он сходил с нее, ногой осторожно щупал пол, видно, боясь оступиться, качнуться.

Когда мы уходили, Черняк сказал мне:

– Ведь вот как! Кавалерийских атак не боялся, но от атаки нескольких партчиновников чуть кальсоны не замарал.

Я думал тогда, что это моя последняя встреча с академиком. Но ошибся. Пройдет пятнадцать-двадцать лет, и он

из «космополита» обернется Героем социалистического труда, лауреатом Ленинской премии, а я – мелкий «космополитенок» – стану редактором его основополагающего труда: «трехкирпичной» «Истории Великого Октября». Неисповедимы пути Господни. «Время разбрасывать камни и время собирать камни».

Стегарь и Круть

Но это будет потом... А пока я иду в Ленинскую аудиторию на лекцию упоминавшегося доцента С. Стегаря. Это был вполне представительный мужчина средних лет. Густой зачес черных волос с проседью. Зеленовато-голубые глаза. Держится самоуверенно, не делая различий между своими бывшими солдатами и нынешними студентами. Он – бывший военный, майор-политработник. Своим обычно резким напряженным голосом на сей раз он вещал о патриотизме как главном нашем идеологическом оружии в холодной войне, о том, что буржуазные идеологи стремятся подорвать именно наше единство, наш патриотизм, а это значит, что антипатриоты, космополиты – это их основные союзники, их соратники. И надо иметь в виду, что свои взгляды они стремятся внедрить в молодежные, студенческие круги.

Голос Стегаря взял тут высокую, вибрирующую ноту, и я понял, что сейчас последует что-то особо важное. Так и произошло.

– Я вам сейчас назову одного нашего студента, за которым стоят и некоторые другие. Вы хорошо знаете этого студента... Вот я сейчас зачитаю текст, который он написал, и вы поймете, что среди нас есть чужаки. Послушайте.

Он вытянул руку в ту сторону, где я сидел, и все, как по команде, повернули головы, следя за его рукой. Повернулся и я, и в тот же момент почувствовал, понял, что эта рука указывает именно на меня! А Стегарь уже читал ту самую записку,

которую я когда-то так и не отправил Черняку и о которой просто забыл. Как она могла попасть в руки Стегаря?! Меня пронзил страх. Он стал меньше, когда раздался звонок на окончание лекции. Я бросился к Стегарю. Он шагал широко, не оглядываясь на меня, и дойдя до двери парткома, бросил на ходу:

– Зайдешь завтра сюда.

Я шел пешком по Большой Пироговской, через Zubовскую площадь, по бульварам, и думал об этой треклятой записке. Как все-таки она оказалась у Стегаря? Постепенно картинка прояснялась. Записку, написанную в блокноте, я сунул в сумку, оставил ее в аудитории и вышел. Значит, кто-то вынул блокнот, прочитал записку и передал ее в партком. Кто это мог быть? Только тот, кто сидел рядом со мной или за мной и видел то, что я писал. И я вспомнил: это были студенты Климов и Сидоров – два приятеля!

Меня терзала мысль: рассказать отцу о том, что произошло, или промолчать? Отец был мягким, тихим человеком, добрым и уважаемым. Что он сможет возразить тому же Стегарю – «бронбойному ученому», к тому же партийному бонзе?

Но не рассказать отцу о том, во что я влип, я не мог. Поехал на Грузинский Вал, где он работал еще с двумя мастерами. С одним из них – по имени Хаим – у меня всегда происходил одинаковый разговор:

– Шамать будешь ?

– Нет.

– А выпьешь? Есть мировая закуска.

Он и теперь произнес свою фирменную фразу, но я ничего не ответил. Мы вышли с отцом на людную улицу, и я рассказал о случившемся. Реакция его была неожиданной.

– Болван! – зло сказал он. – Дурак! Никто не проявил такой дурости, только ты. Если бы я знал, что ты такой идиот, я

не послал бы тебя учиться. И сколько сил это стоило! Никто из студентов не писал таких дурацких записок о профессоре, кроме тебя. Кто ты и кто он? Ты понимаешь, в какое время мы живем? Ты знаешь, чем это может кончиться для тебя?

На другой день мы пошли с ним в институт. В обширной комнате парткома сидели Стегарь и его заместитель В. Круть – доцент кафедры истории СССР. Он что-то писал и не оторвался от своей бумаги, когда мы вошли.

– Вот, – сказал ему Стегарь, – явился. С отцом. Поговори с ними.

Круть поднял голову. Черты лица его были довольно правильными, в молодости он, наверное, был красивым хлопцем. Сурово посмотрев на нас, он начал с места в карьер, обратившись прямо к отцу:

– Вы хорошо знаете, кто таков ваш сын?

И не дав ему проронить ни слова, продолжал скороговоркой:

– Он возглавляет буржуазно-националистическую группу у нас на историческом факультете! Вы понимаете, что это значит?

Я взглянул на отца. Побледнев, он сказал:

– Товарищ партийный секретарь, уверяю вас, то, что вы сказали, быть не может! Тут недоразумение, ошибка. Какая же буржуазная группа? Я с одиннадцати лет рабочий. Как я мог учить сына чему-то буржуазно-антипатриотическому? Я, по правде, не очень-то понимаю, что это такое. Другое дело – вот эта его дурацкая записка. Но это мальчишество, хулиганство... И я прошу прощения за него и за себя. Да и он сам все понял, простите парня...

Голова у Крутя мелко-мелко затряслась, скороговорка стала превращаться в захлебывание:

– Не сваливайте все на записку. Записка – совсем другой вопрос. Разберем и его. Но главное – группа буржуазных националистов, космополитов, во главе которой ваш сын!

Группа систематически собиралась в доме студентки Македонской на Арбате. А вы знаете, какая сейчас идет борьба с космополитизмом?

Я совершенно забыл, чем кончился наш разговор и как мы ушли из института. Ушло из памяти...

Через несколько дней у нас на курсе устроили какой-то вечер. Я не хотел идти, но мои друзья из «буржуазно-националистической организации» – все, как один, считали, что мне надо пойти. И я пошел. Студенты, как водится, принесли с собой водки и вина. Я стоял у колонны в зале, когда увидел, что ко мне направляется Женька Дементьев – бывший морячок. Он всегда носил тельняшку, надевал ее даже под цивильный пиджак. Дементьев принадлежал к довольно большой группе фронтовиков нашего факультета. Позднее многих участников войны в нашей литературе изображали чуть ли не декабристами. Побывав на Западе и сравнив жизнь там с жизнью в нашей стране, многие якобы вернулись на родину чуть ли не антисталинистами, во всяком случае, отнюдь не сторонниками советской власти. То, что видел я, не соответствует этому. Напротив, нашим институтским студентам-фронтовикам был свойствен карьеризм, они стремились быть поближе к институтскому начальству, чтобы попасть в комсомольские, профсоюзные и партийные органы, вообще занять руководящие места. Они и занимали их. Что ж, у них было гораздо более широкое и практическое видение жизни, чем у студентов – вчерашних школьников. И в институте именно большая их часть была надежной опорой идеологических «проработок».

Дементьев шел, покачиваясь, держа в руках бутылку и стаканы. Подойдя, хлопнул меня по плечу и уже пьяным языком произнес:

– Абраша, выпьем?

– Выпьем, Ванюша, – ответил я.

– Меня зовут Евгений, а не Ванюша, – буркнул он.
– А я не Абраша.
– Ха! Я-то думал, что вы все Абраши.
– Смотри-ка, – ответил я, – какое совпадение. Я-то считал вас всех Ванюшами.
– Пусть так! – крикнул Женька. – Так выпьем?
– Нет!
Он разозлился. Подошедшим к нам сказал:
– Вот салага!! Я на торпедном катере воевал, два раза тонул, а этот пи... со мной выпить брезгует!
Он ухватил меня за лацкан пиджака. Но наш курсовой комсомольский секретарь – авторитетный и доброжелательный Борис Бурятов – оттащил его. Я слышал, как, уходя, тот бормотал:
– Ну, да. Они теперь не Абраши. Теперь они, Боря, космополиты...

Разговор в пивном ларьке

Между тем началась цепь комсомольских собраний, на которых меня «полоскали» во всех нечистых водах. Все четче вырисовывался мой образ как главаря чуть ли не сионистской группировки. Дело могло обернуться и самым худшим. Я начал замечать, что некоторые мои друзья по Спасо-Песковскому переулку стали сторониться меня. Что было делать? В выходной день я поехал к Андрею Захаровичу Дмитриеву. Напомню, что он был мужем двоюродной сестры моего отца, Веры, – женщины, милее и добрее которой я не встречал. Оба они почти всю жизнь проработали в финансовой системе – последние годы в Мосгорфинуправлении, а жили в старом деревянном домишке на Палихе. Андрей Захарович все чинов-

ничьи входы и выходы знал, как свои пять пальцев. В отношениях со мной у него существовал «алгоритм»: когда я являлся на Палиху, он вел меня в пивную палатку – «деревяшку». Наша «деревяшка» находилась совсем рядом, и продавщица хорошо знала нас. «Норму?» – спрашивала она у Андрея Захаровича, когда мы входили. И наливала в стакан сто пятьдесят граммов коньяка, добавляя к этому конфетку «Ромашка» для закуски. Когда я выпивал «норму» и съедал свою «Ромашку», Андрей Захарович спрашивал: «Ну?» И я рассказывал, за чем явился. Но на сей раз Андрей Захарович, видимо, уже что-то знал и задал другой вопрос:

– Выходит, попал ты обеими ногами в г...?

Я сбивчиво рассказал ему, что со мной произошло:

– Попал в антипатриоты, буржуазные идеологи, космополиты.

В голове у меня шумело, все казалось легким, простым, совсем не страшным, даже немного веселым.

– Значит, я теперь космополит. Но не я один. Есть еще... Все это, говорят, антисемиты придумали...

– Антисемиты? Ты что? У нас нет государственного антисемитизма. Нет и быть не может. По определению, запомни это! Но если уж он все-таки вдруг потребуется по соображениям высокой политики, ему будет дано другое название. Псевдоним. Сейчас он окрещен космополитизмом. И попробуй кто-нибудь скажи, что от космополитизма воняет антисемитизмом, по головке за такое не поглядят. Но какой-нибудь дурак наверняка и здесь найдется. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Я вот слышал, будто один профессор, выступая, ляпнул: «Космополитизм, космополитизм... Непонятное какое-то слово. А нет, чтобы сказать просто: разные мойши и хаймы занимают наши места и отдавать не желают. Гнать их!». И что же? Выгнали-то этого профессора. С треском. Потому что идиот: компрометирует партийную линию

на укрепление патриотизма, борьбу с буржуазным влиянием. И у вас такой мудака обязательно найдется. Тут твой шанс, если на каком-нибудь сборище прямо скажешь: а вы, братцы, – антисемиты! Заткнутся...

Я шел домой неуверенной походкой, но с твердыми мыслями: ну, теперь-то я их там всех прихлопну, как комаров. Кто-нибудь из бравых комсомольцев обязательно проговорится, ляпнет про «жидов». Но и Андрей Захарович, и я ошиблись.

На очередном комсомольском собрании было решено: из комсомола меня исключить и просить ректорат об отчислении из института с формулировкой «за протаскивание буржуазной и националистической идеологии». Это означало, что над моей головой ни много, ни мало заносился топор. Следственные органы, тюрьма? Но я был молод, и мне представлялось это невероятным. Страх отсутствовал.

Я поехал к своему школьному другу Виталию Свинцову на Сокол. Мы купили водки, какой-то закуски. Дома у него никого не было. Он клялся, что явится на следующее собрание и будет меня защищать, разнеся все в пух и прах. Я доказывал ему, что этого делать не надо: будет хуже и мне, и ему: он был студентом философского факультета МГУ. Решили, чтобы я на некоторое время исчез.

Бывшее становится небывшим

Врач выписал мне освобождение от учебы: я действительно плохо себя чувствовал. Но куда ехать? Моя сестра Леля в 1948 году закончила институт им. Менделеева, и ее распределили под г. Рыбинск, на фарфоровый завод. В двадцать два года она, кроткая, неопытная, уехала из дома и поселилась в селе Песчаном. Я поехал к сестричке. За плечами – мешок с продуктами и подарками. До Рыбинска недалеко. С вокзала дошел до автобусной станции. Был уже март, и на широкой площади

снег местами превратился в грязь, смешанную с соломой и сеном. Повсюду возчики стояли рядом с потрепанными автобусами и грузовиками.

– До Песчаного который? – спросил я какого-то мужика.

– Да вон он уже отходит, – ответил он.

Действительно, на дорогу выруливал старый, дребезжащий автобус. Прицепленное позади ржавеющее и помятое ведро, болтаясь, стучалось о какие-то железки, издавая глу-



хой звук. Я побежал вдогонку. Двери были еще открыты, и чьи-то руки помогли мне забраться внутрь.

Сестричка моя «стояла на квартире» у старой женщины, дочь которой работала тут же на фабрике. Дом был деревенский, с большой печью, с полатыми. Бабуля, внимательно оглядев меня, спросила:

– Вот сестрицу твою мы знаем. Она инженером у нас. А ты кто будешь?

– Я космополит.

Моя сестра Лёля, 50-е гг.

– Это что ж такое?

– Ну, значит, космы палю.

– Будя ерунду плести.

Пока сестра была на работе в своей лаборатории, я бродил по окрестностям, а по вечерам, когда она приходила, мы

залезали на свои кровати и предавались воспоминаниям о детстве, войне, эвакуации и других событиях. Потом я ложился спать, а Леля – она была великая читательница – в своей любимой позе, скрестив ноги по-турецки, читала какую-нибудь книгу из заводской библиотеки. Так прошла неделя. И снова старенький автобус с подвешенным сзади помятым ведром увозил меня. Только уже в обратный путь, в Москву, в круговорот буржуазной идеологии, национализма, космополитизма, обвинений, угроз и еще черт-те чего.

Все быстрее и быстрее убегала назад снежная дорога. Вот за дальним поворотом она и скрыла мою единственную сестричку...

В Песчаном я передохнул, а в Москве, пока райком комсомола не утвердил окончательно мой приговор, я должен был являться в институт. Мне рассказывали, что в мое отсутствие за меня во всех институтских инстанциях хлопотали добрые люди: доцент кафедры средних веков А.А. Кириллова, доцент кафедры методики истории П.В. Гора, студент-фронтник, член партбюро курса Борис Бурятов. Их я никогда не забуду...

Но большинство, я это заметил, старались меня обходить, даже члены моей «буржуазно-националистической группы» со «штабом» в Спасо-Песковском все более и более отдалялись от меня. Они боялись. И, скорее всего, родители говорили им: «Держитесь от “этого” подальше».

И вдруг... Не помню точно, когда, но это случилось в марте: в коридоре первого этажа, возле комнаты институтского комитета комсомола, меня вдруг остановил секретарь институтского комитета комсомола Николай Агафонов. Он

тоже был фронтовиком, мрачноватым на вид, обычно молчаливым. Его скуластое красноватое лицо выдавало в нем представителя одного из поволжских народов. Я немного побаивался его и всегда старался пореже встречаться.

– А я тебя вызывал. Зайдем-ка в комитет, – сказал он, открывая двери ключом. Сел за стол, не предложив сесть и мне. Спросил:

– Тебе когда в райком для решения твоего вопроса?

Я назвал дату. Он взглянул на меня из-под нахмуренных бровей и сказал:

– Не ходи.

– Переносится дата, что ли? – удивился я.

– Нет. Не ходи вообще. Твой вопрос совсем снят. Можешь идти на лекцию.

– Как?!

– Так. Снят, и все. Никому ничего не болтай. Вообще поменьше трепись. Ты уже натрепался. Разговор окончен. Можешь идти.

– Выходит, ничего и не было? Космополитизма, низкопоклонства, национализма?.. Бред какой-то...

– Я тебе сказал: свободен, иди!

Но я не пошел на лекцию. Вышел на Большую Пироговскую и медленно побрел в сторону Ново-Девичьего монастыря. Над Москвой падал редкий пушистый снег. Я собирал его со стоявших автомашин и прикладывал к щекам: они пылали...

Машинально сел в троллейбус, доехал до Кузнецкого моста, поднялся на второй этаж старинного здания, вызвал в темноватый коридор Андрея Захаровича, сказал ему:

– Все! Дело кончено, финита!

Я видел, как он встревожился, даже испугался:

– Выгнали?

– Все наоборот, Андрей Захарович! Ничего нет и даже не было!

Рассказал ему о разговоре с Агафоновым, о том, как все произошло. Он сперва не поверил, потом сказал:

– Значит, наверну кто-то остановил эту заваруху. Либо осилили те, кто с самого начала были против нее, либо вообще посчитали, что зашли слишком далеко, и дальше – политически опасно. Думаю, «стоп» сказал сам Сталин. Он начал, он и остановил. Больше некому. А ты – счастливчик. Сперва накрыла тебя волна, а потом она же выбросила тебя, как щепку, на сушу. Надо выпить по стопарю за такое дело. Езжай домой, расскажи родителям.

Слушая мой рассказ, дома плакали.

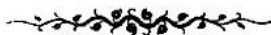
...Весной по предложению Бориса Бурятова я уехал пионервожатым в Тарасовку. Там окончательно замаливал свой космополитический грех. Вернулись в институт к концу лета. Я сдавал государственные экзамены со своими однокурсниками. Кто-то из членов комиссии – прихлебателей Крутя – пытался напоследок «сбить» меня с возможности получить диплом с отличием.

– Назови всех членов политбюро в том порядке, как их портреты несут на демонстрациях, – потребовал он.

Отвечая, я допускал путаницу. Мой диплом с отличием повисал в воздухе. Экзаменационная комиссия попросила меня выйти. И в ней, видимо, нашлись преподаватели, которые посчитали, что придирки подобного рода – это уже слишком... Свой «красный диплом» я все же получил...

И прошло почти два года. Я уже работал в Кологривском педучилище Костромской области. Однажды, пролистывая в библиотеке училища «Правду», я обратил внимание на фельетон Семена Нариньяни. Его фельетоны в то время были практически официальными и, как правило, разоблачительными. Вчитался, и... Боже мой! На сей раз – знакомые имена: Стегарь, Круть, их пришепник из деканата – некий Оганян, моложавый человек с ласковым выражением лица и печальными выпуклыми глазами. Где и что они натворили, теперь уже не помню, во всяком случае, ничего общего не имеющее ни с патриотизмом, ни с космополитизмом, ни с идеологией. Так, обычное мошенничество. На этом и была поставлена точка.

**ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
В КОЛОГРИВ**



Красный диплом

Нынешние студенты, наверное, и не очень представляют себе, что такое «распределение». А в советские времена это слово означало, так сказать, последнюю черту, подводившую итог под золотыми студенческими годами. Государственная комиссия определяла для вас будущее место работы. На целых три года! Три года вы обязаны были отработать там, куда страна, давшая вам бесплатное образование, направит вас. Но мало кому, особенно, конечно, нам, москвичам, хотелось уезжать из Москвы, покидать родной дом, друзей, все знакомое и близкое с детских или юных лет. Это теперь, спустя более чем полвека, можно говорить о «распределении» спокойно, даже с некоторым юмором. А тогда многие воспринимали его чуть ли не как бедствие, слом жизни. Не до юмора было...

«Распределялись» по-разному. Бодро и весело чувствовали себя счастливики, оставляемые в аспирантуре. Солидно, серьезно выглядели студенты – бывшие фронтовики, большинство из которых получали назначения «закрытого типа»: в партийные органы, МГБ, министерство иностранных дел и т.п.

Некоторые, не попавшие в аспирантуру или по возрасту не ставшие фронтовиками, искали свои пути, чтобы уклониться от распределения и остаться в Москве. В ход шли разного рода медицинские справки о собственных недугах, о болезнях родителей. При наличии хороших связей документы такого рода можно было достать. Не все они, конечно, принимались во внимание, но при определенной настойчивости, а лучше – изворотливости, обладатели такого рода бумаг не мытьем, так катаньем достигали цели.

Я не попал ни в первую, ни во вторую, ни в третью группы. Хотя я и получил «красный диплом» (т.е. диплом, в котором красными буквами было написано: «с отличием»), об аспирантуре мечтать не приходилось после того, как на четвертом

курсе меня исключили из комсомола и я ждал исключения из института за «проявление буржуазной идеологии».

Тогда шла кампания «борьбы с космополитизмом», вылившаяся у нас на истфаке, как и везде, в травлю некоторых преподавателей, главным образом еврейской национальности. Борьба с космополитизмом была, как бы теперь сказали, массовой зачисткой идеологических институтов и учреждений от «еврейского перебора», а заодно – устрашением прозападно настроенной части советской интеллигенции.

На местах же все это нередко выливалось в схватку за кресла, подогреваемую чувствами недоброжелательности, скрытого антисемитизма. Когда это мелкое политиканство явно перевесило «большую политику», на верхах, возможно, посчитали, что кампанию надо сворачивать. И она закончилась так же внезапно, как и началась. В комсомоле меня быстро восстановили, исключение из института не состоялось. Впрочем, относительно скоро «борьба с космополитизмом» продолжится в гораздо худших формах. Но «космополитический грех» не прошел мне даром. При распределении его не забыли.

К фронтовикам я тоже не принадлежал по возрасту. Блата не было никакого. Меня распределили в распоряжение Костромского отдела народного образования (ОБЛОНО).

В ОБЛОНО

И вот в августе 1950 года я приехал в старинную Кострому. Окажись я там при других обстоятельствах, может, побродил бы по городу, осмотрел бы его достопримечательности, его красоты. Но теперь настроения не было. Думалось об одном: как использовать последний шанс и убедить ОБЛОНО отпустить меня на все четыре стороны.

Меня провели к заместителю заведующего отделом. Он сидел за столом, просматривая бумаги и дымя «Беломором». Посмотрев мое направление, весело сказал:

– Это хорошо, что нам хлопца прислали. С девахами труднее, а наше педагогическое дело мужиков требует. Мы вас знаете, куда пошлем? Нет, не в школу, берите выше: в педагогическое училище, будете учителей готовить для начальных школ! Доверие тебе оказываем...

Я тупо молчал.

– Недоволен, что ли? – спросил он.

Сбиваясь и краснея, я стал говорить ему, что мне педагогическая работа трудна, так как у меня дефект речи, и ученикам будет тоже трудно меня слушать. Он перебил:

– Это какой такой дефект? Вот вы же говорите, и все ясно. Что за дефект?

– Заикание с детства, особенно при волнении.

Он опять перебил:

– А я вот тебе такую историю расскажу. У нас в институте, когда я учился, профессор был, историк. Картавил – ужас как! И заикался. Особенно буквы «а» и «т» ну никак у него не выговаривались, а мы знаешь, как его слушали? Только его лекций и ждали... Потому что он такое нам рассказывал, что мы и слыхом не слыхали. Отсюда вывод: если у тебя как у преподавателя форма хромает, дай такое содержание, чтобы все рты раскрыли. Дашь – раскроют... Нет, мы вам вольную не дадим. Направляем тебя в педучилище, в Кологрив. Слыхал про такой город? Районный центр, река Унжа, кругом леса. А соседний район – Сусанинский. По имени Ивана Сусанина. Он как раз из тех мест. Герой, патриот. Завел польских захватчиков в непроходимые места: родину спас. Вам как историку – лучшего места не найти. Займешься там краеведением – такого пооткрываешь! Уезжать потом не захочешь. Прямо от нас поедешь или еще в Москву вернешься? От Костромы всего-то триста километров.

– Вернусь еще: вещи надо взять.

– Дело! – сказал он. – Забирайте вещички и двигайте. Из Москвы ехать до станции Мантурово, а оттуда вас автобус подбросит.

Он поднялся, протянул мне руку:

– Там, в Кологриве, директор – Репин Александр Александрович. Умный мужик, держись его. Ну, счастливо тебе!

Я вышел из ОБЛЮНО, совершенно не ощущая той душевной мрачности, с которой входил в него.

Ректор

Мне надо было не только «собрать вещички». С института еще причитались «подъемные» – деньги на проездной билет и некоторые другие расходы, связанные с распределением. Не помню почему, но эти совсем небольшие деньги мне никак не удавалось получить. В институтской бухгалтерии меня футболили от одного человека к другому, просили зайти через недельку-другую. Помочь взялась моя «душеспасительница», доцент кафедры истории средних веков А.А. Кириллова. У нее я написал курсовую работу «Ян Гус и Мартин Лютер», и она уверовала в меня.

В крутые «космополитические» дни, когда я стал героем суровых проработок за свои якобы буржуазные взгляды и вот-вот должен был вылететь из института, фактически она одна и поддерживала меня. Теперь она пообещала поговорить с новым ректором Д.А. Поликарповым, чтобы, наконец, прекратить это безобразие по отношению к студенту, уезжавшему по распределению. За Поликарповым уже тогда тянулась молва «гонителя космополитов». В ЦК он был правой рукой знаменитого Г.Ф. Александрова, академика-философа, в конце 40-х годов изгнанного из ЦК за допущенные им

ошибки в философии, а позднее, вроде бы в 1954 году, уже в ранге министра культуры проколовшегося на «аморалке» – довольно редком в советские времена деле. В конце войны Поликарпов был секретарем Союза писателей, в котором тоже проводил, как бы теперь сказали, зачистки национального характера.

Казалось бы, Александра Андреевна Кириллова, святая душа, не могла иметь ничего общего с такого рода человеком, но нет. Уже в Кологриве я получил от нее письмо, в котором она жаловалась, что даже такому честному и принципиальному человеку, как Дмитрий Алексеевич Поликарпов, не удается покончить с «беспорядками в институте, и у него, усталого, опускаются руки».

Был ли Поликарпов тогда, в дни моего отъезда, уже ректором, или пока лишь исполнял обязанности, не помню. Но на просьбу А.А. Кирилловой он дал ответ:

– Пусть прямо ко мне зайдет.

Ректорский кабинет показался мне огромным, но каким-то темным. Лишь на столе у Поликарпова горел свет. Когда я вошел, он поднял большую, тяжелую голову с крупными, резкими чертами лица и отрывисто спросил:

– Фамилия?

Не приглашая меня подойти поближе к столу, поднял трубку одного из стоявших на приставном столике телефонов и, дождавшись ответа, устало и безразлично заговорил:

– Бухгалтерия? Тут у меня студент, которому следуют «подъемные». Он к вам зайдет, выдайте ему. Пусть забирает свои манатки и уезжает.

Положил трубку и сказал мне:

– Идите в бухгалтерию, прямо сейчас.

На Ярославском вокзале меня провожали все те, кто «стоял» в нашей «буржуазно-националистической» организации, возникшей по мановению институтского начальства и

исчезнувшей также по его мановению, когда борьба с «космополитизмом» была прекращена сверху. Они, после разных хождений и хлопот (своих и родительских), распределению не подверглись, нашли себе работу в школах Москвы. Теперь же провожали в неведомый Кологрив своего «главаря» и всячески стремились взбодрить его унылый дух. Они коллективно преподнесли мне на память книгу Джека Лондона «Мартин Иден», образ главного героя которой должен был укреплять мою волю и веру в достижение высокой цели. Странно, что они забыли о печальном конце Мартина Идена. Но книгу я увез с собой.

Мантурово и Никольское

В кармане у меня лежало рекомендательное письмо к некоему Гордону, служившему в Мантурове по судебной части – то ли адвокатом, то ли прокурором. Это письмо дал моему отцу его знакомый, кажется, дядя Гордона. Его племянник, как он сообщил, тоже был распределен, но только годом раньше меня и как раз в Мантурово. Он якобы мог при случае оказать мне содействие.

Ехал я в общем вагоне поезда, шедшего на Дальний Восток. В Мантурове остановка – две или три минуты. Дальше – узловая станция Шарья. Проводник даже не спустил из тамбура лесенку: я спрыгнул на землю, и он кинул мне вниз чемоданы.

Хмурое, серое утро. Только что кончился дождь, и одноэтажное старинное здание станции показалось мне нахохлившимся. Не заходя в помещение, я побрел в поселок искать «спасительного» Гордона. Здание, кажется, суда являло собой небольшой деревянный дом с крыльцом и перилами. Сидевшая в комнате тетка сказала, что сейчас Гордона нет, а когда будет – неизвестно, но «обещался быть».

Я остался ждать на крыльце. Гордон явился не скоро. Это был рослый, полноватый человек лет тридцати, в ватнике и резиновых сапогах. Он прочитал письмо, сказал, что хотя пару раз и бывал в Кологриве, но ни с кем там близко не знаком, так что не знает, чем, собственно, может мне помочь.

– Но городок хороший, – сказал он, – не то, что здесь – грязища по уши, – и показал на свои резиновые сапоги.

У Гордона был вид человека, который только и думает, что об одном: как вытащить свои сапоги из мантуровской грязи раз и навсегда. Единственное, чем он мне помог, – объяснил, что автобус на Кологрив отходит ранним утром от станции. Иногда, правда, он не приходит, но часто от станции идут попутные машины.

– Так что советую зайти в столовую, поесть там, да и возвращаться на станцию. Лучше быть там: вдруг какая-нибудь машина подвернется.

Я так и сделал. Вернулся на станцию, когда уже стало темно. Внутри стоял специфический железнодорожный запах: смесь мазута и затхлости. Под потолком слабо горела лампочка. На деревянных диванах и прямо на полу лежали и сидели человек десять. Я присел на край одного из диванов, гася охватившее чувство одиночества и тоски. Лежавший на скамье мужик приподнялся, поглядел на меня с некоторым удивлением.

– С московским приехал? В Мантурово, что ли, работать?

– Нет, мне в Кологрив, в педучилище. Далеко отсюда?

– Кологрив-то? – усмехнулся мужик. – А он, как Буй да Кадуй. Черт их два месяца искал – не нашел. Километров девяносто будет, может, меньше немного. Утром должен быть автобус, тут его вон тоже ждут. Доедешь, ничего. Дорога красивая, лесом. Грязюка только...

Ранним утром пришел автобус. Он был старый, доверенный, да и маленький. Вроде «Антилопы-гну» Адама Козлевича из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, упомянувших, кстати, в «Двенадцати стульях» Кологрив. Там есть строки, когда Ипполит Матвеевич Воробьянинов является в дворницкую, и бывший его дворник в изумлении кричит: «Барин! Приехали! Из Парижа!». И когда Воробьянинов это отрицает, находящийся в дворницкой Бендер «подсказывает»: «Ну да, конечно, вы не из Парижа. Вы приехали из Кологрива!».

«Антилопа-гну» везла нас до Кологрива почти шесть часов. Местами размытый проселок не позволял держать скорость больше 20-ти – 25-ти км в час. Часто останавливались у придорожных сел, забирая еще два-три ждавших автобуса человека. Долго стояли на берегу реки Унжа: паром только что ушел. Когда он приплыл назад, медленно загружались: наш автобус, пара машин, телеги, люди. Поплыли на другой берег тоже медленно: два паромщика в брезентовых плащах и рукавицах двигали его, перебирая руками железный трос.

Съехав с парома, опять почему-то долго стояли. На полпути – большое село Никольское. В широком заезде дворе запряженные в телеги лошади жевали сено, вздергивая иногда головами, от чего позвякивала сбруя. Бродили куры. Извозчики и шофера нескольких стоявших во дворе грузовиков сидели у дома на завалинке, дымя самокрутками и папиросами.

В Никольском мне пришлось побывать еще несколько раз, в том числе зимой, когда я ехал из Кологрива в Москву на зимние каникулы.

Зимой метели делали дорогу непроходимой для автобуса и машин. Можно было проехать только на лошади, в санях. Трудная дорога. Но тяга домой была так велика, что я не колебался. Понурая, однако вполне крепкая лошаденка, сани,

уложенные сеном и напоминавшие те, в которых везут божарню Морозову на картине Сурикова, коренастый мужик в валенках и тулупе. Мне тоже кидает тулуп:

– Накинь – замерзнешь!

Вот и тронулись. Не спеша бежит лошадка снежной дорогой, все больше лесом. Вдруг вой где-то далеко-далеко. Волки!..

Уже в сумерках добираемся до Никольского, там привал: лошадь кормить и самим отдыхать. Внутри «гостиницы» полутемно. Кто-то храпит на полатах. Внизу, за большим столом, выпивают и закусывают. Журчит хриловато разговор. Тепло, и с дороги разбирает дремота. Лезем на полати: там есть места. Пахнет сыромятной кожей, махрой.

В полусне мне кажется, что перевернулось время, и мы – где-то в старине, в эпохе Ивана Грозного, какой она рисуется нам, живущим в двадцатом веке. Подобное ощущение я помню в детстве. Вот мы с отцом на пустынной Красной площади. Часовые в шинелях и буденовках у Спасских ворот. А над Кремлем, в тишине – вороний грай, он разрывает завесу времени, и мне кажется, что мы в глубине далекого, далекого прошлого. То же ощущение – в затерявшемся в костромских лесах Никольском...

Но я опередил события. Неожиданно разбухшая проселочная дорога кончается, и наша «Антилопа-гну» взбирается на песчаное взгорье. Видно, что недавно прошел дождь, но грунт уже забрал всю воду, и кругом – влажный тяжелый песок. Дорога пошла под покатый уклон, и вот он – славный горд Кологрив!

Педучилище и Бочин

*П*озже я узнаю, что в XVII – первой половине XVIII веков было здесь село Архангельское, а при Екатерине II уже стоял городок Кологрив: так в старину будто бы называли коней с густой гривой. А мне казалось, что когда с берега Унжи смотришь на окружающие леса, они выглядят как густая конская грива. Вот потому и Кологрив: место около грив.



Дома как в больших селах: одноэтажные, но есть и двухэтажные. В них – районные учреждения, управленческие и производственные: райпотребсоюз, заготскот, леспромхоз. Вот скатились вниз на главную, центральную площадь. Остановились у выкрашенной в зеленый цвет двухэтажной «деревяшки». Внизу вывеска – «Столовая». Две машины, несколько вozов, бродят мужики, все после дождя еще в длинных брезентовых плащах с капюшонами. Через дорогу – небольшой скверик с обязательным бюстом Ленина.

В этой столовой, а вернее – в «боковушке», мне доведется бывать не раз. «Боковушкой» называли отдельную комнату в

столовой, где местное начальство могло «загулять», не опасаясь лишних глаз местного простонародья, выпивавшего и закусывавшего в «общей зале». «Боковушки» в те времена были широко распространены по городам и весям.

Я переночевал в Доме для приезжих и наутро пошел в училище. По масштабам Кологрива, это было большое двухэтажное здание. Первый этаж – кирпичный, второй – деревянный. С тыла к нему примыкала целая роща старинных лиственных и хвойных деревьев. Поднявшись по скрипучим ступеням на второй этаж, я постучался в кабинет директора. Им был, как упоминалось ранее, Александр Александрович Репин.

Небольшого, даже маленького роста человек в офицерском кителе и галифе военного времени. Редкие, приглаженные волосы, какое-то заостренное лицо, внимательный, любопытный взгляд. Только мы начали разговор, как дверь в кабинет приоткрылась и всунулась большая белобрысая голова. Всунулась и, завидев постороннего, исчезла.

– погоди, погоди, Борис Дмитриевич! – крикнул Репин, слегка окая. – Зайди! Ты нужен будешь...

Дверь снова отворилась, и вошел крупный, тяжелый человек в поношенном спортивном костюме. Лицо его украшали нос-картошка и маленькие хитренькие глаза.

– Вот к нам новый преподаватель по истории приехал, – сказал Репин. – Ты бы, Борис Дмитриевич, помог ему на квартиру статью.

– Дык почему не помочь-то? – скороговоркой заговорил этот Борис Дмитриевич. – Вон у Августы-от Цветковой и хорошо будет. Одна живет. Иван-от ее Васильевич неделями в лесу, а ребята еще прошлой осенью уехали. Свободно у ней, чисто. Она и сварит, и постирает поди...

– Ну, и отведи к ней, – сказал Репин. – Буди ему понравится, там и снимет. Проводи, Борис, сделай благое дело.

И мы пошли. Дорогой я узнал, что фамилия его Бочин, что он тут, в Кологриве, родился, как отец его и дед, что работает в училище преподавателем физкультуры и вообще следит за порядком.

Позднее я увидел, как он это делал. В училище часто проводили вечера с танцами «под баян», на котором обычно играл училищный музыкант Лев Степанович. Если кто-нибудь из парней – наших или со стороны, – предварительно хлебнувших водки или самогона, начинал «расходиться», к нему, косолапо двигаясь, подходил Бочин и шепотом говорил:

– Даю тебе две минуты. Засаекаю время.

Точно в назначенный срок «расходившийся» или «расходившиеся» исчезали. Не знаю, что тут больше действовало: авторитет Бочина или громадная физическая сила, впрочем, может быть, и то, и другое...

Августа Ивановна

В доме, куда меня привел Бочин, мне понравилось. Хозяйку звали Августа Ивановна Цветкова. На вид ей было лет пятьдесят. Круглое лицо с пылающими краснотой щеками, почти беззубая и потому немного шамкающая. И была она почти полностью глухая. Слышала только, если кричать ей прямо в ухо. А аппарат для слуха... Да какой аппарат в те годы в богом забытом Кологриве... Была она замужняя, но муж ее, Иван Михайлович, тщедушный человек, носивший на голове ис-

трепанную, порыжевшую морскую фуражку, работал бухгалтером в леспромхозе километров в пятнадцати-двадцати от Кологрива. Эти леспромхозы и лесхозы во множестве окружали Кологрив, скрываясь в лесных массивах. Всю зиму работяги валили там лес, подтягивали бревна на тракторах к берегам Унжи, чтобы весной, разлившись, она подняла этот сплав и водой потянула к запани у Макарьева. Это называлось «моль», молевой сплав.

Зимой, когда дорогу заносило, или весной, когда она тоннула в грязи, машины в леспромхозы не проходили, пока до рогу не пробивал трактор. Тогда они шли одна за другой, с кузовами, полными ящиков водки-черноголовки, от которой за версту несло сивухой. В городе этой водки тоже было хоть залейся, и еще были кильки в томате.

Только под воскресенье Иван Михайлович с полевой сумкой через плечо и в своей неизменной морской фуражке приходил домой. Почти всегда пьяный. Августа Ивановна не ругала его, не кричала, только бормотала что-то про себя, а он тихо уходил спать. Так однажды поздней осенью он возвращался из своего лесхоза домой, пьяный упал в какую-то канаву и больше не поднялся. Но это случилось, когда я уже не жил у Августы Ивановны.

У нее было двое взрослых детей (сын Вовка и дочь Татьяна). Но если Ивана Михайловича я застал, и однажды он даже вылечил меня от сильной простуды, заставив выпить стакан самогона и залезть на ночь спать на печку, то ни Вовку, ни Татьяну я так и не видел ни разу. Дочь, окончившую наше училище, послали куда-то за станцию Буй учительницей. Там она, как говорила Августа Ивановна, «сошлась» с неким механизатором, который сильно выпивал, и, видно, было ей уже не до матери. Правда, письма от нее иногда приходили. Вовка тоже куда-то уехал и почти не давал о себе знать. Так и жила Августа

Ивановна фактически одна. Ранним утром гоняла в стадо корову, а вечером ждала у ворот.

Была Августа Ивановна чистюлей необычайной. То и дело учиняла, как она говорила, «примывку»: смахивала со всех стен, разных занавесочек, кружевных накидок и подборок несуществующую пыль и драила полы в горнице и двух других комнатах.

– Отдохнули бы, Августа Ивановна, – кричу ей в ухо. – Ведь чисто, совсем чисто!

– Где ж чисто-то? – отвечает. – Вон наследил, вон...

И опять, согнувшись, моет, скребет, чистит...

Лирическая душа жила в моей Августе Ивановне. В одно лето приехала ко мне в Кологрив мать. С детства у нее было очень плохое зрение. И вот как-то Августа Ивановна говорит ей:

– Сходила бы ты тут неподалеку в лес. Там овражек и ручеек бежит. Красиво! У вас-от в Москве таких мест и нет, поди.

– Так ведь я плохо вижу, – отвечает ей мама. – Не разгляжу эту красоту.

Августа Ивановна, орудовавшая ухватками у печки, разогнувшись, вытерла руки.

– А тогда пойдем хоть и вдвоем. Сядем на бережку. Я тебе про ручей, как он бежит, буду рассказывать, а ты мне – как журчит-звенит он: вот и увидим все, и услышим...

Частые приходы ко мне Бочина Августе Ивановне не нравились:

– Ты с Борисом-то поосторожнее...

– А что?

– Дак ведь пьет он. И тебя затынет.

– Не затынет. Я к водке не тянусь.

– Дак ведь к ей поначалу никто не тянется. А потом вишь как...

О Бочине она мне рассказывала:

– Люди говорят, дед-то и отец его хороших лошадей держали. До Мантурова и обратно гоняли с людьми и товаром. Больно хорошие лошади у них были. Богатые мужики...

Это была правда. На больших попойках, когда маленькие глазки Бориса Дмитриевича от выпитой «черноголовки» становились красными и мутнело его сознание, он иногда начинал галлюцинировать. Сжимая тяжелые кулаки, словно бы держа и натягивая в них вожжи, цокал языком и шепотом хрипел:

– Но-но-но, пошли, залетные! Давай! Ну, пошли, ленивые! Вперед!

Потом вдруг замолкал и, оглядываясь вокруг, говорил:

– Эх, где вы, мои лошадки? Где? Тпру-у-у, милые. Стой!

Никогда, ни до Кологрива, ни после не встречал я человека, в котором странным образом уживались мужичья грубость, даже жестокость, особенно в пьяном виде, с подлинной интеллигентной деликатностью, самоограничением, как это было у моего колоритного дружка Бочина.

РО МГБ

В преподавательскую должность, по указанию А.А. Репина, посвятил меня завуч училища Николай Васильевич Кудрявцев. Как и Репин, он был тоже участником войны, инвалидом: у него не было правой руки выше локтя. Пустой рукав синей гимнастерки был заправлен под кожаный ремень. Но и одной рукой Кудрявцев умел пользоваться на удивление ловко. Засыпал даже махорку в быстро свернутую им самим «козью ножку», чиркал спичкой и прикуривал, затягиваясь едким дымом аж до самой глубины. Почти совсем поседевшие волосы кудряшками падали

на лоб, подтверждая его фамилию – Кудрявцев. Да, умело он управлялся своей единственной рукой, но только присмотревшись, можно было заметить, что она у него слегка дрожала. И в лице это тоже ощущалось.

«Нарядив» мне двадцать с лишним часов в неделю истории СССР, новой истории и Конституции СССР (больше ставки), Кудрявцев пригласил меня «вечерком зайти», потолковать: он тоже, по совместительству с должностью завуча, преподавал историю. Я, конечно, зашел. Он жил недалеко от училища с женой и дочкой лет четырнадцати-пятнадцати. Жена – Мария Васильевна – работала в училище преподавателем биологии. Мне она показалась довольно пожилой женщиной с усталым, даже измученным лицом. Она беспрестанно курила, и от того, наверное, говорила низким прокурренным голосом.

Сейчас же на столике появилась бутылка и, как я впоследствии узнал, классическая по тем временам в Кологриве закуска: нарезанное ломтиками сало и соленая капуста. Кто понимает, лучше для водки и не надо! Как говорится, самое оно.

Не помню, к чему сводилась наша с Кудрявцевым беседа. Ясно стало одно: завуч мой мог пить по-черному и уходить в запой. Но выйдя из него, он всегда держался тихо, ровно, спокойно.

Работа вообще шла хорошо. Я применял методику институтского преподавателя, у которого мы проходили практику в московской школе на Усачевке, – Петра Васильевича Горы. Тогда он был еще молодым, чубатым хлопцем, не так уж сильно отличавшимся возрастом от нас, студентов старшего курса. Спустя годы он защитил диссертацию, стал заведующим кафедры и во многом помог мне. Теперь уж его нет, но я берегу о нем память...

Исходя из постулата «классовой борьбы», он находил в хаосе исторических событий строго логическую цепочку и потом изображал ее в виде схем. Получалось наглядно, убедительно, легко запоминалось теми, кто не был отягощен знаниями и сомнениями! Конечно, это был примитив, но как основа для дальнейших познаний такая метода (школьная) представляется мне вполне подходящей. И на своих уроках в Кологривском педучилище я строго следовал тому, чему учил нас Гора. Я видел: это хорошо воспринималось учениками, в основном мальчишками и девчонками из окружающих сел и деревень.

Они просили меня говорить помедленнее, чтобы успеть записать в свои тетрадки: дома им так проще и легче было учить. Существовала и другая причина практиковавшихся на уроках записей: в училищной библиотеке на всех не хватало учебников. С этим, между прочим, был связан случай, который по тем временам у многих мог бы вызвать страх.

Как-то по приходе из училища Августа Ивановна протянула мне листок и сказала:

– Тут приходил один, тебя спрашивал, из милиции, поди. Вон бумажку тебе велел передать.

Бумажка оказалась повесткой, требующей явиться, но не в милицию, а в РО МГБ. Мы хорошо знали, что это означает: районное отделение министерства госбезопасности. У меня похолодело в душе. Что? Почему? «Московский след», что ли, связанный с «борьбой с космополитизмом»?

Пошел к Бочину.

– Пойду с тобой, – сказал он, – я там кой-каких ребят знаю.

В назначенный день пошли. Деревянный двухэтажный дом показался мне большим, чуть ли не огромным. Прошли что-то наподобие сеней, где сильно тянуло туалетом; в приемной комнате сидели двое или трое молодых мужиков. Я протянул повестку. Один встал, дал мне знак следовать за

ним. Бочин остался в комнате. Мы поднялись по шаткой, скрипучей лестнице на второй этаж, и я оказался в кабинете самого начальника РО. Кабинет представился мне таким же большим, бескрайним, как когда-то кабинет ректора Поликарпова, к которому я явился за получением подъемных денег для отъезда в Кологрив. Начальник был в форме, при погонах. Он улыбался, мягко, приветливо, но как-то хитро.

По его приглашению я сел, и завязался разговор. Он спрашивал, откуда я, где учился, почему приехал к ним в Кологрив. Я отвечал, ощущая в себе какую-то противную готовность «подладиться» под него, «попасть в точку», так, чтобы не вызвать у него неудовольствия.

– Ну, и как у нас тут? Нравится? – спросил он.

Хитровая улыбка не исчезла с его лица.



С учащимися Кологривского педучилища. 1951 г.

– Конечно, конечно, – поспешил я с ответом. – Хорошо! Природа! И в училище народ отличный! Все здорово.

– Студенты-то наши как вам? – перебил он меня.

– Отличные ребята! Подготовка, конечно... Сами понимаете. Но зато дисциплинированные, интересующиеся всем.

Он опять перебил меня.

– А как вам сынок мой?

Я остолбенел. Никакого «сынка» я абсолютно, совершенно не помнил, хоть убей, но ответил:

– Хороший ученик, никаких претензий.

– И по вашему предмету тянет?

– Вполне.

– Беда вот только... Говорит, что учебников в училище на всех не хватает. Нельзя ли как-то помочь?

Я долго заверял его, что дело это несложное, конечно, поможем, о чем разговор?

Расстались мы по-хорошему, прямо-таки дружески, пожали друг другу руки.

Когда я спустился вниз, Бочина в приемной не было. Либо я пробыл у начальника слишком долго, либо ему просто запретили здесь находиться. Я вышел на улицу и решил посидеть в небольшом скверике, отдышаться. На скамейке сидел Бочин.

– Отпустили? – спросил он, завидев меня.

– Как видишь. А что, могли не отпустить, что ли? За мной ничего нет.

– А знаешь, что мне ребята там шепнули, когда тебя повели наверх? Иди, говорят, Борис Дмитриевич, не жди. Нечего ждать. Он не вернется.

Из скверика мы направились прямо в столовую и в нашей «боковушке» долго отмечали мое возвращение. Больше в РО МГБ меня не вызывали, а сынок начальника свой учебник по истории, конечно, получил.

Женька Вольперт

Вскоре после моего приезда в Кологрив прибыл еще один по распределению. Это был выпускник Ленинградского университета Феликс Ипполитов. В училище он должен был преподавать психологию и педагогику. Он приехал не один: с матерью. Это была дама лет за пятьдесят, интеллигентка «из бывших». Только не из дореволюционных «бывших», а, как казалось, из советских, из той советской элиты, которая попала под сталинскую рубку в конце 30-х, а потом частично уже после войны. Я думаю, ее муж до «большого террора» числился в номенклатуре, а сама она, возможно, имела и дворянские корни. Фигурально говоря, по богом забытому Кологриву она ходила с «поджатыми губами», не всегда будучи в силах скрыть то, что здесь – не место для нее и ее сына.

Этот Феликс тоже старался сторониться местных, в том числе и в училище. Он двигался быстро, не оглядывался по сторонам, а в учительской вступал в разговор только тогда, когда к нему обращались. Впрочем, и разговаривал он с какой-то насмешечкой, часто, выслушав собеседника, говорил: «Ну, ну!», как бы давая понять, что перед ним – несмышлениш, а то и вовсе дурачок.

Но я обрадовался приезду ленинградца Феликса и через некоторое время пригласил его жить вместе со мной у Августы Ивановны: места было много. Он посоветовался с матерью, и они приехали. Но наша совместная жизнь не сложилась, не помню уж, почему. Они сняли себе другую квартиру.

Александр Ливерьевич Волков, всегда слегка пьяненький математик в сильно засаленном черном костюме и грязноватой рубашке, но с непременным галстуком, пустил в училищной учительской слухок, что Ипполитов и его маман – евреи.

Реакция, впрочем, была слабой, слух, пущенный Волковым, принимали вяло и безразлично.

– Ну, евреи, – сказал мне Бочин, – и что? Вот у нас в армии был один еврей...

Я его перебил:

– А здесь, в Кологриве, они вообще-то бывали?

– В Кологриве-то? Откуда? Хотя вон говорят, что в гражданскую войну затесался вроде бы тут один. Потом исчез, а след оставил. Женьку Вольперт знаешь? Вот он-то, по разговорам, папашей ей будут.

Женьку Вольперт я знал. Это Бочин звал ее Женькой, а она была учительницей в школе глухонемых, и ее в городе уважали. Была она небольшая, с густыми черными с редкой проседью волосами, собранными в пучок на затылке. Она хорошо пела. Часто весной или летом, вечером на берегу Унжи, где находилось старое приземистое здание кино, в ожидании сеанса начинала Женька напевать, по большей части старинные русские романсы. Голос ее, несильный, но чистый и звонкий, витал над Унжей, волновал, внушал грусть.

*Ночь темна. Над рекой
Тихо светит луна
И блестит серебром
Голубая волна...*

Около Женьки собирался кружок.

*Ночь пройдет, – и спозаранок
В степь, далёко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой...*

Мне нравилось Женькино пение – простое, сентиментальное. Так и осталась она в моей памяти: вечереет, тихо, легкий ветерок, Унжа течет тихо и быстро.

*И блестит серебром
Голубая волна...*

Камайский

Я приставал к Бочину. Ну, так что это был за человек, наградивший нашу Женьку еврейской фамилией, одной на весь Кологрив, и таким голосом? Он толком ничего не знал и однажды посоветовал мне обратиться к преподавателю географии Петру Александровичу Камайскому.

Если бы меня спросили, что такое русский образованный человек, поднявшийся от своей почвы, от «земли», от своих корней, я бы указал на Камайского. Такого, как он, запомнил я еще одного. Во время войны, в эвакуации в Глазове, был у нас в школе учитель ботаники. От него исходил дух благородства, добра и скромности. Камайский был таким же. Почему-то мне представляется, что в досоветской России такие люди были земцами – докторами, учителями, агрономами и др. Медленно, не спеша, без суеты, без трескучей болтовни они бы, мне кажется, подняли Россию на уровень, к которому никогда не приблизится, да и не хочет приблизиться «денежный Запад».

А может, и в России таких людей было мало? Пусть даже так, но именно они создавали ее образ с чертами скромности, самоотверженности и... грусти.

Кто видел старый советский фильм о Суворове и помнит актера, сыгравшего его, тот может представить, каким был Петр Александрович Камайский. Небольшого роста, худенький, сухонький и, кажется мне, даже с хохолком на голове. Одет был просто: старый, потертый пиджачок поверх рубашки-косоворотки. Старался не выделяться, даже вроде ходил как-то боком. Когда говорил, сильно окал. Ребята его любили: свой он у них был. Кроме преподавания в училище, была у Камайского еще одна работа.

В Кологриве был краеведческий музей, находившийся в двухэтажном каменном здании с какими-то «архитектурными излишествами». Камайский был там директором. Жаль, что по

молодости лет я не повадился ходить в музей. Там было много интересного. Камайский рассказывал мне, что Кологрив известен уже более 450-ти лет. Тут, в XIX веке, жил друг Пушкина, поэт и критик П. Катенин, которого выслали сюда за принадлежность к декабристским обществам. Тут были имения И. Пущина, А. Жемчужникова. Профессор Ф. Чижов основал тут сельскохозяйственное училище: это нынешний зоотехнический техникум, находящийся на другом берегу Унжи.

И советской власти Кологрив дал своих бойцов. Особо отмечали В. Трефолева – матроса, коменданта революционного Кронштадта, одно время председателя ревтрибунала Балтфлота. Бравый матрос, сдвинутая на затылок бескозырка. Лихой парень.

О самом Камайском говорили что-то невнятное. Преподаватель литературы Михаил Михайлович Громов, внешне похожий на героя-любовника, однажды во время выпивки у Бочина по секрету рассказал мне, что Камайский-де бывший поручик, участвовал будто бы в Ярославском восстании в 18-м году, а когда красные подавили восстание и часть его участников рассеялась, добрался до скрытого в лесах Кологрива и тихо там осел. За Громовым шла слава фантазера, и не исключено, что все это он придумал, но возможно, что какая-то основа для этого рассказа могла быть. Сам Петр Александрович о своем прошлом никогда не говорил. Ни с кем в училище близок не был. В свободное время всегда бродил по окрестным лесам, даже и в дожди. На голове – старый картуз, одет в длинный брезентовый плащ с капюшоном, в руках палка и холщовый мешок через плечо...

Красавица

Осенью, когда начинали копать картошку, наших учащихся посылали в колхозы. С ними обычно направляли двух-трех

преподавателей. Камайский никогда не отказывался, принимал назначение начальства как приказ. Однажды в пару с ним послали меня. Мы шли в деревню по имени Красавица, километрах в десяти от Кологрива. Всю дорогу хлестал холодный дождь, проселки развезло, двигались мы, утопая в грязи. Красавица находилась на холме. Она являла собой несколько покосившихся, почерневших от дождей изб. Стояла тишина. Людей не было видно. Только из двух-трех окошек выглядывали равнодушные старушечьи лица. Камайский развел нас по избам отдохнуть и просушиться. Я пошел в избу с ним. С хозяйкой-старухой он говорил на одном языке, такими же, как она, словами. Они были родственными душами и понимали друг друга, не чуждаясь, не отстраняясь.

– Ты бы, старая, с печи-то слезла, самовар, что ли, разогрела. Видишь, ребята промокли, – говорил Камайский.

– Слезла бы, буди могла. Болею, милый. Уж какой год.

– Ну, лежи, мы сами. Где у тебя самовар-от?

Мы пришли на неделю, но все время лил дождь. Низкие черные тучи чередой шли над Красавицей. Работать в поле было невозможно. Ничего не сделав, неприкаянно просидев в избах, мы двинулись назад.

По пути, расползаясь резиновыми сапогами по грязи, я расспрашивал Камайского:

– Как же так? Деревню-то звать Красавица, значит, была она когда-то такой. Что ж теперь? Последние старухи доживут – и нет деревни? Власти-то знать должны...

Камайский говорил:

– Повыбивало мужиков войной. Мало кто вернулся. А детишки их, чуть войдут в возраст, разными путями бегут, кто как может. Старухи эти тоже все надорвались...

Он замолчал, шагая и опираясь на свою неизменную палку. Потом сказал:

– Нет, похоже, что тут уж, в средней России, ничего не сделаешь. Упустили дело. Видите, как получилось-то: мужик за землю зубами держался, в топоры шел, а нынче – на тебе землю: никому не нужна!

«Избушка»

Когда начиналась весна, жизнь перекочевывала в «избушку». Избушкой называлось нечто вроде блиндажа, врытого в левый, высокий берег Унжи. Там были сделаны деревянные нары, врыт в землю стол. Керосиновая лампа по вечерам освещала это уютное жилье. Река плескалась совсем рядом, в нескольких шагах, омывая мелкий золотистый песок и слегка раскачивая стоявшую на нем лодку. Избушка была сооружением и владением Бочина и его приятеля – зубного техника по имени Кирилл, которого Бочин почему-то звал «отец Шарлапий».

Избушка была у них базой для рыбалки, которая велась после весенних паводков Унжи. Вода еще полностью не спадала, большие пространства лугов превращались в заводи, и туда во множестве шла рыба, больше всего – налим. Бочин и «отец Шарлапий» немного браконьерствовали: вечерами ставили потихоньку сети, а по утрам снимали их уже с рыбой. Куда-то ее потом сдавали. Не всегда их «кооператив» жил мирно. Вспыхивали, бывало, ссоры.

А однажды дело дошло и до кровавого избиения. Бочин заподозрил своего друга в обмане: тот ездил в Кострому или в Москву и купил там какие-то «не те» сети, разницу в цене будто бы присвоил.

Бочин пришел ко мне изрядно пьяный, возмущенно рассказывал о поступке Кирилла, рычал:

– Меня? Обмануть меня? Не позволю!

Мы пошли к избушке, где уже находился Кирилл. И мой добрый, заботливый, деликатный Борис Дмитриевич кулаком с детскую голову в кровь разбил лицо Кириллу, сбив его с ног в воду...

Дело замяли. У Бочина в милиции тоже были друзья-приятели, и они оформили случившееся как «обоюдную драку». А через некоторое время наш «отец Шарлапий» снова стал приходить в избушку и снова вместе с Бочиным ловил рыбу. Было над чем подумать...

В избушку частенько забредали и почетные гости. Бывали даже и «отцы города». Чаше других заглядывал начальник милиции, пребывавший в чине капитана (Бочин прозвал его «капитан Грант»). Этот просто любил выпить «на халявку». Его не ограничивали. Узнав однажды, что я собираюсь на каникулы в Москву, он попросил:

– Слушай, привез бы ты мне самовар, а? Ну, нигде не могу купить. Нет самоваров в продаже – и все. Может, в Москве-то есть? Привез бы ты мне, я заплачу, сколько будет стоить. Уважь.

Я «уважил». В Москве самоваров в продаже я тоже не нашел, но памятуя, что и Бочин просил меня уважить просьбу главного милиционера, самовар я все-таки раздобыл. У дедушки и бабушки, живших на Аэропорте, где-то на кухонной свалке оказался большой медный самовар, который они привезли с собой из бывшей «черты оседлости», когда в середине 30-х годов вместе с сыном (моим дядькой) переехали в Москву. У самовара не было крышки, все попытки найти ее успехом не увенчались. Пришлось везти самовар как есть. Решил, что в крайнем случае выброшу. Но начальник милиции обрадовался самовару без крышки, как родному.

– Найдем крышку! – говорил он. – Это – ерунда. Главное – самовар большой, вместительный.

У «капитана Гранта», по рассказу Бочина, было несколько детей, и самовар моих дедушки и бабушки как раз будто и был рассчитан на всю его семью.

Капитан предлагал деньги, но я отказался: вещь некомплектная, старая.

– Нет, – сказал я, – считайте, что это подарок. Пейте чай на здоровье...

Так соединились две эпохи. Может, и поныне тот самовар все еще пыхтит у кого-нибудь в Кологриве?

Частым гостем в избушке бывал Сашок, хирург местной больницы и друг Бочина. Сашок был толстым, массивным, с одутловатым красно-синюшным лицом. Говорил он мало. Больше пил, не глотая, а вливая водку из стакана прямо в горло. Посидев и покурив, обычно уходил или засыпал на нарах.

– Сашок, – рассказывал Бочин, – светило. Хирург от бога. Оперирует, только когда другие отказываются. Раз какому-то тузу срочную операцию надо было делать в Мантурове. Все – пас. Вызывают Сашка: «Спасай!». Но закон его знают – кружка спирту перед операцией. Наливают. Выпил, потряс руками, пошел. Спас!

– Врешь, небось, все! – говорили Бочину.

– Спроси у самого!

Про Сашка ходили слухи, будто в войну он с женой был в партизанском отряде. Там она пристрастилась к морфию, а Сашок наш – к водке и спирту, научившись пить их, не глотая. Не знаю, что уж тут было правдой, а что нет.

Между прочим, сам Бочин тоже был в партизанах. Однажды, когда мы с ним вдвоем коротали время в «избушке», он сказал:

– Вот ты историк, а буди захочешь слушать, я тебе такую историю расскажу, какой ты, наверное, никогда и не слыхивал. Хошь верь, хошь нет.

Придя домой, я тут же записал его удивительный рассказ.

Было это в первые дни войны. Мы стояли в Литве, почти на границе. Немецкие танки, вроде рычащих псов, ворвались в наш военный городок. Вижу – немцы смеются, прыгают с брони на землю. Ну, что делать? Поднял руки вверх, как и многие другие.

Около месяца держали нас в длинном старом коровнике с узкими окошками под самой крышей. Кормили какой-то бабландой из картофельных очисток и щавеля. Потом часть людей (меня в том числе) отделили, выгнали на улицу, привели на станцию и затолкали в теплушки. Куда повезли, зачем – ничего не знаем. Когда ночью проезжали по Брянщине, лежащий рядом со мной на нарах Сенька Смирнов шепотом спрашивает:

– Ты, слышать, костромской?

– Из Кологрива я.

– А я по соседству. Село Сусанино. У нас почти все Смирновы.

– Ну?

– Нарезать винта станешь?

– Буди другие...

– Есть третий. Васька Шахматов из Галича. Но гляди, если баграть задумаешь, заточкой в шею, и готов. Понял?

Нашу колонну пленных, человек в сто, немцы вели по высокому крутому берегу уже замерзавшей реки. Темнело. Конвой у них был небольшим. Нас всерьез конвойные, видать, не принимали – так, изможденные, полуоборванные бродяги. Когда середина колонны ступила на обледенелый поворот берега, я, шедший крайним, почувствовал удар сапогом в спину. В кровь царапая лицо и руки, кувырком полетел вниз, к реке. Почти рядом с окровавленным лицом, в изорванной гимнастерке рухнул и Сенька Смирнов. Я понял – это он ударом ноги вышиб меня из колонны, толкнул вниз и сиганул сам. По

нам стреляли, но у конвойных, надо думать, начались неразбериха и растерянность. Они боялись, что пленные станут разбегаться, и огонь с берега повели лишь двое. Пули ложились почти рядом, но нам все же удалось уйти. Доползли до полуразрушенной избушки, которую кто-то когда-то соорудил тут, на берегу, залезли внутрь и прикрыли узкий вход полузамерзшим кустарником.

Утром вышли из своего укрытия и, ломая свежий, образовавшийся за ночь ледок, пошли по берегу. Метрах в ста натолкнулись на убитого Ваську Шахматова. Он лежал на спине в шинели, а полы ее, широко распахнутые, находились в воде и слегка колыхались от волнистой ряби. Мне вдруг показалось, что Васька сейчас поднимет голову, встанет, а распахнутая плавающая шинель, как паруса, понесет его вверх. Мы перенесли Ваську в свое ночное укрытие, завалили вход кустарником и камнями. Перешли речной брод и двинулись к темневшему вдали лесу. Бродя по незнакомым лесным глубинам, мы с Сенькой в конце концов потеряли друг друга. И никогда больше – ни тогда, ни впоследствии – я так и не смог узнать о его судьбе. Растворился Сенька, исчез...

Я лесов не страшился. К костромским чащобам мы привыкли. Как-то в метель вышел к избе, стоявшей на самом краю деревишки. Постучал в окошко, почти заваленное снегом. Через некоторое время заскрипела дверь. Старческий хриплый голос спросил из темноты:

– Кто?

– Русский, – говорю, – свой.

– Какой ты свой – это мы еще посмотрим. Один ты?

– Один.

– Заходи.

Так попал я в группу Алексея Алексеевича Логинова и его людей – агентуру партизанских отрядов округи. Две недели

жил в укрытии, устроенном в подполе жогинской избы. Затем меня перевели в один из отрядов.

Отряд был небольшим: тридцать – тридцать пять человек. Командовал им еще летом вышедший из окружения капитан Михаил Кудрявцев. Примерно с месяц меня держали в резерве. Тут я скорешился с врачом-хирургом Кириллом Шарапием – толстым человеком с красным лицом и носом лилового оттенка. Шарапия в отряде уважали и ценили. Ему как лекарю верили...

Однажды, зимой 42-го года, Кудрявцев построил отряд. Медленно проходя мимо строя от начала до конца, он на минуту останавливался перед некоторыми стоявшими в строю, и указывая на них пальцем, говорил:

– Ты! Ты! И ты тоже! Достаточно троих.

Четвертым и старшим он указал на меня. Всем названным приказал пойти к нему в землянку. Зашли.

– Ваша, – говорит, – главная цель – не разбивать черепа из ППШ немцам и полицаям. Но если, конечно, придется, то придется... Ваша же основная задача – разведка, наблюдение и выяснение настроений местного населения. Двигаться будете примерно вот по такой окружности. Еще несколько групп из других отрядов пойдут другими путями, но с теми же заданиями. Потом все собранные данные будут объединены и переданы в центральный штаб людям Пантелеймона. Так что задание важное. Уйдете в ночь.

Обошли несколько сел и деревень по кругу, обозначенному Кудрявцевым на карте, и к вечеру следующего дня залегли в овраге, примерно в километре от стоявшего на взгорье хутора. Бывший морячок Сашка Громов вызвался пойти разведать возможность ночевки. Отдал мне свой ППШ, сунул за пазуху ватника пистолет и пошел. Я смотрел в бинокль. Вот Сашка не спеша поднялся на крыльцо, ему навстречу из дверей вышел какой-то дед. Минут пять

они о чем-то толковали. Потом Сашка замахал нам руками – идите, мол, безопасно!

Сбросили подушубки, ватники, валенки, заходим в горницу. Тепло, уютно. Сели за стол.

– Кипяточку бы, – говорю.

– Это какого ж кипяточку? – спрашивает хозяин, которого старуха-жена звала Макарычем. – После которого в пляску со свистом?

– Да нет, – говорю, – это ты, дед, брось. Просто кипяточку. Сахар свой.

Сперва спать решили одетыми и при ППШ, но потом передумали – отдыхать так отдыхать. Разделись, сдуру даже портянки разматили для просушки. Разместились на печке и полатах. Автоматы поставили «горкой» внизу, Макарыч пригасил фитили керосиновой лампы .

Примерно среди ночи проснулся я от волны холода, накрывшей полати, где я спал. Приподнял голову и увидел, что фитили в лампе горят на свою полную мощность и в горнице светло. Дверь у порога распахнута почти настежь, в проеме – клубы морозного пара, а у притолки стоит высокий немецкий офицер со «шмайсером» в руке. Я спросонья решил, что офицер один, но сразу же из-за его спины появилось еще несколько солдат. Теперь мне почудилось, что в дом к Макарычу набился чуть ли не целый взвод немцев. На самом деле их было десять человек!

Растолкал еще спящих, сиплым голосом прошипел:

– Автоматы! Автоматы где?!

Но уж ясно видел, как здоровенный немец сгреб стоявшее в углу все наше вооружение и тащит его в сени. Мать его перемать, как могли оставить оружие внизу?! Несколько минут сидели мы в оцепенении. Ну, думаю, кранты. Сейчас перестреляют, как куропаток. Потом гляжу – немецкий

офицер подошел к печке, снял с руки перчатку и, ухмыляясь, поманил нас пальцем: спускайтесь, мол. Чего там сидеть?

Ну, спустились мы. Куда деваться? Офицер тот дал знак своим солдатам, уже сидевшим за столом, чтобы они подвинулись на длинных скамьях и дали нам места. Сели. В жестяные кружки разлили пахучую жидкость.

– Schnaps! Водка! Хайль!

Когда выпили шнапс, Макарыч притащил небольшой жбан самогона. Выпили и его содержимое. А что было делать? Отказываться?

А тут и рассвет. Метель все еще не прекращалась. Немцы собрались уходить. У порога дома, перебросив «шмайсеры» через плечо, прилаживали лыжи к специальным ботинкам. Мы в сторонке хмуро смотрели на эти приготовления. Немецкий офицер подошел ко мне, похлопал по плечу, сказал с насмешкой:

– Gegen Sie spazieren! (Гуляйте!)

Построившись гуськом, вышли они из ворот макарычева дома и вскоре скрылись за поворотом. Следы их быстро заметало снегом... Подняв валявшуюся палку, Сашика Громов зло переломил ее о колено и прошептал:

– Ничего, еще встретимся!

** * **

– А ваши автоматы-то вам оставили? – спросил я.

– Оставили. А что мы с ними бы сделали? Нас четверо, их десять. Перестреляли бы нас. Вернувшись, мы Кудрявцеву все доложили.

– А он?

– А что он? «Под трибунал бы вас отдать надо! Да какой толк? Там немцы бы вас перестреляли, тут наши. Лучше воюйте. Только никому ни слова». Во как оно было, историк!

– Ну и как, довелось встретиться, как Сашка Громов обещал? – спросил я.

– Это вряд ли. Хотя все ж с кем-то из тех немцев могли. Войны ведь еще ой как много было. Но ежели и встретились, – Бочин засмеялся, – то уже не за столом у деда Макарыча!

Как-то раз в избушке посетил нас директор училища Александр Александрович Репин. Мы встретили его по-царски. Сварили на костре в котелке такую уху, какую, уверен, и в лучших ресторанах никогда не подавали и не подают. На стол выставили сохраняемую для особых случаев «белую головку» (в Кологрив, в лесхозы и леспромхозы завозили в основном водку в бутылках, запечатанных коричневым сургучом, мало чем отличавшуюся от сивухи). Солнце уже закатилось, темнело, и мы зажгли в избушке керосиновую лампу. Было тепло, уютно, спокойно. Потек разговор.

Разомлевший от выпитой водки и горячей ухи Репин увещевал меня:

– Вот вы все о Москве печалитесь, а что там хорошего? Я как в Москву приезжаю, больше нескольких дней там жить не могу. Толкотня, дышать нечем. А у нас... Вон какие лугалеса! В Унжу летом по горло войдете, каждую песчинку на дне видно. Чистая, как стеклышко! Оставайтесь у нас. Мы вам тут дом соорудим, женим. Невест вон у нас в училище полно. Лучшую отдадим – Елену Павловну Груздеву. Красивая девица? То-то. У нее отец тут первым секретарем райкома работал, хороший мужик... Ну, что, – уговорил?

Иногда мне казалось, что Репин прав, что ничего там в Москве меня не ждет. Такие мысли означали, что в Кологриве я потихоньку обжился, начал привыкать. Но когда получал письма от друзей из Москвы, «московская тяга» опять давала о себе знать, усиливалась.

Ярославская аспирантура. Юхт

Как-то я сказал Репину:

– Александр Александрович, вот мы про Москву говорили. А мой дружок школьный – Виталий Свинцов – теперь в аспирантуру поступил. И даже женился.

Репин меня прервал:

– Ну, женатый дружок – уже не тот дружок. А насчет аспирантуры, если у вас есть такое намерение, пожалуйста! Мы поможем, напишем бумагу в министерство. Тут нет препятствий.

Бумагу-рекомендацию действительно написали. В ней было сказано, что Кологривское педучилище ходатайствует перед министерством просвещения о содействии преподавателю такому-то в поступлении в аспирантуру. Рекомендацию подписал Репин. Наивные провинциалы! В каких бы министерских кабинетах я не показывал «репинскую» бумагу, к ней относились не то что презрительно, но с плохо скрываемой снисходительной усмешкой. Какую силу могла она иметь при решении вопроса о поступлении в аспирантуру, куда принимали по совсем другим бумагам и звонкам? Мне возвращали мою бумажку за ненадобностью...

Впрочем, в одном кабинете сказали:

– Вы поезжайте в Ярославль, там пединститут объявил аспирантский набор. Попробуйте! Там, кстати, и предъявите свою «кологривскую грамоту», если она будет нужна.

Я купил себе модную в те времена велюровую шляпу синего цвета, белый шарф и поехал в Ярославль. Нас, абитуриентов, было человек двадцать пять – тридцать. Поселили нас в институтском спортзале. По стенам поставили койки с пружинными матрасами, выдали подушки и белье. Посередине стоял большой стол, за которым мы собирались по вечерам и «рубались в козла». Рядом со мной находилась койка парня

из Астрахани, «Таракани», как он ее называл. Он был старше меня лет на девять-десять, участвовал в войне, имел ранения и, помимо медалей, солдатский орден Славы.

Его звали (он сам так представился) Сашка Юхт. В «Таракани» он работал в пединституте на исторической кафедре и намеревался писать работу об армянской торговой колонии в Астрахани в XVII – XVIII веках.

По вечерам мы валялись на койках, и я читал ему по памяти стихи Есенина, много есенинских стихов, в том числе и из «Москвы кабацкой». Сашка слушал, затаив дыхание.

*Тот трюм был –
Русским кабаком,
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном...*

Прислушивались и другие.

– Давай еще! – просил кто-нибудь.

И я читал:

*Дар поэта – ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.*

– Видел, как писал парень? – говорил Сашка задумчиво.
– Нет, брат, сейчас так уж не пишут...

В нехорошее время приехали мы поступать в большую науку. Кампания против «космополитов» была прекращена еще в 49-м году, но последствия ее продолжали сказываться. А зимой 52-го года взорвалось «Дело врачей». Было очевидной глупостью соваться в такой момент в аспирантуру. Но многим из нас казалось, что все это не про нас: наказывают,

может быть, действительно виноватых, а мы-то при чем? Нет, не может быть, чтобы и нас ни за что ни про что зацепило. Авось пронесет...

Не пронесло. Однажды после окончания консультации перед экзаменом по истории СССР проводивший консультацию профессор Генкин дал нам с Юхтом знать, чтобы мы задержались. Поговорили о том, о сем, кто откуда приехал, об экзаменах. И тут Генкин тихо сказал:

– Вы напрасно сдаете экзамены: вас не примут.

Мы оба поняли, о чем он ведет речь, но я все-таки возразил:

– Ну, меня не примут – его примут: он – участник войны.

Генкин пожал плечами, ничего не сказал и вышел. Мы не знали, что думать и что делать. Я говорил, что Генкин просто высказывает свое мнение, но более опытный Юхт покачал головой.

– Нет, он бы сам говорить такое не стал. Тут что-то другое. Может пойдем в обком? Там отделом школ и вузов заведует какой-то Яковлев (мы, конечно, не предполагали, что это будущий «архитектор перестройки»). Хотя что мы ему скажем? И что он может сказать? Делает то, что прикажут сверху.

Мы вышли на улицу:

– А черт с ними со всеми, – сказал Юхт. – Пошли в «Медведь».

Был такой ресторан в Ярославле. Там мы крепко выпили. . .

У ЖОХОВЫХ

К своей хозяйке Августе я уже не вернулся. Дружок Бочин подыскал новую квартиру, поближе к себе и педучилищу. Дом – хороший, крепкий пятистенок – стоял на пригорке за прудной улицы, весной и летом утопая в сиреневом саду. Моя

комната – узкая и длинная, как пенал – имела отдельный вход, что было, конечно, очень удобно. Зато хозяев было аж четыре. Главный – Алексей Алексеевич Жохов, низкорослый, широкоплечий старик лет семидесяти, с большой окладистой бородой. Молчаливый до невозможности, с выражением лица всегда немного насмешливо-понимающим, снисходительным. Он целыми днями возился во дворе, что-то подправляя, делая, подкрепляя.

Жена его – старуха, больная сильным артритом – лежала на печи и слезала с нее, по-моему, только когда печь превращали в баню: стелили солому, и старуха забиралась туда для «помывки». Вот эта запечная старушка и была настоящей правительницей дома. С печки она давала указания старику Алексею Алексеевичу, руководила дочкой, которую звали Нюркой, в ее кухонной деятельности и держала в ежовых рукавицах сына Алексея, или просто Лешку. Лешка был горбун и пьяница. Тихий и приветливый в трезвом состоянии, он превращался в дикого буяна, когда напивался.

Нередко мы с Бочиным составляли ему компанию. Тогда по его команде Нюрка выставляла водку, приносила в больших тарелках нарезанное сало и квашеную капусту. Как-то раз случилось, что тарелки с «закусем» оказались нами же опустошенными. Захмелевший Бочин сказал Лешке:

– Алексей Алексеевич! Что ж это, и закусить больше нечем?

– У меня?! – взревел Лешка. – Да я сейчас...

Он сорвал со стены висевшее ружье, бросился в свинарник и с обоих стволов открыл огонь по находившемуся там поросенку. Визг поросенка, Лешкины крики, наши вопли – все смешалось. Прибежал старик Алексей Алексеевич, Нюрка, пытались вырвать у Лешки ружье, скрутить и свалить его на пол. Ни-

чего не получилось. Лешка бушевал. Ничьи увещевания не помогали. Тогда Нюрка распахнула дверь в дом, так, чтобы лежавшая на печи мать увидела происходившее.

– Лешк! – негромко сказала та. – Ты чего безобразишь? Ну-ко, будя!

И произошло чудо. «Зверь» приручился в один миг. Поставил ружье в угол и молча, втянув голову в плечи и горб, попятился во двор...

Либерализм

Мне однажды пришлось попасть под репинские репрессии. Шли экзамены для перевода в следующий класс. По истории их принимал я вместе с моим коллегой – другим историком, Владимиром Николаевичем Пономаревым. Это был высокий человек со смуглым лицом, испещренным какими-то синими и черными точками, будто шахтерской угольной пылью. Он был ленив, медлителен в движениях и речи, говорил с длинными паузами и как будто нараспев. В училище он работал только год, приехал в Кологрив, кажется, из Галича, где работал в учительском институте. За ним тянулся большой «хвост» – многочисленная семья, и он старался набрать побольше часов, как он говорил, «детям на молочишко».

Даже невооруженным глазом было видно, что Владимир Николаевич являет собой законченный тип халтурщика. Вот с таким «фруктом» мы вместе и принимали экзамены по истории. Впоследствии на всем своем многолетнем опыте я убедился, что исторические знания большинства учащихся школ, техникумов или даже технических вузов практически приближаются к нулю. Даже то, что они вызубривали к уроку или тем более к экзаменам, быстро улетучивалось из их голов, и в лучшем случае там оставались некие туманные представления, если не считать совсем уже крупных дат, событий и лиц.

Те мальчишки и девчонки, которых экзаменовали мы с «Владимиром Галицким», как я его про себя называл, могли только подтвердить общую печальную тенденцию. По справедливости, средним заслуженным баллом для всех них могла стать полновесная двойка. Но некоторые все же что-то отвечали, жутко путаясь в датах, оценках и т.д.

– Ну, что – три поставим? – спрашивал я «Владимира Галицкого» в таких случаях.

Он, подымив «Беломором» и немного поразмыслив, отвечал:

– Да чего там! Становь четыре!

Когда кто-то из отвечавших назвал нам дату Ледового побоища, а по второму вопросу – отличие советской конституции от «буржуазных», мой «Галицкий» решительно потребовал:

– Ну, это – пять!

Я с сомнением смотрел на него, но он не колебался:

– Ну, здесь – без натяжки! Парень знает все. Становь пятерку!

К концу экзамена в нашей ведомости сверху вниз тянулась «дорожка» из одних четверок и пятерок. Мы расписались, и я понес ведомость завучу Кудрявцеву. Тот взглянул, покачал головой, но ничего не сказал.

Потом меня вызвал Репин. На столе перед ним лежала наша с «Галицким» ведомость. Он кивнул на нее.

– Высокие знания у ваших с Пономаревым учащихся, а?

Я объяснил ему, что это не мои учащиеся. Экзамен сдавали классы, в которых историю вел Пономарев. Я же просто был ассистентом.

– И, значит, просто подписывали «липу»? А зачем? Почему?

Я что-то стал бормотать в ответ, чувствуя, что постыдно краснею.

– Нельзя этого делать, – устало сказал Репин. – Дисциплина враз расшатается: зачем учить, трудиться, буди все равно четверка-пятерка обеспечена. Ну, Пономарев – ладно.

Я его знаю: нигде не удерживается долго, мотается по области, и у нас не задержится. Ему на все плевать. И вам, значит, тоже? А нам-то, тутошним, нет. Если так пойдет, с чем ребята по своим деревням вернутся? Ни с чем. Чему учить будут – ведь они учителя без пяти минут. Получается у вас: деревня – ну, и черт с ней!

На другой день на доске объявлений появился приказ. Пономареву-«Галицкому» вклеен был строгий выговор с предупреждением. Мне – просто выговор. Обоим – «за проваленный либерализм в оценке знаний учащихся».

Завучу Николаю Васильевичу Кудрявцеву я сказал:

– Ну, какой либерализм? Просто разгильдяйство, безответственность...

– А это и есть либерализм, – ответил он. – У нас этого допускать нельзя, у нас должен быть твердый порядок и жесткий спрос. Иначе все поедет-покатится.

Двадцать лет спустя...

Жизнь шла своим чередом, но Кологрив я забыть не мог. Там приоткрылся мне «кусочек» настоящей, прекрасной, глубинной России. И через двадцать лет, взяв жену и дочь, друга Виталия Свинцова и его жену, я вернулся в «мой Кологрив». На станции в Мантурове уже не нужно было ждать старого, тархтящего автобуса. В Кологрив можно было лететь самолетом! И мы решили лететь. Самолетик был маленький, убогий. Кроме нас, села еще одна пассажирка: бабуля с... козой. В воздухе всех мотало и бросало так, что чуть не отбили свои ребра. На чье-то недовольное замечание пилот повернулся и хмуро сказал:

– Кому не нравится, может выйти.

Дали себе слово, что обратно уж самолетом не полетим. Сели на берегу Унжи, противоположном городу. Перебрались, и вот он – Кологрив! Такой же, как был тогда, в начале

50-х. Ничего не изменилось. Те же дома, тот же глубокий песок под ногами на улицах, тот же сквер и даже старые склады на берегу, и та же «Столовая». Мы остановились в том же Доме колхозника, в котором остановился я, прибыв по распределению в Кологрив.

– Бочин! – сказал я. – Первым делом найти Бочина!

Он жил в том же доме, что и прежде, на Запрудной улице.

– Почти никого из тех, с кем мы работали, – рассказывал он, – в Кологриве уж нет. Многие уехали после закрытия училища, а многие – Репин, Кудрявцев, другие – ушли навсегда.

Мы помянули их.

– «Избушку» помнишь? – спросил Бочин.

– Еще бы!

Мы пошли на то место, где когда-то была наша «избушка». Присели в чью-то лодку, чуть покачивавшуюся на слабой приливной волне. А на самом верху берегового обрыва шумела густая сосновая роща, отражавшаяся в реке.

Около двух недель прожили мы тогда в Кологриве. На моторке, специально приспособленной для сплавных рек, ездили в дальний лесхоз, где во всех помещениях пахло хвоей и свежеструганными досками. Собирали грибы, которые нам потом в столовой жарили две девушки, и на вопрос: «Сколько мы должны заплатить?» – отвечали:

– Да будет вам! Какая плата? Кушайте на здоровье!

И еще раз (подумать только!) Кологрив светлым пятнышком лег на мой жизненный путь. Это случилось, когда я уже находился за тридевять земель от Москвы, в Канаде, в «интернетную эру». Нежданно-негаданно вышел я на «шаламоведа», поэта, и жену его А. Нерсисян, видимо, намеренно поселившихся подальше от «бешеного мира» – в Кологриве. Я спрашивал только одно: каков Кологрив сейчас, сильно ли изменился? Они ответили, что не знают, каким он был в мое время, полвека тому назад. Я написал им вот эту небольшую заметку, назвав ее первой строкой из давней популярной песни: «Городок наш ничего...»

«Городок наш ничего...»

А городок наш от железнодорожной станции – километров 80-90. В хорошую погоду до него можно добраться на дряхлом автобусе с привязанным к заднему бамперу помятым и проржавелым ведром. А зимой, в снежные заносы, – только на лошадке, на санях. Если ночью едешь лесом, бывало, и волчий вой слышался. Поздней осенью до городка тоже нелегко добраться: дожди превращали проселочную дорогу в непролазную грязь. Полуторки буксовали.

В Москве, Ленинграде и других больших городах в конце 40-х – начале 50-х годов, при позднем Сталине, шли идеологические бои и баталии, хлестали то литераторов, то биологов, то «космополитов», то еще кого-нибудь. Помню, как схватились явно деградирующий М. Шолохов и ставший литначальником К. Симонов по поводу псевдонимов. Шолохов намекал: знаем, мол, какие «длинноносики» и зачем под псевдонимами скрываются, а Симонов отстаивал право на псевдонимы. Но у нас в городке все это мало кого «колыхало».

Въезд в городок по тем временам, естественно, был через улицу под названием Советская. Она, пожалуй, была широковата для такого маленького и заброшенного городка, как наш. Застроенная в основном одноэтажными деревянными домами, она сбегала вниз по длинному отлогому холму. У его подножья Советская улица, вроде реки, растекалась, образуя площадь, которая тоже, по обычаю тех времен, почти во всех городах и городках называлась Ленинской. Это – центр городка.

Самое оживленное место здесь – возле старого двухэтажного здания. У входа в него вывеска – «Столовая». Тут всегда на траве или на снегу (если зимой) разбросаны охапки соломы, сена, кое-где – кучки конского навоза. Толкутся люди, стоят запряженные в телеги или сани лошади. Жуя сено, они вздергивают головами, отчего сбруя издает какой-то спе-

цифически деревенский, сыромятно-ременный звук. Теплый деревенский звук... Иногда подъезжают грузовики, но так как их мало, они не меняют сельской картинки окружения здания «Столовой».

Городской же дух слегка царил поблизости, на другой стороне улицы. Здесь располагался «торговый центр». Его составляли два двухэтажных магазина – продуктовых и промтоварных одновременно. В одном правила тетя Августа, в другом – тетя Клава. Обе в передниках не первой белизны. Весы у них старинные, с двумя металлическими «чашками» и чугунными гирями: от 200 гр. до 30 кг.

В магазинах по определенным дням можно было купить черный хлеб, какую-нибудь крупу. Всегда в ассортименте – бутылки дешевой водки, запечатанные коричневым сургучом, консервы – кильки в томате, конфеты-подушечки. Из промтоваров можно приобрести брезентовые плащи, резиновые и кирзовые сапоги, стиральные корыта, керосиновые лампы, лопаты и многие другие нужные в хозяйстве вещи.

Позади магазинов поликлиника – одноэтажный дом внешне барачного типа. Но внутри все прибрано и чисто. Жители городка (а их и пяти тысяч не насчитывалось) – вообще поразительные чистюли. Мыли и терли свои жилища аж до полного блеска. Женщины подоткнут юбки, согнутся чуть ли не пополам, попа вверх, голова вниз, и дряют, дряют полы какими-то специальными скребницами.

За магазинами и поликлиникой – берег реки Унжи. Она сплавная, несудоходная. Всю зиму в леспромхозах валят лес. Потом тракторами тянут бревна к берегу Унжи, а весной, когда в половодье река разливается, она подхватывает их и несет вниз, к «запани», но та уже в Макарьеве. А у нас на берегу – старинные склады. Хотя на некоторых из них все еще висят заржавевшие замки, но склады эти уже давно не используются: они пусты. Покосились, потрескались за многие годы от солнца, ветра и снега бревна, доски их утратили всякую

окраску, а потому складские стены стали совершенно бесцветными. Рассказывали, что когда-то хозяином складов был лесопромышленник Василий Цветков, которому принадлежал и побочный – «гастрономический» бизнес. Местные бабы собирали грибы и ягоды, которых в этих местах – пропасть. Потом производили отбор самых лучших, особым способом их закладывали в специальные бочонки и отсылали в Петербург и Москву на продажу. Говорили, что Цветков поставлял свою изысканную продукцию даже к царскому столу. В революцию дело его, конечно, раскурочили, а сам он с семьей исчез где-то в нездешних, дальних местах.

От старинных складов тянется дорожка с установленными на ней скамейками. Это, можно сказать, городская прогулочная набережная. Ведет она к единственному в городке кинотеатру. Работал он исправно – три раза в неделю, хотя электричества в городке нет. То есть электропроводка существовала, но в дома свет подавался только по революционным праздникам. Кино же имело собственный движок.

За кинотеатром прибрежная сторона площади кончается. Она сужается и превращается в улицу Кирова, идущую вверх. С площади хорошо видно то, что когда-то там, наверху, было большой церковью. Ее уже давно превратили в МТС, загрязнили, захламили. Вокруг – трактора и другие сельхозмашины, заброшенные или стоящие на ремонте. Пожалуй, это самое грязное место в городке.

Здесь улицу Кирова пересекает улица Трефилова, названная так в память местного уроженца, представителя «красы и гордости русской революции» – кронштадтского матроса-большевика 1917 года.

На Кировской улице, в двухэтажном кирпичном здании, размещается краеведческий музей. До революции здание строилось как вокзал. Некий купец Михаил Громов вознамерился подвести к городку железнодорожную ветку, но что-то помешало. А после революции здание превратили в музей. Очень интересный, но всегда малолюдный.

За музеем – короткий тупичок, спускающийся к глубокому оврагу. Здесь очень красиво осенью. Уже опадает лист, но кроны старых деревьев еще густы, они соприкасаются друг с другом, и ты идешь словно по крытой аллее. В этом тупичке – Дом культуры с большой хорошей библиотекой. В отличие от музея, в ней всегда люди. Жители нашего городка – книгочеи. Кроме того, при Доме культуры – хор, в который чуть ли не в обязательном порядке записывали молодых преподавателей двух городских школ и педучилища.

Странновато, но факт: присутствие органов власти нашего районного городка было малозаметно. Даже по праздникам мало красных флагов, не проводилось и никаких митингов. Вообще политика не очень-то волновала и беспокоила обитателей городка. Жизнь делилась надвое: «до войны» и «после войны». Но никто не ждал, что теперь, после войны, она станет намного лучше. Уже родился народный лозунг: «Лишь бы не было войны».

Секретарь райкома партии Павел Иванович Груздев, наверно, больше всего был озабочен не городком, а районом: селами и деревнями. После войны многие из них находились в таком запустении, что иной раз без слез нельзя было и смотреть.

Один хорошо знакомый агроном, «выпимши», как-то сказал мне:

– Знаешь, ничего из этого нечерноземья уже не выжать. Бросить его к едрене фене и уйти. А то как у Салтыкова-Щедрина получается: хотим превратить убыточное хозяйство в прибыльное, ничего в оном не меняя.

– Да на что менять-то и как? Все ведь может полететь кувырком...

– Ничего не полетит, если с умом...

Другая, небережная сторона площади, начиналась домом, в котором находился Народный суд. Дальше шли обычные жилые строения, и только в крайнем из них, почти рядом со «Столовой», находился «Райпотребсоюз».

А в центре площади – скверик с типовой фигурой Ленина (рука вождя, указующая вперед). Было немного смешно: вождь как бы приглашал двигаться по направлению ко все той же «Столовой». Этим «ленинским путем» мы частенько хаживали с моим другом по педучилищу Борисом Бочиным.

Вскоре после приезда на работу в училище я по какому-то поводу зашел к нему. За столом сидело несколько человек, в том числе трое наших молодых преподавательниц. Вот кому, наверное, было скучно и грустно в городке – это уж точно им. Не только женихов, но и ухажеров надежных в городке было мало: война унесла. И сидели они, бедные, и разались с мужиками в картишки.

Бочин радостно приветствовал меня:

– Садись с нами, мы тут играем в очко.

– Да я не умею.

– Не умеешь? Это зря. Учись. В тюрьме пригодится.

Бочин был потомственным жителем городка. Тут, а также и в окрестных селах его знали все. Он родился в 1916 году, и в армию его призвали еще до войны. Зачислили в конвойные войска. Перевозили они арестантов: уголовных и политических – в стране как раз шел Большой террор.

– Чего я нагляделся-насмотрелся, – рассказывал он мне, – об этом лучше не говорить... Что многие конвойные творили, что уголовные проделывали с политическими – одна жуть. Уголовные, бывало, даже страшнее конвойных.

– А ты? – как-то спросил я.

– Нет, меня Бог миловал. Я все время в наружной охране был. Нет, Бог отвел.

Не знаю, правду он говорил или нет. Нрав он имел странный: то тихий и даже деликатный, то крутой.

В Отечественную войну воевал в пехоте, бежал из плена, был в партизанах, имел боевые награды, но не надевал их. На лацкане пиджака у него были лишь две полоски: красная и желтая. Тогда такие полоски еще носили: красная означала тяжелое ранение, желтая – более легкое.

– Мужик войну выиграл, – говорил он мне, – мужик. Буди не мужик... И суровость. Вот послушай такое дело. В 1944 году, уж совсем поздней осенью форсировали мы реку. Снег шел, вода холодющая, пронизывающий ветер. Мы по плечи в воде стояли – все больше деревенские мужики, – на руках держали сколоченную из бревен переправу: по ней войска и легкую технику перебрасывали на другой берег. Таких «мостов» три было. Командир корпуса лично руководил, подгонял: быстрее, быстрее, братцы!! Ранен он был в ногу, стоял, опершись на палку. Какая-то часть затыркалась, он крикнул офицера и палкой прямо по лицу его хлестанул! Сам видел. Так-то, брат...И вмиг разобрались! Пошли. Считай, в лед, а что делать...

Мы с Бочиным нередко бродили по улицам городка. Обычно он для начала затаскивал меня в «Столовую». Ее заведующая тетя Паня впускала нас в «боковушку». Это была особая комната для местного и приезжего начальства. Простой народ выпивал и кормился в общем помещении. Еще одно отличие «боковушки» – меню, лист из школьной тетрадки, на котором подслонявленным карандашом перечислялись имеющиеся блюда. В общем помещении меню не предлагалось. А меню в «боковушке» иногда вызывало улыбку. Как-то раз это меню предложило посетителям «суп-пинзон». Совместными усилиями выяснили, что имелся в виду «суп-пейзан» т.е. суп по-крестьянски. Чтобы не обидеть тетю Паню, ничего ей не сказали, исправили.

Тетя Паня была добрая и работающая женщина. Как и большинство других. Вот моя хозяйка, у которой я «стоял на квартире», – Августа Ивановна. Никогда она не жаловалась на жизнь, на судьбу. Муж ее умер, дети (сын и дочь) разбежались, мать не навещали. Сын где-то не столько работал, сколько пил. И жила она, уже немолодая, одна. Держала корову, поросенка, кур, был у нее и небольшой огород. Никаких денег за дары со своего огорода она не брала, если ей предлагали, махала руками: «Будет вам! Какие еще деньги! Кушайте на здоровье».

Мы частенько сиживали в «боковушке», толковали, выпивали каждый свою дозу и обычно шли на площадь, в скверик.

Как-то раз я предложил пойти в кино. В этот день показывали трофейный немецкий фильм «Жизнь Рембрандта». Я видел этот фильм еще в конце войны, и он произвел на меня тогда сильнейшее впечатление. Бочин согласился пойти посмотреть. По пути я стал рассказывать ему то, что помнил из фильма.

– Рембрандт – величайший художник. Он умел передать тончайшие человеческие чувства и переживания. Был богат и прославлен. Но потом судьба отвернулась от него. Умерла любимая жена Саския, затем сын и другие близкие. Рембрандт стал беден, фактически полунищим. Многие его картины свалили на чердак большого дома, который когда-то принадлежал ему. И вот однажды, старый и больной, он пошел...

– Обожди, – прервал мой рассказ Бочин, тронув за рукав. – Вон двое моих знакомцев из суда выходят. Узнаем, в чем дело. Смирнов! Леха!

Два невысоких мужичка в телогрейках, сапогах и замызганных фуражках со сломанными козырьками остановились и направились к нам.

– Вы чего по судам бродите в рабочее время? – спросил их Бочин, когда они подошли.

– Суд нам был, – сказал тот, которого Бочин назвал Лехой.

– Да ты что? За что же вас, сирых? Кровянку кому пустили? Непохоже на вас.

– Да не. Бревна вон по весне со сплава потаскали завмагу Хромову в Краснухе. Он новый дом ставить задумал, нас и подговорил за три бутылки.

– Много уперли?

– Не... Мент с третьего лесхоза нас накрыл. Хромов ему наши бутылки отдал, а тот ему бревна-от и оставил. А нам теперь чалиться.

– Сколько ж вам припаяли, грешники?

– По пятаку, вишь как.

Бочин присвистнул, я же на минуту просто оцепенел. И не столько непомерный срок наказания, сколько спокойствие, казалось, даже равнодушие, с которыми эти мужички говорили о том, что их ожидает, поразило меня. Как будто они просто переходили на другую работу.

– А чего вас отпустили ?

– До вечера, – ответил Леха. – Куды мы денемся? Сейчас домой зайдем, кой-чего из одежки возьмем, харчей, махорки тоже. Курить страсть охота, ан нечего. У вас часом нету?

Мы разом протянули им свои уже открытые пачки «Примы». Заскорюзлыми пальцами они никак не могли сразу вытащить из пачек сигарету.

– Да берите все...

– Ну, дай Бог. Прощевайте, ребята. До встречи.

Они подтянули мешки на спинах и пошли. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду...

– Ну, пошли в кино, что ли, – сказал Бочин.

– Тяжело...

– Что тяжело?

– Это ж надо, с каким спокойствием и смирением мужики эти идут в ад...

– Так уж и в ад. Они как с фронта-то пришли, с тех пор в лесу и работали, на лесоповале. И в лагере наверняка их на лесоповал погонят. Выдюжат, народ битый, привычный. Ничего.

...Последние кадры фильма. Рембрандт, нищий, немощный, идет в свой бывший дом и просит привратника проводить его на чердак. Вот они бредут там в потемках среди груд хлама, и Рембрандт свечой освещает путь. Рукавом стирает пыль, густо покрывающую какую-то картину. Проглядывает лицо старика. Это автопортрет его, Рембрандта. Последний автопортрет. На усталом лице – спокойствие, смирение перед судьбой. Рембрандт поближе подносит свечу, всматривается и тихо-тихо смеется старческим дребезжащим смехом.

– Чему смеешься, старик? С ума сошел? – спрашивает пораженный привратник.

– Я понял, – тихо отвечает Рембрандт.

– Что ты понял?

– Я все понял, – говорит Рембрандт и задувает свечу. Темнота. Конец фильма.

Мы шли домой, а в голове моей мешались Рембрандт, колеблющийся огонек свечи, которую он держал в руке, осужденные мужики с мешками за плечами.

Прошло, кажется, полгода. Однажды ко мне в комнату, которую я снимал у тихого и доброго старика Алексея Алексеевича Жохова, просто ворвался уже подвыпивший Бочин.

– Слышал?! – крикнул он.

– А что?

– Мужичков тех двоих, с которыми мы осенью толковали, помнишь? Которым по пять лет тюрьги впаяли?

– Ну?

– Нету их больше. На пересылке поспорили они о чем-то с урками, а те финки припрятали. Погибли наши мужички, поминай теперь, как звали.

– Да что ты?

– Пошли в «боковушку», помянем. Хорошие были ребята. Фронт прошли, и ничего, а тут... Видишь, как бывает...

Тетя Паня, когда мы пришли в «Столовую», объяснила нам, что «боковушка» занята: гуляют комсомольцы из райкома.

– Ничего, – сказал Бочин, – мы и в столовой. Нам только помянуть надо.

– Кого ж это?

– Леху Репина и Пашку Смирнова. И еще Рембрандта.

– А это кто ж такой?

– Тоже один хороший мужик был. Тяжелую жизнь прожил.

– А легкая она разве бывает?

– Во, во, и он так думал. Царствие всем им небесное.

Тетя Паня перекрестилась.

Мы пошли к реке, сели в стоявшую на берегу чью-то лодку. Рядом смолил свою лодку директор музея Камайский. Я подошел к нему. Разговорились, я рассказал о двух встретившихся нам мужичках, о фильме «Рембрандт».

– Какие страдания и муки пришлось пережить гениальному художнику, чтобы прийти к мысли о смирении перед судьбой, а вот простые мужики вроде бы и родились с этой мыслью...

– У наших мужичков, – сказал Камайский, – смирение, а может, покорность, как у природы, как вон у этой реки. Да они сами как часть природы...

Он замолчал и снова принялся за свою лодку. Потом, подумав, сказал:

– Но смирение-то у них до времени. Ледоход на реке слышали, видали? Как пушки грохочет. Так-то и с этим смирением бывает. До времени. Нужны только особые, бунташные люди, заводилы.

– Пугачев ?

– Ну да, вроде него. Пугачев, Разин. Много их.

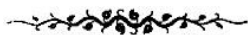
Мне вдруг пришла мысль, что Камайский чем-то внешне похож на Рембрандта, и я сказал ему об этом. Он засмеялся:

– Значит, мы все тут на него похожи: круглолицые, широконосые... Вон как у Бочина: в зеркале не помещается. И ни одного Рембрандта. Впрочем, есть тут в одной деревне художник... Интересный мужик! Рембрандт не Рембрандт, но талант. Приходите в музей, покажу его работы.

Легкий ветер гнал по хрустальной воде мелкую зыбь и доносил освежающий дух соснового бора, темневшего вдаль на том берегу. На городок начали опускаться сумерки.

Мои кологривские корреспонденты ответили, что Кологрив, конечно, за полвека изменился, но, на их взгляд, мало. И меня посетила шальная мысль: а может быть, это и хорошо? Кологрив красив своей первозданной природной красотой. Он и есть истинная красота России.

**СНАЧАЛА
СОЧТЕШЬ ТЫ
КАМНИ...**



Возвращение и «Дело врачей»

...И настал день, о котором я думал и мечтал, уезжая впервые в Кологрив: день, когда было сказано – можешь вернуться домой. Пришла бумага из ОБЛОНО, извещавшая, что с нового учебного года набора в педучилища и учительские институты не будет, т.к. в перспективе они подлежат закрытию: подготовка учителей всех классов школы отныне будет вестись в педагогических вузах.

Практически это означало, что учебная нагрузка уже в предстоящем учебном году сократится и далее это сокращение пойдет по нарастающей. Я был приезжий, а уж если кого можно было сократить с наименьшим ущербом, то, конечно, меня.

– Ну, – сказал Кудрявцев, – что будем делать? Хотите остаться – оставайтесь. «Часы» найдем. А дальше будет видно. Не хотите – отпустим.

Вот натура человеческая! Пытается всеми силами вырваться из запрета, а как запрет снимается и говорят человеку: иди, шагай, бери это «запретное», – он начинает колебаться.

Лежа в своем «жоховском пенале», я размышлял. По газетным сообщениям, а больше по письмам из Москвы от Виталия Свинцова, я знал: идеологический винт там завинчивается по самую шляпку, и скрип от этого все сильнее. Было ясно: Москва меня не ждет и, скорее всего, встретит хмуро, а то и сурово. А Кологрив уже почти стал своим, я привык к нему, к училищу, его людям: Бочину, Репину, Кудрявцеву, другим. Смешно, но мне казалось, что они могут обидеться на меня, если я уеду. При мысли об этом начинало даже шевелиться чувство вины... Но в Москве – родители, друзья, закадычный мой товарищ Виталий. Он уже заканчивал философскую аспирантуру, женился и даже стал молодым отцом. В Москве будет тяжело? Наверное, так. Но мне – всего двадцать четыре года, и я вспоминал А. Твардовского:

*Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы – не помрем!*

* * *

В Москву я приехал поздней осенью 1952 года. Работу не искал: отгуливал положенный мне отпуск, а когда приступил к поискам, понял, что наткнулся на стену. Да не я один. В школах повсюду был перебор учителей-историков. Можно было только, если повезет, устроиться куда-нибудь на замену больных или учительниц, находившихся в декретных отпусках. Но и эти места были «под прицелом»: уходившие, как правило, передавали их знакомым или родственникам, которым верили, что они по возвращении «штатных» освободят данное им на время и уйдут.

Время было нелегким, полным каких-то нехороших ожиданий. В эти дни я находил поддержку у институтского преподавателя методики истории (он заведовал кафедрой) и руководителя нашей студенческой педагогической практики в школе на Усачевке Петра Васильевича Горы. С женой Валею они жили на Красносельской, и я в часы уныния навещался к ним. Они всегда встречали меня по-доброму. А однажды Гора сказал :

– У меня есть друзья, по работе связанные с самим вице-президентом Академии педагогических наук, профессором Корниловым. Он знаменитый психолог, авторитетнейшая личность и, говорят, добрейший человек. Можно сделать так, чтобы он принял тебя. Расскажешь о себе, попросишь помочь с работой.

Шел я к Корнилову на Якиманку с трепетом: никогда в жизни не был у людей такого высокого положения. Немного обождал в приемной, и вот передо мной крепкий старик с седыми буденновскими усами. Говорил он со мной недолго. Взял лежавший на столе плотный лист бумаги, что-то долго

писал и вручил его мне. Выйдя в тенистый академический двор, я сел на скамейку, развернул бумагу и прочитал:

Рекомендация

Настоящим удостоверяю, что податель сего Генрих Зиновьевич Иоффе лично известен мне как бывший студент Московского педагогического института им. Ленина, работавший в этом институте в течение четырех лет как студент, закончивший курс обучения с отличием.

Как профессор этого института могу сказать, что Г.З. Иоффе является хорошо образованным, очень старательным в работе и безукоризненно-честным молодым человеком, комсомольцем. Могу со всей ответственностью рекомендовать его на педагогическую работу в школе.

*Действительный член Академии педагогических наук,
депутат Моссовета, профессор К.Н. Корнилов*

Корнилов, конечно, знал, что писал. Честность рассматривалась как одно из высших достоинств человека. Храню этот автограф по сей день...

В этих хождениях я неожиданно встретился со своим одноклассником Феликсом Летушевым, который по окончании института был распределен в Калугу и теперь тоже вернулся. Стали ходить вместе. В школах было глухо. Решили махнуть на них рукой, пошли по редакциям газет, издательствам. В газетных редакциях Феликсу, казалось, должно было светить больше. В институте он был довольно известным спортсменом, бегал дистанцию 400 метров, как тогда говорили, по первому разряду, т.е. приближался к нормативу мастера спорта. Он рассчитывал, что в какой-либо газете его могут взять спортивным корреспондентом. Не получалось. Что-то вдруг мелькнуло в Детгизе. Там в кадрах длинный, худющий человек весело принял нас, называл «ребятеж» и заверил, что такой «ребятеж» в издательстве

нужен, например, в корректорской, велел зайти через неделю. Потом еще через неделю, через две, через «месячишко», и на том все кончилось. А мы уже ходили радостные...

Тогда в Москве в людных местах – на трамвайных и троллейбусных остановках, в парках, скверах и др. – стояли или висели на заборах специальные стенды, на которых (под стеклом) вывешивались центральные газеты. Ближайший к нашему дому такой стенд висел на трамвайной остановке на углу Трифоновской улицы и Орловского переулка. Утром 13 января 53-го года, направляясь на очередные поиски работы, я остановился у этого стенда. Около него толпились люди, и я не сразу протолкнулся к газете. В ней было напечатано сообщение ТАСС об аресте группы врачей, находившихся в заговоре с целью убийства руководителей партии и правительства.

Толпа читала это сообщение молча, мне не запомнилось никаких замечаний или восклицаний. Подходили трамваи, и люди торопились сесть в вагоны. Было холодновато, падал небольшой снежок. В перечне «врачей – убийц в белых халатах» значились и русские фамилии, но преобладали все же еврейские. Подошел очередной трамвай, но я в него не сел: решил возвратиться домой. Что означало это сообщение, в том числе для таких, как я, понять было нетрудно.

Впоследствии, после смерти Сталина, а еще больше в горбачевско-ельцинские годы, о «Деле врачей» писали очень много. Немало авторов утверждало, что это «Дело» являлось лишь началом, прологом масштабной антисемитской кампании, финалом которой должно было стать поголовное выселение евреев в Сибирь и другие отдаленные места и даже чуть ли не второй Холокост.

Если бы это было так, то происходившее зимой 1953 года, чему я оказался свидетелем, не могло быть не отмечено, назовем это так: предварительной подготовкой. Ее не было. В нашем окраинном районе Мещанских улиц еврейские семьи

жили по-прежнему, хотя, конечно, бытовой антисемитизм усилился, это факт. Он, однако, не перерастал в нечто подобное погромам, избиениям и т.п.

Да и как можно было практически выселить евреев, живших не концентрированно, а рассеянно. Гетто в советских городах не существовали.

ШРМ

Муж моей двоюродной тетки Андрей Захарович Дмитриев как-то сказал мне:

– Напрасно ты ходишь со своим Феликсом по отделам кадров. Одного бы, может, и взяли, да перед другим вроде бы неловко. Мешаете вы друг другу, а больше, если сказать честно, мешаешь ты ему. Понимаешь, почему?

Андрей Захарович знал, что говорил. Он вместе с моей теткой – Верой Григорьевной – работал в Мосгорфинотделе и чиновничью психологию знал до мозга костей.

В очередную встречу с Феликсом я рассказал ему об этом разговоре, прямо добавив, что меня теперь «по пятому пункту» не возьмут, и этот пункт, когда мы вместе, отбрасывает тень и на него. Разговор шел на ходу, и Феликс, выслушав мой монолог, даже остановился.

– Ты что, совсем, что ли? – он покрутил пальцем у виска. – Как ходили на пару, так и будем ходить. Слушай больше всяких Андрей Захарычей.

Но оба мы – и я, и он – понимали: Андрей Захарович прав, ничего тут не поделаешь. Последний раз вместе мы забрели в театр им. Моссовета на площади Маяковского, в котором требовались рабочие сцены. Нас не взяли: кадровик сказал, что не имеет права оформлять на такую работу лиц с высшим образованием. «Поисковые» действия наши на этом

разошлись, но не дружба. Феликс Летушев все-таки стал спортивным журналистом, и мы часто встречались с ним.

Вскоре я испытал тяжелый удар: умерла Лина Македонская – наша добрая хозяйка во флигельке Спасо-Песковского переулка, переживавшая когда-то всю эту бездарную космополитическую «зачистку» в пединституте. Разыскал ее мужа – Даниила Вексельмана. Он был инженером-турбостроителем, работал на Кузнецком мосту. После смерти Лины стал попивать. И тут я, как безработный, оказался ему подходящим партнером. Вечерами мы заходили в пиво-водочные ларьки, которых тогда в Москве было полным-полно, и «принимали» не такую уж и малую дозу. Вексельман был довольно задиристым парнем, что при его типично семитской внешности являлось в те дни небезопасным. И, бывало доходило до крутых драк «с кровяной». Однажды утром, увидев меня «разукрашенным», пришедший в негодование отец закричал:

– Ну, кончено! Пойдешь на любую работу!

Я вспомнил, что инспектор Мосгороно когда-то направлял меня в Мособлоно. Побрел на Садово-Каретную. Там мне сразу предложили место в любой из сельских школ Зарайского района. Но дома я сказал:

– Нет, зачем мне этот Зарайск? У меня в запасе Кологрив. Вернусь туда...

И дал телеграмму в училище. На другой же день пришел ответ: «Полную недельную нагрузку гарантируем. Приезжай. Кудрявцев». Я стал собираться.

В этот самый момент казалось бы уже непробиваемая стена дала трещину! Тетка моя, Вера Григорьевна, по телефону попросила срочно приехать к ней, в Мосгорфинотдел, на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы. Она вышла мне навстречу в одном из темных коридоров.

– Знаешь, где Гагаринская улица, у метро «Кропоткинская»? – сказала она. – Вот поезжай сейчас же туда. Там на

Гагаринской есть школа рабочей молодежи. Найдешь директора, запомни – Софья Марковна Гольман. Если в кабинете у нее никого не будет, скажешь, что от меня. Если будет кто-то еще, не говори. Я потом сама ей скажу. Там требуется историк. Поезжай, потом сразу поговорим.

Я знал, что Вера Григорьевна работала в отделе финансирования здравоохранения и школ. Отсюда, видимо, и протянулась ее ниточка к школе рабочей молодежи и к ее директору. Школ рабочей молодежи было тогда много в Москве. Работали они вечерами. Звали их сокращенно – ШРМ. Не без волнения направился я к неведомой мне пока Софье Марковне Гольман, которая со своей школой сыграет огромную роль во всей моей жизни. Оказалась она подчеркнута строгой женщиной типично учительского вида, с густыми черными с проседью волосами, забранными на затылке в большой пучок.

В комнате Софья Марковна находилась одна, и я сразу же сказал, от кого я. Она как будто бы чуть-чуть смягчилась, но от строгого делового тона не отступила. Расспросив меня обо всем, сказала:

– Вас, наверное, не устроит то, что мы можем вам предложить. Десять часов в неделю – это меньше, чем полставки.

– Устроит, устроит, – поспешил заверить ее я. – Вполне устроит. А там, в будущем...

Мне показалось, что Софья Марковна понимающе вздохнула.

– Ну, если устроит, давайте документы...

И я не поехал в Кологрив. Что подумали обо мне Бочин, Кудрявцев, Репин и другие – не знаю. Но я и по прошествии более чем полувека думаю о них с любовью. И вот вижу бочинскую «избушку», врытую в высокий песчаный берег, на верху которого шумели и, конечно, шумят старые сосны кологри-

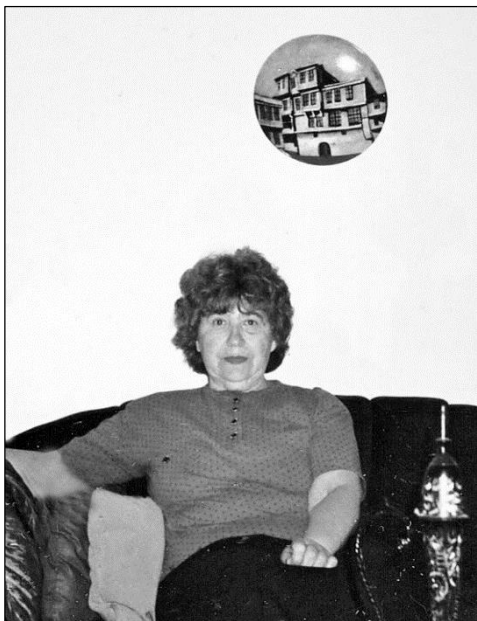
вского кладбища. А на другом, пологом берегу, куда только хватает глаз, – все луга и луга. Здесь, у реки Унжи, – излучина, поворот, а дальше она выходит на прямую и течет плавно, но быстро. В начале лета Унжа еще довольно глубока, но сквозь ее чистую, как хрусталь, глубину виден золотистый песок дна. Россия...

Я проработал в этой школе несколько лет, у нас там было много молодых преподавателей, и мы между собой называли Софью Марковну «комсомолкой двадцатых годов». Она и являлась таковой со всем тем, что было присуще многим комсомольцам тех лет: это преданность общественному долгу, который ставился выше личного, бескорыстность, предельная честность.

Десять уроков в неделю – это мизер, гроши. Тем более, что судьба моя в ШРМ Софьи Марковны Гольман круто изменилась. В школе было несколько преподавательниц комсомольского возраста. Райком распорядился составить из них группу. Секретарем выбрали меня. Что следовало делать, я не знал. Однажды предложил всем пойти на каток в парк ЦЛКА. Согласились, но выяснилось, что кататься никто из моих девиц совершенно не умеет. На льду медленно, со значением раскатывался известный артист В. Зельдин, за которым увивалась стайка каких-то девчонок. Смотрю, и шаэремовские комсомолочки во все глаза глядят на артиста, мало внимания обращая на мои конькобежные уроки.

Дальнейшая работа свелась к сбору незначительных членских взносов и сдаче их во Фрунзенский райком комсомола. С каждым годом по крайней мере «низовая» комсомольская деятельность все больше и больше выхолащивалась.

Между тем, одна из моих «комсомолочек» внушала мне отнюдь не только чувство комсомольского товарищества. Это была преподавательница французского языка Роза Пружанская. Школа работала по вечерам, и уроки заканчивались поздно. Я ждал ее в темном школьном дворе, но она всегда выходила не



Моя жена Роза Пружанская

Прошло какое-то время, и я уже не выходил на своей станции «Комсомольская». Вместе мы ехали до ее станции «Таганская», и я поворачивал обратно.

Она не была москвичкой. Родители жили в городке Климовске, рядом с Подольском. На жительство к себе ее приняла землячка, хорошо знакомая климовчанка тетя Паня. Она жила в доме на Воронцовской улице, недалеко от часового завода. Воронцовскую я осваивал долго. Мы медленно, словно прогуливаясь, шли по ней, разговаривая о разном, но больше всего, конечно, о военных годах. Ее отец был военврач и всю войну провел во фронтовых госпиталях. Мать – тоже врача – мобилизовали в первые дни войны, и она с двумя дочерьми и своей старой матерью была отправлена в сибирский госпиталь, на Оби. И однажды Роза рассказала мне необычайно волнующую историю.

одна, а с кем-нибудь из учителей. В пальто с белой меховой опушкой на воротнике и в такой же шапочке типа «Снегурочка».

Постепенно сопровождавшие ее, видимо, заметили мое «крейсирование» у выхода из школы и предупредительно расходились. Тогда я обрел возможность сопровождать «фран-цуженку» до метро «Кропоткинская».

Роза и комиссар

Хуже названия села, возле которого обустроился наш подмосковный эвакогоспиталь, придумать, пожалуй, трудно: Мочище. Зато красивей этого места тоже, наверное, нелегко найти. Крутой берег стремительной, широкой Оби, острова на ней, летом утопающие в зелени, птицы поют на разные голоса... Все в ярких цветах, по-местному жарках, саранках, кругом – леса...

Что за население жило в поселке – я точно не знаю. Может, ссыльные издавала, а может, как тогда говорили, раскулаченные местные. Бедность, нищета – жуткие. Жили в домах, которые правильнее назвать землянками. Окошки на уровне земли, покосившиеся крыши, покрытые кусками ржавого железа, гнивающими досками.

Питались картошкой с собственных огородов. Она спасала: родилось ее в сибирской земле много, крупной, вкусной.

Дорога в школу из госпиталя в поселок – километра четыре. Осенью, и особенно в снежные или морозные зимние дни, – нелегко даже нам, мальчишкам и девчонкам. Было всего три класса – 5-й, 6-й и 7-й. В 5-м учились и переростки лет четырнадцати-пятнадцати. С первых учебных дней я оказалась в аду. Началось после того, как классная руководительница зачитала список фамилий и имен наших семиклассников и назвала мои: Роза Пружанская. В классе, не таясь, захихикали, а некоторые и загоготали. Соседкой моей по парте была Верка Жеребцова (фамилию «Жеребцов» или «Жеребцова» носило, наверное, полсела) – курносая девчонка с двумя мышинными косичками на плечах. На другой день, перед началом урока, она громко обратилась ко мне, имитируя еврейский акцент:

– Сарочка, мама дала тебе с собой курочку? Ты будешь сейчас ее кушать или потом?

Дружный смех встретил ее слова. Смех и мат, бывший в классе обычным. Матерились все: и мальчишки, и девчонки.

*Так продолжалось почти каждый день. Меня назвали Са-
рочкой, спрашивали с раскатистым «р» про курочку, говорили
про жидов, воюющих на «ташкентском фронте», но набор обид-
ных и оскорбительных замечаний в общем был невелик.*

*Дома я плакала и однажды, не выдержав, рассказала все
маме. Наутро, взяв меня с собой, она пошла к комиссару гос-
питаля, подполковнику Николаю Ивановичу Голосову. Лет
пятидесяти, он был невысокого роста, сухощавый, с хмурым
лицом. Носил уже поношенную форму, перепоясанную рем-
нем с портупеей. Армейская фуражка на нем тоже была
старой, с примятыми боками, как у Фурманова в фильме
«Чапаев». Ходил он, слегка прихрамывая, опираясь на палку.*

*– Это ничего, – сказал комиссар, выслушав маму. – Это
мы разберемся.*

*Он курил самокрутку, глубоко затягиваясь и держа ее
большим и указательным пальцем внутри полусогнутой ладони.*

– Это мы разберемся, – повторил он.

*Комиссар пришел в класс один перед звонком на урок.
Снял фуражку, поставил палку у первой парты, сел за сто-
лик, положив на него руки, сжатые в кулаки. Лицо его было
более хмурым, чем обычно.*

*– Я человек военный, – сказал он, – говорю все прямо и
сразу. Без предисловий. Доложили мне, что вы тут жидоед-
ством занимаетесь. Вон девчушку Розу Пружанскую, счи-
тай, затравили. Не любите евреев – да или нет?*

*Класс затих. Я видела, как в открытую форточку влетела
пчела, поползла по оконному стеклу и, пытаясь улететь, уда-
рялась о него. Я пристально следила за несчастной пчелой,
ничего больше не видя и ни о чем не думая...*

*– Дак кто мне ответит? – спросил комиссар. – Боитесь,
что ли?*

Где-то позади хлопнула откидная крышка парты. Васька Жеребцов, переросток, кажется, второгодник, выпрастывал длинные ноги из-под сиденья. Встал вяло, как-то безразлично.

– А чего бояться? Жидов любить не за что. Они тут мужиков шестерили... Отец мне говорил.

– Отец? – резко перебил комиссар. – А где отец?

– Как где... Где все. На фронте, воеет.

– Письма мать давно получала?

– Не. Пришло посла пасхи. Из госпиталя. Ранен был...

Комиссар поднялся, отодвигая стул.

– А у этой девчонки, – заговорил он, кивнув в мою сторону, – отец с первого дня войны на фронте – и ни единой строчки. Мертвый, живой? А если был живой, может, это он, военврач второго ранга, твоего батьку от смерти отвел? А может, руку или ногу ему спас? Вернулся бы твой папаня калекой, что тогда? Теперь возьмите мать этой девочки. Тоже военврач, в любую погоду, в стужу, метель, осенью в грязь по колено торопится к ранбольным. Молодая еще женщина, красивая, а все время – в ватнике, в валенках либо в резиновых сапогах. Воинский долг свой выполняет безупречно, несмотря ни на что...

Тишина не проходила. Набывчившийся Васька по-прежнему стоял у парты. Я неотвязно следила за пчелой. Она, наконец, доползла до форточки и улетела.

– Чего стоишь? – сказал Ваське комиссар. – Садись. И вот я хочу вам сказать: придут отцы с передовой, посмотрят, как вы тут живете холодно и голодно, скажут – нет, так больше жить нельзя. Надо строить новую жизнь. А кому строить? Вам, больше никому...

Он закашлялся сухим кашлем старого курильщика и, уже надевая фуражку, произнес хрипло:

– И вот я, старый офицер, бывший фронтовик, приказываю вам и прошу...

Что-то, видно, помешало ему продолжать. Он взял палку и, опираясь на нее, ушел из класса.

Ваньки Леонтьева не было в школе, когда приходил комиссар. Явившись на другой день и увидев меня, он весело крикнул:

– Сарочка! Твой папа, говорят, вернулся с ташкентского фронта. Много урюка привез? Угостила бы!

Никто не подхватил его веселого крика. Все, словно ничего не услышав, занимались своими делами. Поднялся с последней парты и пошел к Ваньке Ленька Нестеров, небольшого роста, коренастый паренек, всегда почему-то носивший красноармейскую каску. Это было странно, но никто, даже учителя, не делали ему замечаний. Так, в каске, он сидел и на уроках. Теперь, косолапо ступая, он подошел к Ваньке, поправил на голове свою каску и, не размахиваясь, ударил его в лицо. Удар пришелся в переносицу, Ванька упал, размазывая по лицу кровь. Нестеров повернулся и, не оглядываясь, так же косолапо направился на свое место.

Прошло время. Война двигалась к победе. Мы возвращались в Москву. Я пошла к комиссару прощаться.

– Ну, прощай, дочка, – сказал он, положив мне руку на голову. – Знаю, что было трудно, да что подделаешь. А на ребят ты не сердчай, они не злые. Сама видишь: плохо живут, хуже некуда. Вот после войны жизнь переменится, тогда, может, и разговоры и дела пойдут другие. Не знаю... Много еще придется хлебнуть. Ну, счастливо тебе.

Дома в почтовом ящике я нашла открытку с красотами Байкала. Я перевернула ее на другую сторону. На ней было написано: «На долгую память Розе Пружанской. Жеребцов Николай, Нестеров Леонид. Село Мочищи Новосибирской области, 1944 год». И ниже приписка: «Положь подале».

Я выполняю пожелание Жеребцова Николая и Нестерова Леонида. Храню их открытку.

Перед тетей я Паней предстал, наверное, через год. Это была пожилая сухонькая женщина, совершенно седая и с прищуренными хитренькими, лисьими глазками. Этими своими глазками она не только ощупывала меня с ног до головы, но, казалось, проникала глубоко внутрь. В конце концов она, по всей вероятности, поставила на мне «разрешительную печать». Домой я возвращался уже глубокой ночью. Никакой городской транспорт не работал. Я бодро и весело шагал в одиночестве почти через всю пустынную, затихшую Москву, и ни разу не произошло каких-либо инцидентов. Милиция работала отлично. В то время Москва была очищена от хулиганья, воров и проституток.

Мы не бывали в ресторанах. Это считалось предосудительным, да и было совсем не по карману. Мы ходили в кино. То было время, когда на советские экраны ворвались фильмы итальянского неореализма. Многие из них потрясали. Там была правда, неприкрытая, неподслащенная; люди обычные, простые, такие, как мы – бедные, не знающие, что такое богатство, и не жаждущие его. Нам казалось, что мы видим и нашу жизнь, такую, какой она сложилась после страшной войны. Это были фильмы «Рим – открытый город», «У стен Малапаги», «Похитители велосипедов», «Земля дрожит» и самый мой любимый «Два гроша надежды». И сейчас вижу: вот он, герой фильма безработный Антонио, бежит рядом с повозкой, в которой восседают туристы, помогая лошадям тянуть ее в гору. Он, наконец, нашел себе работу...

Лучшие наши фильмы тех и последующих лет, я думаю, немало взяли от итальянского неореализма: «В огне брода нет», «Служили два товарища», «Весна на Заречной улице», «Живет такой парень», «Осенний марафон», «Мой друг Иван Лапшин» и многие, многие другие. Они тоже незабываемы.

А в начале 80-х гг. я сам соприкоснулся с кино. Произошло это в общем-то случайно. В середине 70-х гг. очень известный режиссер Элем Климов снял яркий фильм «Агония»

– о последних годах российской монархии. Центральной фигурой в фильме был Распутин. Его просто с нечеловеческой силой сыграл поистине великий актер Петренко. Но кинематографическое начальство заблокировало картину. По-видимому, «наверху» не без некоторого основания решили, что зрители могут воспринять крушение показанного в ней монархического «гламура» исключительно как результат появления и тлетворного влияния на трон сибирского «старца». Это не соответствовало марксистскому подходу.

На апробацию и заключение «Агонию» направили в Научный совет по истории Октябрьской революции, которым тогда руководил академик И. Минц и в котором я уже работал.

Академику картина определенно не понравилась. Мне он сказал: «Фильм сжечь, режиссера уволить!»

Но подготовка заключения, которое он должен был подписать, была поручена мне. В нем я советовал Климову внести в картину некоторые небольшие вставки, которые, как я считал, помогут обойти идеологические рогатки. В частности, вводимый в фильм новый персонаж В. Шульгин должен был сказать (и это в действительности он говорил) одному из членов Государственной Думы: «Не в Распутине дело! Это мы, мы (т.е. «верхи») сами негодяи и мерзавцы, пользуемся “старцем” в своих корыстных интересах и компрометируем монархию, верховную власть, приближаем их катастрофу».

В 1981 г. «Агония» вышла на экраны, сначала за границей, где завоевала ряд призов, а с 1985 г. – в СССР. Но Климов был каким-то «погасшим». В 1979 г. в автокатастрофе погибла его жена, тоже кинорежиссер, – Л. Шепитько. Я слышал, как однажды Климов сказал своему другу Ю. Карякину: «Не надо мне было в фильме трогать старца, не надо...»

Неужели и такого умнейшего человека, каким был Элем Климов, личная трагедия заставила подумать о какой-то мистической силе полуграмотного сибирского мужика?

Кроме Климова, я познакомился на Мосфильме с такими прекрасными режиссерами, как Ю. Карасик, Г. Полока, С. Говорухин и др. С Говорухиным довелось встретиться дважды

в начале перестройки, когда он готовился снимать фильм «Какую Россию мы потеряли». По его мнению, мы потеряли страну, уже выходящую на путь прогресса, главным образом из-за ухода (убийства) великого реформатора П. Столыпина и срыва его реформ. Я пытался спорить, говорил, что одной из своих сторон столыпинская аграрная реформа к традиционной для России язве пост-крепостнического землеустройства добавляла и обостряла язву фабрично-заводского пролетариата. Преодоление их являло собой огромную проблему.

Говорухин слушал внимательно, однако провел в фильме свою точку зрения. Он вообще показался мне очень уверенным в себе, сильным, волевым человеком.

Когда я жил уже в Канаде, на Монреальский кинофестиваль (1996 г.) приехали Г. Полока и В. Мотыль – режиссер всеми любимого фильма «Белое солнце пустыни». Моя дочь организовала у нас ужин, и мы до позднего вечера говорили о кино, истории, литературе. Интереснейшим собеседником был Мотыль.

Полока показал свою новую работу «Возвращение броненосца», навеянную эйзенштейновским фильмом «Броненосец Потемкин». В фильме Полоки восставший броненосец возвращается к родным берегам, но времена там совсем, совсем другие. «Революция кончилась, всем можно расходиться». И главный герой фильма в потрепанной буденовке, обветшавшей шинели и рваных сапогах безнадежно бредет по улицам и закоулкам. Глядя на него, ухмыляются новые разбогатевшие хозяева города, свистят и улюлюкают мальчишки... У меня сохранился большой рекламный плакат с теплой дарственной надписью Геннадия Полоки.

Я всегда считал, что исторические фильмы и литература эмоционально много сильнее того, что пишут историки. А у нас было великое кино!

Впрочем, я далеко ушел вперед. «Возвратимся на первое...»

«Тяжкой тачкой руки пачкать...»

А я по-прежнему принимал грошовые взносы и по протоколу сдавал их во Фрунзенский райком комсомола на Смоленской. Принимала их у меня инструктор Тамара Васильевна Голубцова. Девушка, что называется, «в теле», круглолицая, нос картошечкой, и не слишком разговорчивая – то, что как раз во вкусе партработников среднего звена и кадровиков. Все же она как-то сказала, что тоже историк, кончила МГУ и дружила с Софой Пружанской.

– Так это ж сестра моей жены!

С лица Тамары Васильевны сползла партофициальность. Она стала расспрашивать меня, доволен ли я работой в ШРМ и не хотел бы перейти в Библиотеку им. Ленина, где сейчас набирают людей. Я, конечно, сказал «да».

Отделом кадров огромной Ленинской библиотеки, помещавшимся во флигельке церковного дворика на улице Маркса и Энгельса, заведовала совсем маленькая и худющая бабенка со злым лицом по фамилии Любомудрова. Бегло и, как мне показалось, с отвращением просмотрев мою анкету, она направила меня в отдел иностранного комплектования. Он находился в каком-то бетонном подземелье. Руководили им две дамы, и в самом отделе преобладали женщины. Начальницы велели выдать мне длинный черный халат и прикрепили «к тачке». В объемистой тележке с высокими бортами я развозил по 19-этажному библиотечному хранилищу возвращенные читателями книги, журналы, газеты. Такова была моя работа, вероятно, с год. Потом мне дали другую. После XX съезда партии началось частичное освобождение некоторых материалов из спецхрана библиотек. В «Ленинке» из отдела спецхранения перемещались в открытый доступ старые иностранные газеты. Но на каждой газете стоял штамп «спецхран». На нем следовало поставить штамп «погашено». Меня

и перевели на этот участок. Газет было множество тысяч. Надо мной поставили контролера: высоченную дебелую женщину. Я знал, что от нее недавно ушел муж, и не ждал пощады. Так оно и было. Она постоянно проявляла недовольство мной и жаловалась на меня руководящим дамам. Но всему приходит конец. Вот уже и перештамповано все газетное старье, и я на тачке перевез его в открытый доступ. Куда меня теперь? Кто мне в этот момент «подсобил» – не знаю. Только неожиданно я поднялся на целую ступеньку.

А Тамара Васильевна Голубцова сделала просто головокружительную карьеру: со временем стала аж заместителем министра культуры! Она могла быть заместителем любого начальника, но культуры?!

«Новое время» и «История СССР»

Главными фигурами в нашем отделе были комплектаторы. В каталогах иностранной литературы они находили нужные для приобретения книги и отмечали их карандашиком. Для всего остального им придавались помощники. Они должны были выписывать отмеченные книги на карточки, составлять из них картотеки и часами стоять в генеральном каталоге, проверяя, нет ли дубликатов. Я стал помощником комплектатора по английской и американской литературе и так познакомился с «элитой» отдела. Комплектатором германской литературы был старик П.Х. Кананов. В свое время он работал в Коминтерне бок о бок с будущим знаменитым разведчиком Рихардом Зорге и рассказывал о нем немало интересного. Сдружился я и с комплектатором скандинавской литературы С.М. Мирным. Он был дипломатом еще литвиновской школы, долго работал с

А.М. Коллонтай, попал в лагерь, оттуда в войну рядовым добровольно ушел на фронт. Работали в отделе и другие люди, за которыми было очень большое прошлое.

Библиотечные ставки – низкие. Я искал побочную работу. Книга, чтобы получив шифр, встать на свое место, должна проделать не очень короткий путь. Начало этого пути – комплектатор или его помощник. Поступали новые книги и ко мне. Я не обращал на них особого внимания, пока в руках не оказалась книга какого-то английского автора «Сталинград – поворотный пункт 2-й мировой войны». Полистав книгу, вдруг подумал: «А что если написать на нее рецензию и отправить в какой-либо журнал?». Написал. Выбрал «Новое время» и отправил по почте. Недели две не было никакого ответа. А потом, открыв новый номер журнала, я увидел свою рецензию... напечатанной! Вот это да! Написал еще, затем еще и еще. И все рецензии были напечатаны. Через некоторое время – телефонный звонок.

– Говорит член редколлегии «Нового времени» Лев Безыменский. Мы напечатали ваши рецензии, они нам нравятся. Не могли бы вы зайти ко мне в редакцию?

Лев был сыном известного в 20-е и 30-е годы комсомольского поэта А. Безыменского, в годы войны был переводчиком у маршала Жукова и др., написал много интересных книг.

Круглая, как шар, лысая голова. Румяные, прямо-таки красные щеки. Спрашивает:

– Хотим пригласить вас работать в журнале литконсультантом. Вы бы согласились?

– Я?! Конечно!

– Но иногда придется работать по ночам. Для вас это возможно?

Мне смешно. Нашел препятствие! Да сколько хотите!

– Тогда идите в отдел кадров и оформляйтесь!

Я шел туда, чуть ли не приплясывая. Вот везение! В комнате отдела меня встретил высокий мужчина военной выправки. Он дал мне не одну, а три анкеты, и я тут же сел их заполнять. Все анкеты мои без сучка и задоринки. Чист, как новорожденный. Не был, не состоял, не участвовал, нет, нет, нет. Только вот пятый пункт... Кадровик прочитал анкеты и велел позвонить через неделю. Это охлаждало, с этим я уже сталкивался. Исключения не произошло. Я звонил ему несколько недель подряд, пока до меня не дошло, что звонить больше не надо. Ну, не надо. Все.

Однако попытки проникновения в журнальную сферу я не прекратил. Мне повезло. Кажется, в 1957 году академический Институт истории СССР создал свой журнал «История СССР». Главным редактором стала академик М. Нечкина, а ее заместителем – молодой тогда С. Шмидт, сын известного ученого, полярника, особенно прославившегося в ходе знаменитой челюскинской эпопеи в феврале 1934 г. (тогда пароход «Челюскин» был раздавлен льдами в Карском море, и вся страна следила за спасением находившихся на «Челюскине» людей, возглавляемых Отто Шмидтом). Дело могло закончиться и трагично, но и «челюскинских шуток» было немало. Даже я запомнил веселую песенку, распевавшуюся тогда:

*Шмидт сидел на льдине,
Словно на перине,
И качал своею бородой.
Если бы не летчик,
Миша Водопьянов,
Он бы оказался под водой!*

Но с той поры прошло много времени. Сын того Шмидта стал историком и, думаю, не без его инициативы в журнале «История СССР» был создан отдел «История СССР за рубежом». Задача отдела заключалась, главным образом, в разоблачении «буржуазной фальсификации» советской истории. Но параллельно с этим разоблачением мы все-таки могли

узнавать и о существовании иных, «немарксистских» трактовок событий истории России и СССР.

Редакция журнала находилась на Кузнецком мосту, по моему, в доме какой-то захудалой гостиницы. Отдел «История СССР за рубежом» занимал небольшую комнату. В нем работали два совсем молодых парня – Юрий Карякин и Евгений Плимак. Узнав, что я работаю в библиотечном отделе, в который поступает литература из-за границы, Карякин «мобилизовал» меня. Я написал в его отдел несколько материалов и с той поры стал постоянным автором журнала.

Позднее Карякин приобрел широкую известность. Он уехал в Прагу, где работал в журнале «Проблемы мира и социализма», а вернувшись, увлекся Достоевским, написал о нем много работ. Близко сошелся с Солженицыным, а в перестроечные годы демократы, возглавляемые А. Сахаровым, превратили Карякина чуть ли не в одного из своих лидеров.

Дорогие мои полковники

Работа в отделе комплектования мне порядком наскучила. Начальницы относились ко мне плохо. Я к ним – не лучше. Был у меня знакомый парень из другого – военного отдела. Это был Николай Глаголевский – небольшой, кругленький, белесый, с усиками. Бывший фронтовик. Правый рукав рубахи он засовывал под брючный ремень: руку потерял на войне.

Вот этот Глаголевский как-то раз заговорил со мной о переходе в их отдел. Дело состоялось.

В этом отделе, в основном, работали бывшие военные, отставники. И начальник отдела тоже был отставник – полковник Николай Иванович Иванов. Всегда в форме, при погонах.

– Ну, вот что, – сказал он, когда я впервые пришел в отдел. – Будешь составителем бюллетеня. Очень важного. Содержит аннотации статей иностранных военных журналов. В подчинении у тебя – три полковника-отставника, все из ГРУ.

Знаешь, что такое ГРУ? Знаешь. Молодец! Ты с ними будь уважительным. И еще. В общей комнате сидеть не обязательно. Работай где хочешь, меня это не касается. Но чтобы бюллетень лежал у меня на столе точно в срок. Точно! Понятно?

Все три мои полковника были «хвататы». В праздники, надев мундиры, они от плеч чуть ли не до коленок звенели и блестяли орденами и медалями. И я как-то сказал им:

– Да вы же бесстрашные герои!

– Бесстрашные? – усмехнулся мой любимый полковник Валентин Иосифович Немчинов. – Хотите маленькую историю расскажу? Нас десять человек забрасывали в тыл к немцам. На парашютах. Боялись почти все. Спрашивали у инструктора-капитана: как и когда надо дергать парашютное кольцо? А тот смеялся: «Ничего не нужно дергать. Думай только, чтобы кальсоны остались чистыми. Остальное парашют все сделает сам». Перед прыжками из открытых дверей самолета дрожали у нас ноги и руки. Помогал капитан. Ударом тяжелым сапогом под зад. И летишь к туманной земле.

Я проработал со своими полковниками примерно год. Вызвал начальник.

– Хвалят тебя твои полковники. Надо тебя продвигать. Чего тебе в нашей библиотекарне сидеть? Я слышал, ты в историческую аспирантуру мечтаешь. Дело. Мы тебе подсобим. Историки – все партийные. Примем тебя в партию.

– Да я не созрел...

– Там созреешь. Надо три рекомендации. Две дадим здесь. Третью добывай в своем бывшем отделе.

Весельчак Глаголевский, у которого я попросил дать мне рекомендацию в партию, неожиданно ответил смешком:

– Поставишь пол-литра, дам.

– А ты юморист.

– Без этого в партии нельзя...

Вторую рекомендацию в отделе мне дал «мой» полковник Мендель Пейсахович Лукомник – маленький, худенький еврей

с большим партстажем... Когда я обратился к нему, он предложил мне выйти в коридор. Там сказал приглушенным голосом:

– Знаете, я очень рад, что евреи вступают в нашу партию. Ведь говорят, будто капитализм – еврейское изобретение. Клевета. Наша идея – коммунизм. Маркс был еврей.

Лукомник переписывал текст рекомендации несколько раз, взвешивал каждое слово. Потом прямо-таки каллиграфическим почерком изложил написанное на красивом листе. Вручил мне и, поздравляя, долго тряс руку. У него выходило, что партии без меня никак не обойтись, что принять меня надо безотлагательно.

За третьей рекомендацией пришлось идти в прежний отдел. Начальницы встретили меня исподлобья. Я разыскал сотрудника отдела Семена Максимовича Мирного, с которым долго работал. У нас были доверительные отношения. Выслушав меня, он сказал:

– Дело серьезное. Выйдем на улицу, поговорим.

Вышли. Приткнулись к колонне, закурили. Спрашивает:

– Итак, решили вступить в партию? Это правильное решение. Но я должен сказать, что в партии сейчас жлобско-перерожденческое руководство. В стране – раздолбайство. Вы и сами видите.

Я сказал ему, что в последнее время заинтересовался некрологами высоким партработникам, не ниже секретарей обкомов, которые печатаются в «Правде».

– И какой же вывод?

– Знаете, в подавляющем большинстве они – выходцы из деревень, из крестьян. Были, наверное, среди них дети или внуки зажиточных, а то и раскулаченных.

– Любопытно! Раньше или позже, мелкобуржуазная жилка у такой публики проявится, и она потянется к собственности, мещанство возьмет верх. Социализм ему противопоказан.

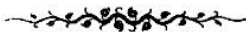
– Так, может, мне не...

– Нет, нет, надо вступать. Чем больше в партии будет приличных людей, тем быстрее она очистится.

– Это ж сколько лет потребуется!

– Ну что делать? Рекомендацию я обязательно напишу.

**В ИСТОРИИ ИСТИН НЕТ –
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ**



«Наука»

Время шло, и я делал в библиотеке «карьеру», продолжая в военном отделе выпускать «Бюллетень иностранной военной литературы». В этой работе была странность: мы включали в бюллетень материалы совершенно открытых на Западе военных журналов, а потом закрывали, «секретили» его. Отпечатанные экземпляры бюллетеней хранились в сейфе начальника отдела, полковника Н.И. Иванова, и рассылались по особому, тоже секретному списку. Работой я был доволен, тем более что мои помощники – полковники – были людьми интеллигентными, интересными, и о каждом из трех можно было бы рассказать отдельно. Особенно, пожалуй, о Валентине Иосифовиче Немчинове, грудь которого, среди многих прочих наград, украшали три ордена Ленина, но другого столь скромного человека я не встречал.

Как-то, спустившись по главной мраморной лестнице библиотеки и проходя через читательскую раздевалку, я вдруг встретил Сашку Юхта. Мы не виделись много лет. Это была совершенно неожиданная встреча, которая, можно сказать, и повернула мою дорогу. Спустились в курилку, находившуюся в цокольном этаже. В густом сизом дыму едва виднелись очертания людей. Творческий, ученый народ дымил нещадно. Юхта, оказывается, уже год или полтора жил в Москве: перебрался сюда после женитьбы. Жил возле Савеловского вокзала, а работал аж заведующим редакцией истории СССР в издательстве «Наука». Вспомнили Ярославль, пединститут, Генкина, нашу неудачную аспирантуру, ресторан «Медведь». Я говорил, что в библиотеке мне наскучило, потихоньку ищу другую работу.

– Слушай, – сказал мне Юхта, – у нас в редакции требуется человек. Ты пошел бы?

Еще бы! Я не пошел бы, а побежал. Издательство, история – все вместе это представлялось мне какой-то волшебной страной. О лучшем я не мог и мечтать.

В другую, уже назначенную встречу Юхт дал мне на пробное редактирование какой-то текст. Я произвел с ним те операции, которые казались мне нужными, и возвратил. Он одобрил. Договорились, что в определенный день я явлюсь к главному редактору издательства Георгию Суменовичу Осипяну на решающие «смотрины» и разговор.

И вот я иду по Лялину переулку с обычным давящим волнением перед встречей со всяким начальством. Препятствие, барьер, который я в тоскливом одиночестве должен преодолеть...

В том месте, где в Лялин переулок впадает узкий Подсо-сенский, – старинный двухэтажный особняк Морозова, а в нем – издательство «Наука». Тяжелые деревянные двери с золочеными фигурными ручками, темноватый вестибюль, и направо – широкая мраморная лестница в два больших марша. На второй площадке – чуть ли не во всю стену – зеркало. Но если роскошный в былые времена особняк каким-то образом еще сохранил «парадный подъезд», то его жилые помещения, в соответствии с издательскими нуждами, видимо, уже давно были превращены в нечто напоминающее ильфетровскую «воронью слободку».

Пройдя через коридоры, а лучше сказать, коридорчики, я после некоторого ожидания оказываюсь в кабинетике главного редактора Г.С. Осипяна. Большая, слегка всклокоченная шевелюра, грустные, немного навывкате глаза, тихий вкрадчивый голос, и во рту сигарета, всунутая в мундштук. «Византиец», похохатывая, называл его Юхт. Я совершенно не помню разговора, который был тогда с Осипяном, но в результате меня взяли, хотя Юхт потом говорил, что Осипян якобы выражал ему какие-то сомнения. Не знаю.

Честно говоря, я очень опасался повторения истории с журналом «Новое время». Но в отделе кадров «Науки» оказалось все не так. Начальницей там была удивительно мягкая, добрая, еще молодая женщина (страшно жалко, что забыл ее имя). Все было оформлено очень быстро, просто и легко. Каким образом среди начальников отделов кадров того времени мог оказаться такой человек, решительно отличавшийся от всех других, с кем я сталкивался в своих «трудовых» мытарствах, до сих пор не пойму. А Осипян... За все время работы в «Науке» никогда ничего плохого от него не видел. Он мне нравился, вызывал любопытство.

На первом этаже находились столовая и буфет. На широком стеклянном колпаке всегда лежал большой деревянный поднос с бутербродами. Стоявшие в очереди двигались мимо этого колпака с подносами, подходили к буфетчице Клаве (для буфетчиц того времени – самое распространенное имя), делали заказ, забирали свою еду и, расплатившись, садились за столик. Не так поступал Осипян. Конечно, его, как нашего издательского «Ленина» из популярного рассказа, могли бы пропустить и без очереди, но он, как и Ленин, этим не пользовался. Вставал в очередь, поднимал очки на лоб, всегда читал книгу и, продвигаясь в очереди, брал с подноса один бутерброд за другим, автоматически жевал их, не отрываясь от чтения. Подойдя к Клаве, платил за съеденные бутерброды и, уткнувшись в книгу, покидал столовую...

Три «исторические» редакции помещались в одном большом зале: редакция истории СССР (Юхт), редакция всеобщей истории (Виктор Зуев), редакция археологии и этнографии плюс славяноведения и балканистики (Николай Бобрик). К сожалению, никого из упомянутых мною людей уже нет в живых... А были это отличные ребята, прошедшие фронт, не озлобившиеся, не «бюрократические», не карьеристы. Работе они отдавали все. Это не фраза.

Виктор Зуев был очень моложавым, высоким, красивым, с пышной седой шевелюрой. Ходил, прихрамывая: у него был протез. Человек с большим чувством юмора. Самое серьезное дело умел обернуть в юмористическую «оболочку», и это всегда помогало. Девицы из всех редакций весьма почитали Зуева. Много лет спустя, когда мы с Виктором работали уже в разных местах, при неожиданных встречах я всегда искренне радовался. А он был по-прежнему весел и оживлен, хотя много морщин уже бороздило его лицо. Поговорим, разойдемся... Его смерть была тяжелой, ужасной. В его «Москвич» с ручным управлением врезался грузовик. Искалеченный, он долго лежал, прикованный к кровати...

Николай Бобрик внешне был менее заметен, но всегда благосклонно настроен, добродушен, хотя и не без хитрецы.

У каждого заведующего редакцией под рукой было семьдесят редакторов, которые, как говорили на издательском жаргоне, «тянули план» (не помню уж, сколько печатных листов вместе с корректурами должен был выдать каждый), «мордовали» и «лопалили» рукописи, выходявшие главным образом из исторических институтов. Редакторы тогда были в основном двух «призывов»: довоенного и послевоенного. Из довоенного помню старушку по фамилии Зомбе. Она была очень интеллигентная, со следами былой красоты, видимо, благородного происхождения. Про нее говорили, что в 20-е годы она работала с Н.К. Крупской, была чуть ли не ее помощницей в наркомпросовских делах. Теперь она, конечно, не очень справлялась с планом, а главное, явно не усваивала идеологической «крутизны» сталинских и послесталинских лет, т.е. того, что, в общем, неплохо получалось у значительно более молодых редакторов.

Другим довоенным редактором был Шаров – высокий человек с седой, слегка растрепанной шевелюрой. Он редко бывал в редакции: забирал рукописи и работал дома. Помню,

как, сидя за столом, я читал какую-то рукопись, не обращая внимания на лежавший рядом сигнал книги, называвшейся, кажется, «Рабочий класс – гегемон Октябрьской революции» или что-то в этом духе. Из-за моей спины вдруг протянулась длинная рука, большим и указательным пальцами ухватила уголок переплета книги и помахала ею в воздухе. Я оглянулся. Позади, во весь свой рост, стоял Шаров, держа книгу на весу. Потом его пальцы разжались, книга плюхнулась на стол. Шаров брезгливо сморщился, обтер руки о лацканы своего помятого серого пиджака и молча удалился...

Из редакторов послевоенного призыва не могу не вспомнить коренастого увальня Игоря Косова. Во время войны он командовал батареей «катюш». В его рассказах война всегда выглядела как самое лучшее, чуть ли не самое беззаботное и веселое время жизни. Выпивали, развлекались, все было под рукой и всего сколько хочешь. Дал команду ординарцу – и все тебе как в сказке. А уж когда вступили в Европу, тут жизнь стала просто разлюли-малина. Часами Косов стоял на площадке, окутанной клубами сигаретного дыма, и рассказывал о своих замечательных военных годах. Но славился он все-таки еврейскими анекдотами. Он знал их бесчисленное множество и рассказывал с таким натуральным акцентом евреев из местечек, как будто он сам был выходцем оттуда. Слушатели падали со смеху.

Таким же редакционным старожилом, как Косов, был другой редактор, Миша Медведев – большой, толстый, медлительный, степенно двигавшийся и так же неторопливо делавший все, что ему поручалось. Юхт беззлобно называл его: «Мишка-тюлень». Знал ли тогда кто-нибудь в издательстве, что его отец – уральский чекист Медведев – принимал участие в расстреле царской семьи в июле 1918 года? Думаю, что нет, а если бы и знал, то вряд ли проявил бы к этому большой интерес. Тогда это представлялось вполне обыденным делом,

так сказать, вытекавшим из «хода революционной борьбы». Убежден, что и сам Миша, как впоследствии выяснилось, тщательно собиравший материалы об Ипатьевском доме, совершенно не представлял себе, какой невероятный размах приобретет история, в которую оказался вовлеченным его отец. Позднее, в архиве, я встретил письмо нашего Миши Н.С. Хрущеву. В нем он писал, что по завещанию папы передает в музей его револьвер, из которого якобы и был застрелен Николай II, и ходатайствовал о некоторых пенсионных привилегиях для своей мамы как жены старого революционера. Он писал мне в Канаду, потом переписка оборвалась. Жив ли Миша?

Моложе Косова и Медведева был другой наш редактор, Владлен Сироткин, – разбитной малый с оригинальной манерой выражаться, чем, несмотря на свое «легкое» отношение к работе, вызывал к себе симпатию. Читением рукописей он не слишком затруднял себя. «Трудящиеся доделают!» – обычно бодро говорил он, перекидывая рукопись редакционным редакторам. Сироткин пошел в гору. После издательства он работал в Институте иностранных языков им. Тореза, потом стал профессором Дипломатической академии. Я дружил с ним и не потерял связи, даже уехав в Канаду. Теперь и его нет...

В «Бобриковской» редакции работала некая Крапенкова – женщина средних лет, мрачноватая и, если так можно сказать, агрессивно-партийная. Но иногда с нее что-то «слетало», и она рассказывала интереснейшие вещи. В войну семнадцатилетней девчонкой она была в одном отряде с Зоей Космодемьянской – теперь уже почти забытой героиней, а в военные и послевоенные годы, казалось бы, прославленной навеки. Увы, земная слава проходит. Рассказы Крапенковой как день от ночи отличались от рассказов Косова. Девочек, только от материнской юбки, направляли в расположение немецких частей, за линию фронта, с заданием поджи-

гать дома, в которых находились солдаты. Они оказывались перед двойной смертельной угрозой. Их могли убить и немцы, и свои, русские, чьи дома они предавали огню. Кто схватил Зою, неведомо.

Бессменным диспетчером нашей редакции была ее секретарь, Любовь Сергеевна. Более безотказных и предельно честных работников мне, пожалуй, не приходилось встречать. Она не ходила, а почти бегала, и моментально выдавала необходимую справку по графику движения любой рукописи. А их были десятки. Человек военного поколения, знавшего жизнь только как тяжелый, но необходимый труд, она и привечала только подобных себе. Юхт – сам великий труженик – был для нее безоговорочным авторитетом. Когда он ушел из редакции и заведующим стал Косов, Любовь Сергеевна часто морщилась. Во время коротких перекуров где-нибудь в уголке коридора говорила: «Вот Юхт – это был заведующий. А Косов? Так...». Но сама работала, как и прежде. Будут ли в России еще такие работники, как поколение людей, переживших войну?

После нашей редакционной обработки и подготовки к набору рукописи поступали в производственный отдел. Там царствовал Кацнельсон. Наши совсем молодые редакторы-остроумцы – симпатичнейший Саша Синельников и уже становившийся солидным Володя Древлянский – преобразовали его фамилию в двойную: Кац-Нельсон (думаю, что это взял бы на вооружение и сам великий выдумщик фамилий И. Ильф, впрочем, как и другую изобретенную ими: Рыб-а-копф, трансформированную из фамилии многолетнего директора «Академкниги» маленького, невероятно энергичного Рыбакова).

Кацнельсон был большой, рыхлый, уже пожилой человек, всегда красноватое лицо которого украшал большой сливообразный нос. Он не говорил. Он всегда кричал и ругался, брызгая во все стороны капельками слюны. Никаких доводов

и аргументов он не принимал, кроме одного: Натан сказал. Натан Евсеевич Брусиловский был заместителем директора издательства по производственному отделу. Вся типографская машина лежала на нем. Старый специалист, он пользовался непрекаемым авторитетом, в том числе и у Кацнельсона. Когда проносилось сакральнейшее «Натан велел», он ворчливо умолкал и, что-то бубня себе под нос, утыкался в свои графики. Не знаю, оттого ли, что Кацнельсон кричал и ругался, или еще почему, но производственный отдел работал отлично. Над Кацнельсоном посмеивались, но относились к нему уважительно. Он знал и любил издательское дело.

Таким же специалистом высокого класса, но только всегда корректным и подчеркнуто интеллигентным, был Брусиловский. Его слово действительно являлось законом.

Когда я уходил из издательства в Институт истории, Брусиловский отговаривал меня. «Атмосфера там не из простых, – говорил он мне. – Моя дочь там работала и очень рада была, перейдя на другую работу». В чем-то Брусиловский оказался прав.

*Там жили поэты, – и каждый встречал
Другого надменной улыбкой...*

В издательстве все было проще, теплее. Не давило неприязненное чувство самодостаточности каждого, всегда хватало юмора, уберегавшего от того, чтобы не смотреть на себя и на свою деятельность как на нечто особое, невероятно важное и позволяющее быть снисходительным к другим. Хотя, конечно, страдали этим в институте не все.

Первой моей работой в качестве редактора стала монография К.Н. Тарновского «Советская историография русского империализма». Книга была сугубо научная, но написана интересно: Тарновский являл тогда собой одну из «звезд» Института истории СССР. Готовил он книгу, так сказать, по сле-

дам XX съезда КПСС, развенчавшего культ личности. Поэтому она была откровенно антисталинской. Но к концу 1963 – началу 1964 года борьба с культом личности уже ощутимо затухала, и Тарновский – человек уверенный и волевой, как мне казалось, – все же немного опасался возможных издательских препятствий. Они могли возникнуть, но работа попала ко мне, а я, по неопытности, больше тушевался перед знаменитым автором, чем перед невидимыми идеологическими боссами, находившимися на партийном Олимпе. Да, собственно, и четкие указания отсутствовали, чувствовалась некая неопределенность в трактовках роли бывшего «Хозяина». Сталинский «маятник» покачивался.

Я старался. Чтобы яснее уловить логику мысли Тарновского, отслеживал все смысловые «отрезки» и давал им названия. Затем, сгруппировав, предложил автору поместить их в виде врезки после названия глав. Он согласился. По-моему, он доверился мне и постепенно стал менее официальным.

Когда рукопись монографии Тарновского находилась уже на стадии второй верстки (сверки), произошел политический переворот. Как-то утром (это было в октябре 1964 года) всех редакторов редакций общественных наук срочно пригласили в кабинет к Осипяну. Распоряжение его было кратким: все редакторы, в чьих верстках, сверках или сигналах цитируется или упоминается Н.С. Хрущев, должны изъять эти места из текстов. Хотя официально никаких сообщений еще не было, но стало ясно – Хрущев пал.

Когда умер Сталин, было пролито много слез. Многими он воспринимался чуть ли не как святой, единственный защитник и спаситель. Но Хрущев сказал, что это миф. Большевистская власть, которая изображалась партийными пропагандистами как высшее выражение исторической закономерности, отныне утрачивала сакральность. Но вслед павшему Хрущеву мало кто повернул голову. Впрочем, в России о любой «павшей» власти мало кто сожалеет...

До XX съезда партия, уже и до того утратившая свои ленинские, октябрьские черты, плохо ли, хорошо ли, но все же несшая в мир свою идеологию, теперь теряла престиж. Ходила (естественно, между своими) шутка: у них там, на Западе, система многопартийная, а у нас – многоподъездная. Имелось в виду огромное здание ЦК на Старой площади с многочисленными подъездами, которые вели в различные отделы, ведавшие промышленностью, сельским хозяйством, наукой и т.д. Каждый из них жил своею жизнью. Чего-либо коммунистического или социалистического там было мало, а может, и совсем ничего не было. Был бдительный контроль за стабильностью и борьба за сохранение собственного статуса, который означал многие жизненные, в сущности, бытовые, привилегии. От идеологии как таковой оставалась словесная шелуха, выражавшаяся в постановлениях, написанных бюрократическим языком, и в указаниях («указивках», как их насмешливо называли), гласно или негласно спускаемых вниз. Идеология вырождалась.

В верстке книги Тарновского ничего вычеркивать не пришлось: Хрущев там не упоминался, и мы спокойно вели работу к финалу. Кажется, в 1965 году книга вышла в свет. Небольшая, в обложке. Автор подарил мне экземпляр с благодарственной надписью. Первый авторский подарок...

Когда я уже работал в Институте истории СССР, мы редко встречались с Тарновским. В 70-е годы он стал одной из ключевых фигур так называемого «нового направления», суть которого состояла в том, чтобы очистить историческую науку от сталинистских напластований и вернуться к ленинской методологии. Наверху, в отделе науки ЦК, это, естественно, посчитали крамолой. Там, видимо, хорошо понимали, что цепочка от Сталина может потянуться и к Ленину. Докторская диссертация Тарновского была заблокирована, на разных заседаниях его нещадно прорабатывали. Его валили

инфаркты. Он изменился и внешне. Стал мрачноватым, замкнутым. На одном из обсуждений его материала о 1905 годе, проходившем в Институте марксизма-ленинизма, он ни разу не ответил на довольно жесткую критику, молча слушал. Через несколько дней я столкнулся с ним в коридоре института. «Я был в ИМЛ, – сказал я ему, – хотел было выступить в вашу поддержку...».

– Что ж не выступил? – ответил он равнодушно, зябко кутаясь в пальто.

А через некоторое время в институтском вестибюле появилась его фотография в черной рамке. Я смотрел на нее и вспоминал далекий 64-й год, молодого, энергичного, остроумного Тарновского...

Однажды он пришел в редакцию с каким-то смуглым, крепким старичком, непрестанно двигавшим нижней челюстью, отчего она издавала негромкий металлический звук. Сигарета во рту старичка дымила, как паровозная труба.

– А это, – сказал мне Тарновский, указывая на старичка, – не писанная, а живая историография: Иосиф Фролович Гиндин.

Характеристика была точная. Гиндин являлся очевидцем и участником многочисленных дискуссий «историков-марксистов», проходивших еще во второй половине 20-х – начале 30-х годов, современником сталинских «исторических директив», вообще почти всех перемен и потрясений на фронте исторической науки. Трудно сказать, кем он больше был: историком, экономистом или финансистом. Говорили, что в военные годы ворочал какими-то крупными хозяйственными делами, потом снова ушел в «теорию». Знал он очень много, но писал невероятно плохо. Поэтому сборники, в которые включались его статьи, доставляли мне настоящую муку. Я жаловался Юхту, пытался навести порядок в статье с помощью самого автора. Ничего не помогало. «Живая историография»

только клацал железной челюстью и окутывал меня кольцами густого дыма. Я как-то сказал Иосифу Фроловичу, что столько курить вредно, на что он ответил: «А я как раз собираюсь сделать доклад на Ученом совете о пользе и необходимости курения». В конце концов решили печатать его статьи как есть: все-таки «живая историография».

Мы издавали множество интересной и нужной литературы. Марка нашего издательства ценилась высоко. Но и оно не всегда могло избежать наплыва рукописей, не содержащих практически ничего, кроме псевдоидеологии, прикрытой цитатами, главным образом из работ Ленина.

Вот курьезный пример, доставивший, однако, много неприятностей. На редактирование поступила «монография» некоего Х. из Казани, где он работал крупным функционером в обкоме. Как рукопись попала в «Науку», не знаю: видимо, по высоким партийным каналам был, как тогда говорили, сделан телефонный звонок. Книжка была элементарно беспомощной во всех смыслах, лежала «за порогом сознания». Автор каждое утро встречал меня у входа в издательство, вместе мы усаживались за стол и переписывали, как он выражался, «абзацы». Абзац за абзацом. Не выдержав, я пошел к Осипяну. Он спокойно выслушал мою возмущенную речь, посасывая свой сигаретный мундштук и укрываясь в клубах дыма, а затем сказал: «Слушай, давай выпустим ему книгу, а то ведь замучают меня звонками. Давай выпустим, мало ли мы говна выпускаем». Книга Х. была издана.

Я еще не знал, что скоро мне придется иметь дело не с каким-то Х., а с историей революций, главным специалистом которой в те годы являлся знаменитый академик И.И. Минц. Не помню точно, когда (но было это в 1965 году), Юхт положил передо мной толстую, горбом вспухшую от набитой в ней бумаги папку, тесемки которой с трудом стягивались в узел.

– Вот, – сказал Юхт, – это «нетленка» Минца. Слышал о нем? – по-командирски бодрым тоном спросил он.

Кто из историков не слышал о Минце! Впервые, как я уже писал, я видел его еще в свое студенческое время, в 1949 году, в разгар «борьбы с космополитизмом», где в Академии общественных наук состоялось незабываемое зрелище: «избиение» космополитической группы историков МГУ, возглавляемых Минцем.

Много лет спустя, когда вышла в свет повесть Ю. Трифонова «Дом на набережной», в среде интеллигенции стали говорить, что в образе профессора Ганчука выведен не кто иной, как Минц. В повести есть эпизод, когда один из героев, как я когда-то, присутствовавший на идеологическом избиении Ганчука, в волнении гадал: что же станет теперь с пожилым профессором – выживет он или умрет от инфаркта? Каково же было его удивление, когда, покинув судилище и проходя по улице Горького, он вдруг увидел за окном кафе Ганчука, со вкусом и смаком поедавшего пирожное! «А ведь полчаса назад этого человека убивали», – подумал герой.

Не знаю, действительно ли Трифонов писал своего Ганчука с Минца, но в Минце бесспорно что-то ганчуковское было. Я понял это много лет спустя, когда судьба вплотную свела меня с ним. По-разному можно относиться к большевикам, но в энергии, воле, жизнестойкости им отказать нельзя. Как в популярной довоенной песне:

*И в воде мы не утонем,
И в огне мы не сгорим!*

Но вот в 90-х годах «утонули». Почему? Уже много об этом написано и будут писать еще. Но, кажется, прав был Ленин, писавший, что никто не сможет скомпрометировать коммунистов, если коммунисты не скомпрометируют себя сами. Так и вышло: скомпрометировали...



Второй раз я встретил Минца только в 1964 году, когда еще работал в Библиотеке им. Ленина и поступал в заочную аспирантуру Педагогического института им. Ленина. Протекцию и всяческую поддержку мне оказывал Петр Васильевич Гора, заведующий кафедрой методики истории того же института. Как я уже писал, именно у него в студенческие годы мы проходили

Исаак Израилевич Минца, 60-е гг. школьную практику (тогда он был директором школы на Усачевке). Он пообещал поговорить с «самим» Минцем, в то время уже прощенным за «космополитизм» и заведовавшим кафедрой истории СССР в Пединституте. И, как всегда, слово свое сдержал. Однажды, позвонив мне, он сказал: «Завтра приходи в институт к кафедре истории СССР. Я с Минцем говорил. Приходи к трем часам и жди его там. Скажешь: от меня».

Я пришел на Малую Пироговскую за полчаса до назначенного срока, захватив с собой рукопись своей рецензии на опубликованную в США трехтомную публикацию А. Керенского и Р. Браудера «Русское Временное правительство 1917 г.». Мне уже обещали напечатать ее в журнале «История СССР», и она, по моим расчетам, должна была стать визитной карточкой, а затем и вступительным рефератом. Стою в полутемном коридоре на третьем этаже, у кабинета с табличкой «Кафедра истории СССР», волнуясь: предстоит разговор с академиком! Почти с небожителем.

«Небожитель» вышел неожиданно и, конечно, не один. Его окружала целая свита «ангелов», медленно двигавшаяся вместе с ним по коридору.

Много лет спустя, в Институте истории СССР, от заведующего сектором Октябрьской революции П.Н. Соболева, крутого парттордокса, я услышал поговорку: «Пока до бога дойдешь, ангелы и архангелы тебе все ребра переломают».

Подступиться было невозможно. Я плелся позади «ангельской группы». Она медленно, степенно спустилась по лестнице и уже шествовала к раздевалке, в вестибюль. Академик почти не изменился с того памятного 49-го года. Такой же крепенький грибочек, с венчиком седых волос вокруг заостренного вверху черепа. Он ни на кого не смотрел, говорил что-то, не глядя на собеседников. Было видно: они его не интересуют. Я понял, что еще небольшое промедление, и я упущу свой шанс, данный мне П.В. Горой. Когда «грибок» вставлял руки в рукава пальто, которое предупредительно держал кто-то из свиты, и одновременно ловил ногами блестящие галоши, я решился.

– Я от Петра Васильевича Горы. Хочу поступить в заочную аспирантуру на вашу кафедру. Вот тут рукопись моей статьи о Временном правительстве, ее обещали опубликовать в «Истории СССР». Это мой реферат. Скажите, пожалуйста, когда вам принести?

Припухлые, красные, слегка воспаленные веки «грибка» поднялись, мелькнули острые зеленые глазки.

– А вот когда напечатают, тогда и приносите, – сказал он, притоптывая уже пойманными галошами. Свита тут же оттерла меня; все двинулись к выходу...

Я проклинал себя за вечное свое неумение говорить с людьми, тем более с начальством, понимая, что глупо, бездарно «подставился», дав Минцу легкую возможность избавиться от меня как от еще одной назойливой мухи. Он умел отсекал от себя ненужных ему людей и дела. Он был большим мастером «уклонов», «отсылок», «отписок». Я много раз убеждался в этом впоследствии...

Но в аспирантуру я все-таки попал. Тут произошел один эпизод, заслуживающий упоминания. В комнате, занимаемой кафедрой истории СССР, несколько шкафов отделяли закуток, в котором располагалась секретарь кафедры – интеллигентная дама по имени Ольга Абрамовна. Естественно, сидя в своем закутке, она была в курсе всех обсуждений, происходивших во время заседаний кафедры. Свою информацию она имела обыкновение доверительно сообщать некоторым людям, которых, по-видимому, считала близкими себе по духу. Этот дух был неприятием антисемитизма, который будто бы проявлялся на кафедре. Информация, естественно, сообщалась только тогда, когда за шкафами никого не было, но и в этом случае почему-то шепотом. До меня, в частности, было доведено, что моя кандидатура наверняка будет отведена под давлением двух профессоров-антисемитов. Ольга Абрамовна готовила меня к поражению и, несомненно, хотела смягчить его. Когда уже после заседания кафедры, на котором решалась судьба абитуриентов, я пришел в ее закуток, она в явной растерянности поведала мне, что наиболее настойчиво мою кандидатуру поддерживали... те самые два профессора! «Я не знаю, что произошло», – с некоторым огорчением сказала Ольга Абрамовна. Ее огорчение было понятно: либеральная схема, казалось бы, такая безотказная, почему-то не работала. Это ставило в тупик, возникала какая-то неловкость.

Толки об антисемитизме ходили тогда весьма широко, хотя и «под поверхностью». Минц никогда не касался еврейской темы и однажды сказал мне: «Вы можете обсуждать любую проблему, но эту – ни при каких обстоятельствах». А много лет спустя он как-то, во время разговора у него дома, с горечью произнес: «Приглашают меня в ЦК, захожу в кабинеты, встают, приветствуют, мило говорят, но знаю – как выйду, могут сказать: “А ... морда!”».

Он был сверхпопослушный член партии. Указания ЦК, обкома, райкома, любого партийного мальчишки-инструктора были для него законом. Несмотря на свое высокое положение, он боялся... своей партии! За всем этим, думается, стояли многочисленные идеологические проработки, наблюдателем и жертвой которых он был. Особый след, пожалуй, оставили «космополитическая кампания» и «Дело врачей». К этому делу Минц оказался причастен. Тогда, зимой 1953 года, это он (и некий Хавинсон) объезжали высокопоставленных и знаменитых евреев, собирая их подписи под письмом, осуждающим «убийц в белых халатах» и заверяющим партию в преданности еврейского народа. Никогда сам Минц об этом не рассказывал.

Минц взял меня под собственное научное руководство, хотя первоначально планировалось, что моим руководителем будет Э.Н. Бурджалов, который писал двухтомник о Февральской революции. Минц уже тогда замыслил свой «эпохальный труд» об Октябре, и для придания ему идеологической заостренности необходимо было входившее в научный оборот «разоблачение буржуазных фальсификаторов». Поскольку я все больше интересовался английской и американской историографиями русских революций 1917 года, для Минца я мог оказаться находкой. В обмен на его руководство, которое выражалось в основном в том, что мне выпала удача попасть за его широкую научную спину, я должен был стать для него поставщиком «фальсификаторского материала» западных советологов.

Научный совет

Через некоторое время я впервые побывал в Институте истории СССР, где на третьем этаже находился «офис» моего академика: Научный совет по комплексной проблеме «История

Великой Октябрьской социалистической революции». Главная функция этого учреждения состояла в координации исследований по истории Октябрьской революции в союзном масштабе. Совет располагался в двух комнатах. Первая, так сказать, прихожая, находилась во владении секретаря-машинистки Зины Андреевой, миниатюрной, худенькой молодой женщины. Она показалась мне чем-то похожей на Катюшу Маслову из «Воскресения». Не столько внешне, сколько некоей отчужденностью от существовавшего вокруг мира. Вскоре я узнал ее как работника. Она работала классно – быстро, качественно, добросовестно. Уже тогда это становилось редкостью. На своем пути таких работников я встречал раз-два и обчелся.

Здесь, в прихожей, надо было ждать приглашения во вторую комнату – кабинет академика, в котором, впрочем, находилось и все его окружение: человек восемь-девять сотрудников Научного совета. Академик не был бурбоном, чинушей, любил общество.

Заместителем Минца являлся высокий, прямой Георгий Евгеньевич Рейхберг, занимавшийся историей Дальнего Востока периода гражданской войны. Он был единственным, кто был с Минцем на «ты». Рейхберг работал с ним еще в 30-е годы, когда тот фактически возглавлял редакцию истории гражданской войны, курируемую М. Горьким и самим Сталиным. Первый советский представитель в США Мартенс приходился ему дядей.

Напротив стола хозяина кабинета стоял стол ученого секретаря, Саула Марковича Кляцкина – человека, внешне чем-то напоминавшего известного тогда актера одесской оперетты М. Водяного. Кляцкин был отставным полковником, а теперь – доктором наук, историком создания Красной армии. В его поведении сохранялись некоторые солдатские черты – грубоватость и прямота. После ухода Кляцкина из Совета его сменил А.П. Ненароков.

Обращал на себя внимание также молодой коренастый крепыш с густой черной шевелюрой и бородой с проседью. Весь вид его был какой-то цыганский, движения быстрые, голос хрипловатый. Это был Петр Якир – сын знаменитого героя гражданской войны, командарма Ионы Якира, расстрелянного Сталиным вместе с другими высшими военными в 37-м. Сам Петр тоже был арестован, много лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылках; освободили его после XX съезда по письму, которое он написал лично Хрущеву. Выйдя на волю, Якир учился в Историко-архивном институте, окончил его и, по видимому, по чьему-то высокому указанию был принят в Институт истории. Здесь его направили в минцевский Совет. Минц знал отца Якира, кажется, еще по гражданской войне, так как являлся комиссаром корпуса «червоного казачества», которым командовал другой герой этой войны, тоже репрессированный Сталиным, – В.М. Примаков. Минц, как оказалось, взял Петьку (так его в Совете все звали) на свою голову.

Поначалу занявшись диссертацией, Якир втянулся в диссидентскую деятельность, занял там видное положение и, естественно, попал под бдительное око кагэбистов. Но лагерная полублатная жизнь, надломившая его, плохо совмещалась с чисто идейной борьбой. Все чаще от него пахивало вином. В отсутствие Минца и других сотрудников он часто приводил в Совет своих приятелей по диссидентству. Распивали водку, после них в комнате плавали пары спирта и клубы сигаретного дыма. Я не знал других диссидентов и не берусь судить о них. Но когда о них будут писать книги (а их, конечно, будут писать), то, возможно, прольют немало еля. Однако, вспоминая Якира, думаю, что в диссидентстве было всякое. А разве иначе бывает?

Долго продолжаться такая деятельность Якира, конечно, не могла. Кончилось плохо. Осенью 1968 года (я тогда уже работал в Научном совете) Институт истории разделили на

два: Институт истории СССР и Институт всеобщей истории. При формировании штата сотрудников Института истории СССР Якир «выпал» из списка. Потом был арест, суд. Последний раз я случайно встретил его в метро на станции «Академическая». Он был в какой-то помятой поддевке, с хозяйственной сумкой в руках. Я спросил, где он теперь работает. «На Калужской, – сказал он, – там здание Московского облархива достраивается, я там сторожем. Вот еду на работу, на ночь. Поехали? Выпить-закусить у меня с собой». Он помахал сумкой. Вскоре пришла весть о его кончине...

Как уже было отмечено, основная функция Совета состояла в координации исследовательской работы по истории Октября в общесоюзном (а позднее – и в рамках «социалистического содружества») масштабе. СССР был как бы поделен на сферы влияния между сотрудниками Совета. Так, Е.В. Иллерицкая и Т.Ф. Кузьмина курировали Закавказье. Прибалтику «координировала» Зоря Леонидовна Серебрякова – дочь знаменитого в 20-е годы большевика, близкого к Ленину и Троцкому, Леонида Серебрякова. Как отец и мать – писательница Г. Серебрякова, – она долгое время провела в тюрьмах и ссылках.

Другими регионами заведовали мужчины, в частности, В.И. Миллер. Наибольшую симпатию из всех сотрудников Совета вызывал у меня Анатолий Игнатьев. Внешне несколько старомодный, даже немного чопорный, это был человек исключительной ответственности, обязательности и честности. С Игнатьевым мы впоследствии сдружились, но он так и остался единственным человеком, с которым мы были на «вы»...

Когда минцевские тома «Истории Великого Октября» уже были изданы, некоторые очень злые языки приписывали мне чуть ли не их авторство. Это, конечно, совершенно неверно, хотя какие-то относительно небольшие куски (прежде

всего, связанные с так называемой критикой буржуазной историографии) по просьбе академика действительно писал я. Причем писал с учетом «идеологической непримиримости», которая соответствовала общему подходу академика. Но те, кто считал, что «История Великого Октября» написана пером не одного Минца, далеко не во всем не правы. Сотрудники Научного совета, а также некоторые сотрудники институтского сектора истории Октябрьской революции, так или иначе связанные с Минцем, по доброй воле или по долгу службы, так сказать, «курировали» те разделы рукописи академика, которые находились в сфере их собственных научных интересов. Это значит, что они читали соответствующие главы, по возможности редактировали их, а, главное, дополняли свежим материалом (обновляли) и приводили в соответствие с новейшей политической конъюнктурой. После этого рукопись перепечатывалась и отправлялась в издательство.

Нужда в «курировании» существовала. Минц начал заниматься советской историей в конце 20-х годов. Первая его авторская книжка (кажется, единственная до выхода «Истории Великого Октября») была посвящена английской интервенции на Севере (1918 г.) и почему-то находилась в спецхране. Во второй половине 30-х годов Минц уже пребывал в организаторах советской (сталинской) историографии. Из-под его пера выходили статьи, но это были небольшие пропагандистские брошюрки, а главным его занятием стало практическое руководство над созданием коллективного труда «История гражданской войны в СССР». В редколлегию входили сам Сталин, Жданов, Молотов, Горький, еще какие-то «вожди» и «персоны». Об этом следует писать отдельно.

Упомяну только один любопытный эпизод, рассказанный мне старым художником издательства «Наука» Н.А. Седельниковым. Когда он меня встречал, то задавал один и тот же вопрос: «Ну, как твой Минц?». А однажды вспомнил: «Было это в году

35-м – 36-м. Мы с ребятами оформляли “Гражданскую войну”, и нас как-то вызвали на Никитскую, в особняк к Горькому. Взяли макеты, пришли, сидим в прихожей. Вдруг дверь открывается, и мы онемели: Сталин, Жданов, еще кто-то и твой Минц! Пошли прямо в кабинет к Горькому. Мы, понимаешь, в стенку вжались, а Минц твой с ними». Николай Александрович умел рассказывать «в лицах», смешно двигая стальным рядом зубов нижней челюсти.

О работе с Горьким Минц охотно рассказывал. По предложению Горького, тексты историков должны были «обработывать» литераторы. Бывал в редакции И. Бабель, который тогда сильно нуждался. «Он писал нам какие-то фразы, – смеясь, вспоминал Минц. – Ну, например: “А буржуазия между тем разлагалась”, и т.п.». Думаю, то, что Сталин лично знал Минца, спасло его от гибели в 37-м, хотя над ним, по меньшей мере дважды, «висел топор».

В основе рукописи Минца лежала его же «История гражданской войны», созданная примерно в середине 30-х годов. Об этом свидетельствовали пожелтевшие страницы с аршинными цитатами из Сталина. Но рукопись была «слоеная». В ней отразились почти все напластования различных поворотов генеральной линии партии в последующие времена. Были страницы и главы более позднего производства, отражавшие уже борьбу с культом личности. В качестве главного цитируемого возвращался Ленин, но был и Хрущев. Кое-где, хотя в темных красках, проскальзывал Троцкий. Имелись и еще более свежие разделы, несшие на себе печать эклектики наступившего брежневского времени.

Я выбрасывал бесконечные повторы, сталинские «гениальности», переписывал откровенно слабые места, ставил недоуменные вопросы и т.п. Я торопился. Задача, стоявшая передо мной, была четкой: первый том – «Февральская революция» – должен был выйти к 50-летию Октября, то есть в 1967

году. И вот везу две-три обработанные главы в Научный совет, чтобы снять все вопросы и сдать рукопись в издательское машбюро для окончательной перепечатки. Не тут-то было! Вместо обсуждения уже отредактированного текста мне вручают... новую папку с теми же самыми главами, но «доработанными». Рукопись дописывалась в то же самое время, когда другой, первоначальный ее вариант уже готовился нами к изданию как окончательный...

Не могу теперь даже перечислить всех, кто приложил руку к переписыванию. Но, безусловно, чаще и больше других в этом участвовали: В.И. Миллер (раздел об армии), А.В. Игнатьев (внешнеполитические сюжеты), А.Д. Малявский (аграрный вопрос), Е.Г. Гимпельсон (государственное строительство), В.Д. Поликарпов (разные разделы, но больше армейские), Е.А. Луцкий и многие другие. Рукопись становилась новой, и ее редактирование надо было начинать заново. Со многими главами так повторялось по два-три раза. С работой редактора попросту не считались.

Когда, наконец, несколько тысяч страниц минцевской «Февральской революции» были уже обработаны и во многом переписаны и дело подходило к сдаче рукописи в набор, мне дали помощницу – Раису Федоровну, Раю. Это была женщина лет сорока, с хриплым прокуренным голосом. Засунутая в мундштук дешевая сигарета неизменно была в ее губах. Она работала в издательстве корректором, литературным редактором, кем угодно. И трудилась так же беззаветно, как Любовь Сергеевна. Такие люди другого просто не понимали. Ее лозунгом, позывным, опознавательным знаком была фраза: «Я сама!». Когда я видел, как, сидя за столом на лестничной площадке (из комнаты редакции ее удаляли из-за исходящих от

нее клубов убойного сигаретного дыма), она буквально утопает в обработанных мною минцевских страницах (клеит, переклеивает, размечает, компоует и т.д.), то предлагал свою помощь. Моя Раиса делала отторгающий жест рукой и говорила одну и ту же фразу: «Я сама!». Юхт, посмеиваясь, так и звал ее: Раюха Ясама. Она проделала всю работу по подготовке рукописи к сдаче в набор, в ведомство Кацнельсона, а затем в типографию на Смоленской.

Адским оказался труд по проверке цитат из собрания сочинений Ленина. Другое цитирование мы практически уже не проверяли, да это, в общем, было невозможно, так как требовало привлечения огромного количества литературных и архивных материалов. Но ленинские цитаты – это было дело святое. Цитата должна была быть скопирована с абсолютной точностью, включая знаки препинания, падеж и т.п. А так как в минцевских рукописях этих цитат было более чем достаточно, даже моя Раиса часто просила меня помочь ей «в подчитку».

Увы, крушение «Ясамы» происходило на глазах. Все чаще по утрам от нее пахло винным перегаром, из-под густого слоя пудры на лице проступали синяки, пальцы дрожали. Не знаю, что было с ней потом, когда я ушел из издательства. Хорошего быть не могло. У меня теперь нет минцевских томов, и я не помню, указана ли ее фамилия на них. Если указана, то это – вся память о ней для безразличных взглядов тех, кто, может быть, еще снимет с полки и полистает давно запылившиеся тома. А для меня она – частичка поколения тех малых, но великих трудяг, которые уже ушли.

«Красное колесо» И. Минца

И все-таки мы с Раисой не подкачали. Несколько толстенных папок с полностью подготовленной рукописью были готовы к сдаче в производство. Их разделили на две части. В первую вошло все, что было связано с Февральской революцией, во вторую – главы «О подготовке и проведении Октябрьской революции». Странным образом никто не заметил, что такое название лишь подтверждает «буржуазную фальсификацию», трактующую Октябрь как переворот. На титульном листе всей минцевской рукописи значилось то же самое. Ничего не сказав Минцу об этой «методологической ошибке», я указал лишь на то, что название очень длинно, привычно и избито. «Что вы предлагаете?» – перебил он меня. Я ответил: «“История Великого Октября”». Коротко и ясно». Он сразу согласился. Договорились, что это станет общим названием для всех томов, сколько их будет, а каждый том получит свое название. Первый назвали «Свержение самодержавия» (это соответствовало концепции того времени), а второй и того хуже – «Свержение власти буржуазии».

Первым еще в текущем 1967 году должно было выйти «Свержение самодержавия». Вслед за ним, в начале 1968 года, – том об Октябре. Минцевское «Свержение самодержавия» было, в сущности, первой большой (даже очень большой) монографией о Февральской революции, обычно рассматривавшейся только как некое «предмостье» к Октябрю. Но в 1967 году эта монография была уже не единственной. Одновременно должны были выйти монография Э.Н. Бурджалова «Вторая русская революция» и первая часть коллективной монографии ленинградских авторов «17-й год в Петрограде».

Эдуард Николаевич Бурджалов был неординарным человеком. Маленький крепыш с круглой облысевшей головой, он был начинен огромной энергией и несомненно обладал ораторским даром. До XX съезда КПСС он был партийным функционером, затем с той же решительностью начал борьбу с догматизмом, основанном на известном «Кратком курсе» истории партии. В сущности, он стал диссидентом в исторической науке. Меня очень интересовали внутренние пружины таких метаморфоз, и я однажды прямо спросил его об этом. Вразумительного ответа я не получил, вероятно, потому, что такой феномен действительно труднообъясним, так как определяется разнообразными, часто скрытыми и от себя самого причинами. За свое диссидентство Бурджалов тогда же был «бит»: изгнан из журнала «Вопросы истории», где работал заместителем главного редактора, затем из Института истории, и оказался на кафедре истории Педагогического института им. Ленина, которой руководил Минц. Минц, конечно, мог бы и не взять его, но взял. В 70-е – 80-е годы я часто бывал у Бурджалова дома (он уже тяжело болел), и он рассказывал много интересного. Уже тогда он считал, что большевизм (в том виде, в каком он подошел к этому времени) исчерпал себя, завел страну в тупик. «Нужна новая революция, – говорил он, – и она будет».

Минц, я думаю, понимал, что работы Бурджалова и ленинградцев будут более современными как с точки зрения концепции, так и в отношении источниковой базы. Но он, видимо, полагал, что его линия трактовки «Февраля», пройдя по центру («Февраль» у него уже не был сделан большевиками, но их роль в его подготовке и проведении все еще считалась высокой), утвердится при поддержке «сверху», оттеснив Бурджалова и «питерцев» влево и сделав их уязвимыми для офи-

циальной (другой и не было) критики. Надо отдать ему должное, он (во всяком случае, по моим сведениям) не предпринимал ничего, чтобы помешать изданию книг своих конкурентов, хотя некоторые рычаги для этого у него, безусловно, имелись. Почему? Я не думаю, что от широты души. Он был очень умен и хитер и, по моим наблюдениям, избегал ситуаций, создававших ему недругов, особенно в том случае, если его позиция никоим образом не могла быть затронута. Да, в определенных кругах историков работа Бурджалова была бы оценена намного выше (что в действительности и произошло), но Минц делал ставку не на эти круги, а на официальное партийное руководство, ЦК и его отдел науки, которые определяли курс исторической науки.

«И настал день». Первый том вышел прямо к празднику 50-летия революции. Второй том, посвященный непосредственно Октябрю, – некоторое время спустя. Он был выстроен по простой схеме: весь 17-й год – это движение мощных революционных потоков: рабочего, крестьянского, солдатского и национально-освободительного. Большевики своей организационной работой соединяли эти потоки воедино и вели их по пути к социалистической революции. Вооруженное восстание против буржуазной власти (т.е. Временного правительства) готовилось чуть ли не по всей стране, имело «всероссийский характер», что и обеспечило триумфальное шествие советской власти. Огромный и разнообразный материал был привлечен для обоснования этой схемы. Если первый том насчитывал 65 печатных листов, то второй, если не ошибаюсь, приближался к 80-ти. Кто прочтет такие «глыбы», – об этом как-то не думалось.

На радостях автор устроил небольшой прием у себя дома на Ленинском проспекте, 13. Когда мы с Юхтом явились в его

большую квартиру, там уже были некоторые сотрудники Совета. Ждали главных гостей – друзей Минца, академиков В.М. Хвостова и П.Н. Поспелова. Они приехали вместе. Трудно было себе представить более разных людей. Хвостов – высокий, барственный, по виду даже надменный, принадлежавший, кажется, к старинному дворянскому роду, из профессорской семьи. Поспелов – маленький, плюгавый мужичонка с бледным одутловатым лицом и рыжеватой челкой на лбу. В былые времена Хвостов в лучшем случае протянул бы Поспелову два пальца и назвал бы его «уважаемый», но советская власть сблизила «спеца», перешедшего к ней на службу, и «выдвиженца» из низов. Оба они достигли высокого положения. Хвостов занимал пост академика-секретаря Отделения истории Академии наук и какую-то высокую должность в МИДе; Поспелов в разное (в основном – сталинское) время был редактором «Правды», потом директором Института марксизма-ленинизма, секретарем ЦК КПСС. Претендовал чуть ли не на главного идеолога. Это он являлся одним из авторов хрущевского доклада на XX съезде. Помню его выступление в Институте уже в начале 70-х годов, когда развернулась борьба против представителей уже упомянутого «нового направления» (лидером его был директор Института П.В. Волобуев). Небольшой наш актовый зал был переполнен. Над трибуной едва возвышалась только голова Поспелова. Он был сердит, шепелявил больше обычного. То, что он мямлил, не очень доходило. Вдруг он, видимо, приподнявшись на носках, вырос над трибуной, выбросил одну руку вперед и прокричал: «Вот тут все говорят: “Шпециалисты, шпециалисты...”». Не шпециалисты нам нужны, а ленинсы!». И снова почти скрылся за трибуной...

Но это произошло позднее, а здесь, в минцевской квартире, Поспелов, постучав вилкой по хрустальному графину с

водкой, попросил слова. Суть его речи-тоста я хорошо запомнил. Он говорил, что значение минцевских книг об Октябре теперь еще не всем ясно, но оно полностью будет оценено сорокпятьдесят лет спустя. Было ли это неискренним, дежурным комплиментом гостеприимному хозяину? Вряд ли. Поспелов был человек весьма серьезный. И кто тогда мог думать, что мы еще станем современниками и свидетелями крушения страны «Великого Октября», что участник Октябрьской революции Минц, писавший о ней как о «весне человечества», напоследок увидит и конец этой «весны», что большевизм «крахнет» (любимое слово академика) так же до изумления быстро и легко, как «крахнули» царизм и Временное правительство, что не его, минцевские, труды станут «первыми номерами» книг о революции в России, а написанные с противоположных позиций.

Развал советской системы вызвал столь же быстрый переворот в историографии: в 70-е – 80-е годы она явно эволюционировала и вширь, и вглубь. Но когда рухнул режим, по нашей российской склонности к крайностям произошла стремительная смена знаков: плюсы меняли на минусы и наоборот. «Тушинские воры» из XVII века перебежали в XX век.

За своевременное издание двух томов «Истории Великого Октября» меня наградили почетной грамотой. Минц получил Ленинскую премию. Но я дал себе слово, что следующего, третьего тома («Революция на местах») для меня уже не будет: откажусь наотрез.

В начале 1968 года из издательства в Институт истории ушел Юхт. Освободилось место заведующего нашей редакции. Его предложили мне. Но я сознавал, что это не мое. Однако у начальства были какие-то соображения – не знаю, какие. На меня продолжали давить дирекция и партком. Я решил

поговорить с Минцем. Пришел к нему домой, в огромный кабинет, заваленный пыльными книгами, папками с рукописями, просто кучами бумаг. То же было и на его рабочем столе. Из-за этой груды маленького академика иногда просто не было видно. Я изложил ему суть дела. «Ну, что ж, – сказал он, – соглашайтесь, конечно; это же хорошая должность. А третий том мой вы будете редактировать?» В этот момент я сообразил, что могу сказать «нет» с основанием, которое не может быть оспорено даже «небожителем». Я ответил, что, к сожалению, это невозможно: под моим началом будут десять редакторов, имеющих определенные нормы и план; времени для редакторской работы у меня не останется. «Ладно, подумаем», – сказал Минц. Через несколько дней академик сообщил, что возьмет меня в свой Научный совет с условием, что я доведу до конца трехтомное издание «Великого Октября». Был май 1968 года.

Когда в издательстве я сообщил, что перехожу в Институт, юморист Косов сказал: «Ну и правильно. Вот и ты выходишь на большую дорогу...».

Меня принял человек с весьма редким для того времени именем. Это был «гарный» мужчина, уже поседевший, но с довольно пышной шевелюрой, со смазливим лицом, на котором лежал четкий отпечаток большого «жизнелюбия». Прохаживаясь по кабинету, выясняя мою «трудовую биографию», он высказывал (на всякий случай) комплименты выдающейся учености Минца и деятельности его Научного совета по истории Октября. Наговорившись, он прикрыл дверь из кабинета в приемную, где сидела секретарша, сел напротив меня и, доверительно перейдя на «ты», сказал: «Я тут окончил книгу, тоже о 17-м годе. Возьмешься ее проредактировать?». Через несколько дней меня оформили и.о. младшего научного сотрудника. Дверь заветного Института истории для меня открылась! А монография, редактировать которую я согласился, примерно через год вышла в свет. Ничего из нее не помню.



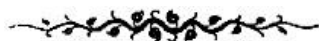
*В период работы в Институте
истории СССР. 70-е гг.*

го казачества» в гражданскую войну, академика, Героя социалистического труда, лауреата Ленинской премии на Ново-Девичьем кладбище. Помощник попросил Полякова немного подождать у телефона и пошел к кому-то выяснять. Через несколько минут он вернулся и сказал, что хоронить на Ново-Девичьем нецелесообразно. Похоронили Минца на кладбище в Востряково.

Я вспоминаю, как зимой ездили мы на его дачу в звенигородскую Мозжинку, как поздними вечерами ходили по уже пустынному кругу поселка, дыша хрустальным мозжинским воздухом. Чистейший снег скрипел под ногами. Давно это было...

Я проработал в Институте истории СССР около тридцати лет. В 1985 году началась «горбачевщина». Академик И.И. Минц, за свою долгую жизнь с полной готовностью принимавший все повороты и изгибы партийной линии, принял и ее. Но она не приняла его. Он умер в 1991 году. Помню, как друживший с ним член-корреспондент АН Ю.А. Поляков звонил в ЦК помощнику Горбачева, чтобы получить согласие на похороны комиссара корпуса «червоного

**БОРЬБА
ЗА ПРОШЛОЕ –
КОНТРОЛЬ
НАСТОЯЩЕГО**



Прорабы и проработчики

*Пр*овозглашенная Горбачевым гласность началась не столько с осмысления советского настоящего, сколько советской истории как таковой. Как писал «перестроечный» экономист О. Лацис, произошел «почти шизофренический сдвиг центра общественного внимания к проблемам нашего прошлого». Историки оказались в моде, причем появился даже особый их тип. Если раньше образ историка связывался с чем-то подобным летописцу Нестору, уединенно пишущему «Повесть временных лет», то теперь этот «Нестор» вышел на публику. Появились историки-трибуны. Больших «повестей» за ними не числилось; их оружием в основном было устное слово. Вряд ли ошибусь, если скажу, что тон во многом задавал Юрий Афанасьев, в прошлом – проректор Высшей комсомольской школы, а в начале перестройки, по-моему, уже заведующий отделом истории журнала «Коммунист». Немного позднее он стал одним из лидеров Межрегиональной группы Съезда народных депутатов и особенно прославился своим афоризмом «агрессивно-послушное большинство», брошенным в лицо «антидемократической массе» делегатов Съезда. Но это будет позже, а в начале перестройки он выступил как ученый, поставивший под вопрос марксистско-ленинскую методологию в ее сталинистско-брежневском оформлении.

Восхождение Афанасьева на политическую арену началось со статьи, напечатанной в журнале «Коммунист», кажется, в 1987 году. Она произвела в среде историков переполох. На Афанасьева обрушились кары. По совместительству он работал в Институте всеобщей истории АН СССР, и его директор, член-корреспондент АН СССР З.В. Удальцова, немедленно уволила автора новых методологических изысканий. Она, видимо, расценила их как очередной идеологический вывих, который надо



Выступает Юрий Афанасьев. 1987 г.

«вправить» привычными административными мерами. Но на сей раз она не сориентировалась: грянули большие перемены. Афанасьев стал ректором Историко-архивного института. В январе 1987 года в Институте истории СССР из рук в руки передавались «Московские новости» с его статьей. Существующая методология объявлялась там схемой, ведущей к упрощению, «смазыванию» живого исторического процесса и навешиванию «погромных» ярлыков. Тогда это была сенсация. В редакции «Московских новостей» говорили, что в связи с афанасьевской статьей над ними «сгущаются тучи», слышатся «глухие удары»... Но «тучи» рассеивались, а «удары» уже повисали в воздухе. Да и сам Юрий Афанасьев в своих статьях вовсе не отказывался полностью от марксистско-ленинской идеологии.

Мы в то время часто собирались в «Доме на набережной» у знаменитого драматурга М. Шатрова. Тут бывали разные люди – актеры, журналисты, писатели, историки. Обсуждались все текущие новости. И, конечно, назначение Горбачева. Некоторые говорили, что надо ждать перемен: новый генсек даже внешне не похож на прежних. Одна актриса резко возражала: «Обыкновенный пенек». Некий журналист из «Огонька» рассказывал, что Виталий Коротич, вернувшись с совещания «в верхах», дал указание сотрудникам: «Вперед, никуда не сворачиваем, круто перестраиваемся». А присутствовавший Аркадий Ваксберг из «Литературки» сказал, что их Чак (А.Б. Чаковский. – *Ред.*) после того же совещания давал установку на

осторожность, на движение вперед, но тихо, с оглядкой. Каждый понимал как хотел, но эта разница в умозаключениях, видимо, шла также от противоречивости и эклектичности самого Горбачева.

Очевидным было мощное давление на него с двух сторон. С одной стороны, это были силы, которые, как теперь видно, углядели возможные последствия проводимой перестройки. В «Литературной России» в конце марта 1987 года были опубликованы высказывания С. Михалкова, П. Проскурина, И. Шундика, Ю. Бондарева и др. Шундик писал, что одно дело, когда ветер «наполняет паруса нашего корабля», и совсем другое, когда от ветра «корабль раскачивается». Бондарев шел еще дальше и говорил о необходимости «нового Сталинграда».

С другой стороны, давили либеральные радикалы и радикальные либералы, называвшие себя демократами. Они давили как изнутри, так и извне. Интеллектуалы-изгнанники Ю. Любимов, В. Аксенов, А. Зиновьев и др., еще не вернувшиеся к тому моменту на родину, в письме, напечатанном 29 марта 1987 года в «Московских новостях», требовали от Горбачева доказательств серьезности и искренности его перестроечных намерений.

Но, как писал протопоп Аввакум, возвратимся на первое. Став ректором Историко-архивного института, Афанасьев быстро превратил его в некий форум, где при огромном стечении народа энергично «смывались белые пятна истории» и поднимались острые темы. Мой знакомый, замечательный историк древней Руси В. Кобрин, даже называл афанасьевский институт Меккой историков. Хорошо запомнилось одно из первых выступлений на тему «Сталин: личность и символ» сотрудника нашего Института Ю. Борисова. Вся улица перекрыта дружинниками и милицией. Толпа рвется по ступенькам в двери Института. Там «пробки». Лезут даже в окна. Шум, гам, как перед футболом. Секретарь Афанасьева провела нас,

несколько человек, каким-то черным ходом, через двор. В зале – телевидение, журналисты с микрофонами. Суета страшная...

Историко-архивный институт тогда находился в старинном здании на ул. 25 Октября. В нем было тесно и сумрачно, а однажды в приемной ректора я заметил шмыгающих мышей. Это потом, когда после путча ГКЧП партийное имущество расхватывалось, пожалуй, похлеще, чем это делали в 1917 году кронштадтские матросы, «экспроприируя экспроприаторов», Институт перебрался в огромное, роскошное здание ВПШ на Миусах.

Выступление Борисова вызвало сенсацию. Прошло тридцать лет со времен XX съезда партии, на котором Хрущев свел Сталина с пьедестала. И с той поры «сталиноведение» совершало лишь попятное движение. Кажется, впервые с тех времен Сталин снова становился объектом исторической критики. Общественность взволновалась. Доклад, по перестроечным временам, был слабым. Борисов попал под огонь яростных вопросов, которые припирали его к стенке. А он пытался сохранить историческую объективность и к тому же, видимо, опасался выйти за привычно очерченный методологический круг. В итоге выходила примерно такая концепция: субъективно Сталин – преступник, но объективно он крепил государство и строил социализм.

Между тем борьба на историческом фронте все более разгоралась. В мае 1987 года, демонстрируя свой плюрализм (это словечко все больше входило в моду), «Московские новости» напечатали «Письмо четырех». Одним из «четырех» был бывший ректор Историко-архивного института Н. Мурашов, известный как «крутой» сталинист. Другим был заведовавший сектором истории Октябрьской революции нашего института П. Соболев – личность весьма колоритная... «Четверка» в идеологическом раздражении набросилась на Афанасьева, обвинив его ни много, ни мало в... троцкизме!

Но «линия Афанасьева» все более пробивала себе дорогу. Он стал своим в главной цитадели московской интеллигентской элиты – Центральном доме литераторов на ул. Воровского. Там шумно обсуждались его статьи, там он призывал вернуть «реки общественно-политических наук» в их естественное течение, громил наше «беспробудное единство». Из институтских его поддержали П. Волобуев и особенно историк гражданской войны В. Поликарпов.

Шло лето 1987 года.

«Московские новости», ставшие чуть ли не флагманом перестройки в СМИ, мощно вторглись и в историческую науку. Заведующий отделом морали и права В. Шевелев открыл рубрику «Былое». Она превратилась в широко открытое окно, куда ворвался свежий ветер истории. Сотрудничал в этой рубрике и я. Однажды произошел любопытный случай.

Звонит Шевелев, спрашивает: «Мог бы ты написать для нас статью о “Протоколах сионских мудрецов”? У нас тут об этом никто ничего не знает». Я пошел в спецхран Ленинки. Статью напечатали с врезкой: «Мистер Коул из Канады просит нас рассказать о “Протоколах сионских мудрецов”». Отвечаем на его просьбу». Наверное, это был знак: быть мне в Канаде!

Те, кто еще помнят «зарю перестройки», в ответ на вопрос о главных ее ударных отрядах наверняка назовут «Московские новости» при Егоре Яковлеве и «Огонек» при Виталии Коротиче. Но одним из зачинателей перестройки на историческом фронте была, пожалуй, и газета «Советская Россия». Та самая «Советская Россия», которую впоследствии демократы презрительно называли «Савраской» за ее пророссийский и прокоммунистический дух. Но поначалу «Советская Россия», возглавляемая тогда В. Чикиным, включилась в перестройку, понимая ее, конечно, по-своему. Между прочим, само выражение

«прорабы перестройки» вышло из «Советской России». Она занялась ликвидацией «белых пятен» в истории. Немалую роль в этом сыграл заместитель Чикина В. Иванов. Он предоставлял страницы газеты многим нетрадиционным, ранее закрытым темам, трактуя их, правда, со старых позиций. «Советская Россия» напечатала, в частности, статьи о «военспецах», власовцах, о расстреле бывшего царя и его семьи в Екатеринбурге. Эта последняя публикация получила отклик даже за границей, хотя тогда еще мало кто мог предположить, что уже совсем скоро «романовская тема» вызовет настоящий бум.

Позиция, занятая «Советской Россией», – свидетельство того, что горбачевская перестройка на первых порах находила поддержку широких партийных кругов. Но они понимали и воспринимали ее ограниченно, в рамках существовавшей политической системы. Когда же стало ясно, куда идет дело, была дана партийная команда: стоп. Иванов был ленинец, а Ленин учил, что «середины нет», что о середине «мечтают барчата, учившиеся по плохим книжкам». В просторечии это, наверное, звучит так: дашь палец – отхватят всю руку. Оглядываясь теперь на прошлое, на то, что произошло за последние пятнадцать лет, иногда думаешь: не прав ли был Ленин? Вечный «больной вопрос»: компромисс или твердость? Уступать или стоять на своем?

И все-таки не случайно Е. Лигачев выбрал «Советскую Россию», чтобы в марте 1988 года напечатать в ней нашумевший «манифест антиперестройки» Нины Андреевой, названный «Не могу поступиться принципами». Кстати, Иванов очень ярко по секрету рассказывал, как уже после публикации статьи Андреевой Чикину позвонил Горбачев и крыл его многоэтажным матом.

«Дальше, дальше...»

А в «Доме на набережной» у М. Шатрова по-прежнему собирались многие из тех, для кого горбачевская перестройка значила несравненно больше, чем хотели в «Советской России». Обсуждали готовящуюся к постановке в Вахтанговском театре пьесу «Брест» и замыслы новой пьесы, позднее названной «Дальше, дальше, дальше...», о последних годах жизни Ленина. «Брест» когда-то был блокирован Интитутот марксизма-ленинизма, но теперь спешно дорабатывался с учетом открывшихся возможностей.



Михаил Шатров

В просторной и хлебосольной квартире Шатрова часто бывали О. Ефремов со своим театрално-литературным «оруженосцем» А. Смелянским, Е. Амбарцумов, его друг А. Цыпко, в то время резко перестроечный, а позднее, кажется, превратившийся в «кающегося либерала». Приходили А. Гельман, А. Ваксберг и многие другие умы и таланты. Чаще всего, конечно, бывали люди театра и особенно много звезд МХАТа. Театр переживал тяжкий кризис: столкнулись «ефремовцы» и «доронинцы». У Шатрова бывали «ефремовцы», которые рассказывали, будто «черносотенные доронинцы» распространяют слухи о Ефреме как человеке, «прилежащем к питию хмельному» и потому попавшем под влияние «шатровых, гельманов, смелянских».

Сгрудившись за большим столом в гостиной, народные

и заслуженные под руководством Смелянского писали «наверх» разного рода бумаги в защиту своих позиций.

Нередко обсуждения пьес и даже писание некоторых их отрывков переносились в Переделкино. Тут бывал М. Рошин, последними словами кривший всю «советскость». Заходил А. Рыбаков, уже прославившийся «Детьми Арбата» и собиравший материалы для книги о времени московских процессов. Маленький крепыш, с хмуроватым лицом, он производил впечатление очень волевого, напористого, уверенного в себе человека. Однажды он прокомментировал статью некоего А. Горбачева из журнала «Молодая гвардия», направленную против «сверхперестроечности» «Огонька» и «Московских новостей»: «Для “молодогвардейцев” перестройка – это угроза проникновения в Россию “Запада”, точнее – масонства, еще точнее – еврейства. А им бы хотелось перестройки на славянофильский манер». – «По вашему мнению, Анатолий Наумович, осият они?» – спросил кто-то из присутствовавших. «Да они трусы, – сказал Рыбаков. – Надо только стукнуть кулаком по столу!» – «Кто же стукнет-то?» – обратились к нему. «Горбачев должен, а он медлит, тянет, колеблется».

«Молодая гвардия» и «Наш современник» являли собой «базы» русских националистов. Они, конечно, не были трусами. Их можно было понять: они душой болели за Россию. Рыбаков рассказывал о письмах, получаемых им от читателей «Детей Арбата». Всего этих писем было более пятисот, а отрицательных, по его словам, – только 10%. Рыбаков был явным «перестроечным оптимистом», в отличие от А. Ваксберга из «Литературки», этого советского «разгребателя грязи». В августе 1987 года, когда Москва хоронила артиста Андрея Миронова, в Переделкино приехал мрачный Ваксберг. «Перестройка, – сказал он, – скончалась, как Миронов. Кажется, только один Миша не понимает этого». («Мишей» был Горбачев.) Впрочем, настроения Ваксберга менялись. В

нем было нечто легкое, блестящее, французское. И актерское. Он производил впечатление человека, весьма информированного, но, увы, вынужденного не делиться даже с близкими тем, что знает.

Шатровскую пьесу «Дальше, дальше, дальше...» обсуждали не раз и при большом стечении известных людей. Часто сидели до глубокой ночи. На пьесу делалась большая ставка. Считали, что ее постановка в ефремовском МХАТе может повлиять на общественную атмосферу в пользу перестройки. В сентябре 1987 года Шатров читал ее у себя в «Доме на набережной». Слушали Ефремов, Табаков (его все звали Лелик), А. Смелянский, историк В. Логинов. Ефремов слушал очень внимательно, даже напряженно, беспрестанно курил. Примерно через три часа чтение закончилось, наступила пауза. Потихонечку разговорились. Сошлись на том, что пьеса перенасыщена фактическим материалом, кто-то заметил, что в ней еще чувствуются пропагандистские «нажимы». Потом состоялось другое чтение. На сей раз на нем присутствовали преимущественно наши институтские историки: В. Данилов, В. Лельчук, еще кто-то. Были Афанасьев и внучка Хрущева – Юлия. Общее мнение склонялось к тому, что следует сильнее обличить Сталина, подчеркнув уголовный характер его деяний. Запомнилось то, о чем говорил Данилов. Он считал, что ставший модным идеологический знак равенства между Сталиным и Троцким неверен: они разные. Афанасьев не согласился, возразил: «Два сапога пара». Лельчук говорил о политическом одиночестве Ленина в начале 20-х годов. Потом от пьесы перешли к общей ситуации. Афанасьев высказался в том смысле, что события в стране уже пошли дальше пьесы.

Высокие потолки ИМЛ

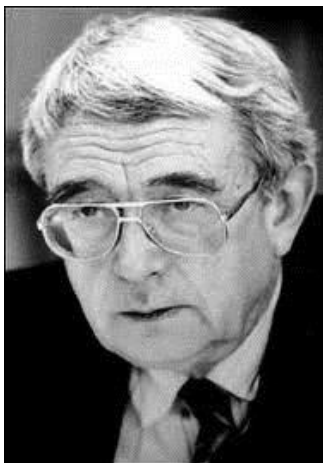
В начале октября 1987 года «Дальше, дальше, дальше...» все же была принята к постановке во МХАТе. Несколько раз по просьбе Шатрова и Ефремова наши институтские историки приходили в театр, чтобы помочь актерам приблизиться к той эпохе. Прудкин, Смоктуновский, Борисов, Любшин, Калягин, Кашпур, Васильева, Мягков и другие артисты слушали наши рассказы, задавали вопросы. Сергачева, например, очень волновала роль масонов.

Дело дошло уже и до распределения ролей. Смоктуновский должен был играть Керенского, а Борисов – Сталина. По небольшой реплике, брошенной Керенским (Смоктуновским) Сталину (Борисову), мне стал понятен масштаб Смоктуновского-актера. Обращаясь к Сталину, Керенский говорит с презрительной интонацией: «Что касается вашего понимания революции, то об этом я уже читал в вашей работе “Краткий курс истории Ве... Ка... Пэ... Бэ!”». Кто-то засмеялся: так выразительно это было сказано. Смоктуновский спросил: «Что, понравилось? Запишем!». И сделал пометку в своем тексте пьесы. Сидевший рядом со мной Борисов, покосившись на Смоктуновского, сказал с кавказским акцентом: «Он еще нэ пачувствовал мою руку... Нычэго, скоро пачувствуэт!».

Между тем обстановка на фронте истории непрерывно усложнялась. У нас в Институте истории «зашатались» сектора, тематически связанные с советским периодом. Было ясно, что на прежних позициях, определяемых решениями съездов КПСС и пленумов ЦК, уже не удержаться. К тому же стал чаще болеть неформальный глава «революционной тематики» Минц, переваливший за девяносто лет. А уже упоминавшийся П. Соболев, в свете происходивших событий, казался просто динозавром. Институт марксизма-ленинизма, наоборот, активизировался. В

середине сентября 1987 года опять зашла речь о подготовке новой книги по истории КПСС, рассчитанной на самый широкий читательский круг.

Нас пригласили к директору ИМЛ академику Г. Смирнову, которого в историко-партийных кругах звали Лукичом. Лукич был крупным мужчиной, на лице которого выделялись очки с толстыми стеклами. Но и они не скрывали его сильнейшей близорукости, что придавало лицу мягкое, доброе выражение. В огромном директорском кабинете, устланном мягким ковром, собралось несколько наших институтских и сотрудников ИМЛ. Присутствовал и глав-



Егор Яковлев. Конец 80-х гг. главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев, ранее известный как лениновед. Впрочем, это было единственное заседание нашей группы, на которое он пришел.

Смирнов говорил просто, ясно. Не чувствовалось никаких следов «академичности». Он сказал, что о книге уже думают в Политбюро. Решения пока никакого нет, но оно вот-вот может последовать, и уж тогда-то для работы будут созданы все условия, в том числе проживание членов группы на даче ЦК, скорее всего – в Серебряном Бору. Затем стали задавать вопросы. Хотелось знать, насколько все же расширяются рамки для свободного изложения материала. Лукич поднял палец вверх и сказал: «Видите, какие в ИМЛ высокие потолки? И для вас устанавливаются такие же очень высокие потолки. Очень».

Через десять лет после описываемых событий мне попалась

книга Лукича, его мемуары «Уроки минувшего». Смирнов рассказывает там о том, как у него росло отрицательное отношение к горбачевской перестройке: «Речи Михаила Сергеевича о социалистическом выборе, великой правоте Октябрьской революции, об укреплении социализма в СССР через перестройку – не более чем пустая риторика, предназначенная для маскировки и обмана людей». Неужто так и было?

Время шло к 70-й годовщине Октябрьской революции, и общественность, по традиции, ждала «руководящего» выступления. Никто не сомневался, что на сей раз выступит сам Горбачев: и дата круглая, и время сложное, снова переходное...

«Говори!»

А по Москве повсюду – в научных учреждениях, издательствах, редакциях – что ни день, возникали разные «круглые столы», за которыми шли горячие споры о прошлом и настоящем. Часто бывавший в «Доме на набережной» юный длинный симпатыга Саша Буравский сразу стал знаменит своей пьесой, которая называлась «Говори!». Ее поставил в Театре Ермоловой Валерий Фокин, и попасть на спектакль было очень трудно. Над входом в театр долго висело полотнище с надписью «Говори!».

И Москва, во всяком случае в лице так называемой интеллектуальной элиты, говорила. У меня частично сохранились пригласительные билеты на эти «круглые столы» и другие встречи в Институте научной информации по общественным наукам АН СССР (ИНИОН), в редакции БСЭ, Педагогическом институте им. Крупской, МГУ, Институте ядерных исследований, Доме политпросвета горкома партии (на Трубной), Главном архивном управлении, в редакции «Правды», Центральном доме литераторов, АПН и др. Говорили чуть ли не взахлеб. Вспоминался донской атаман Каледин, который, обращаясь к Донскому правительству

в январе 1918 года, сказал: «Господа, говорите короче! Ведь от болтовни погибла Россия!».

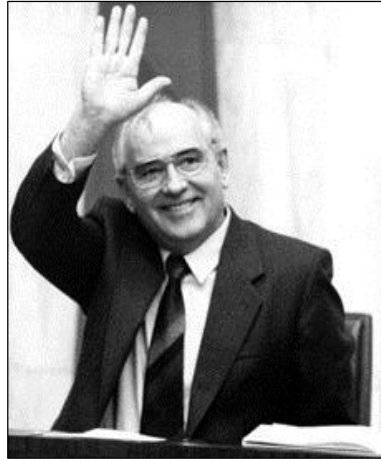
В АПН его глава В. Фалин, похожий на монаха какого-то католического ордена, собрал у себя «звезд перестройки» – Ю. Афанасьева, философа А. Бутенко, историков П. Волобуева, В. Поликарпова, еще несколько человек. Говорили опять взахлеб. Несколько часов. Афанасьев теперь уже отвергал поколебленные, но еще не отброшенные рамки марксизма-ленинизма. «То, что мы сотворили, – говорил он, – это с социализмом не имеет ничего общего. Тут нечего подсчитывать плюсы и минусы. Теперь требуется национальное покаяние за революцию и за все то, что делалось впоследствии, за стремление установить во всем мире наши порядки». Он напомнил всем, как на ТВ, в программе «Время», наша пятиконечная звездочка облетает, охватывает весь земной шар. Резко отозвался Афанасьев о нашем старике Минце (а был когда-то его аспирантом): «Самый рьяный проводник сталинских схем в истории». Хорошо выступил Волобуев. Он говорил о возможных альтернативах 17-му году, и это прозвучало очень актуально, так как все чувствовали, что страна опять на развилке дороги: направо пойдешь, налево пойдешь...

В первых числах ноября наконец выступил Горбачев. Он намного больше, чем обычно в такого рода докладах, сказал о Февральской революции, но об Октябре, несмотря на некоторые новшества, говорил в привычных рамках «героической концепции». Некоторые «прорабы перестройки» сокрушенно цокали языками: ждали большего.

6 ноября состоялся прогон шатровского «Бреста» в Театре Вахтангова. Спектакль поставил знаменитый грузинский режиссер Р. Стуруа, М. Ульянов играл Ленина, В. Лановой – Троцкого, А. Филиппенко – Бухарина. Перед входом в театр я встретил Афанасьева. Он кого-то ждал. Я спросил его,

что он думает о докладе Горбачева. «Да, подвел нас Михаил Сергеевич, подвел!» – сказал он то ли сокрушенно, то ли с пониманием того, что так оно и должно было случиться.

Я пришел в боковую ложу, где мне было отведено место, еще до звонка, но вбежавшая билетерша в панике буквально выгнала всех, кто там находился: оказывается, на премьеру прибыл сам



Горбачев с Раисой Максимов- *М. Горбачев. Середина 80-х гг.* ной, и охрана, видимо, осматривала зал. Когда высокие гости появились в своей ложе, их приветствовали аплодисментами, но не слишком бурными. Спектакль был встречен хорошо. Ульянов спрыгнул со сцены, подошел к ложе, обнимался и целовался с Горбачевым и Раисой... И все же осталось какое-то странное впечатление. Ленин дико кричал, падал на пол, становился перед Троцким на колени, умолял его подписать мирный договор в Бресте. А Троцкий появлялся из стены в бурке, со свечой в одной руке и дирижерской палочкой в другой...

Но «Брест» был уже пройденным этапом. Ефремов хотел поставить свой спектакль, сказать слово, способное повлиять на общественный настрой. Это он связывал с «Дальше, дальше, дальше...». Пьеса уже была передана главному редактору «Знамени» Г. Бакланову, но он, естественно, не мог напечатать ее в журнале без санкции ИМЛ. Обратились туда. За подписью Лукича пришла какая-то кислая бумага с разного рода замечаниями. Смысл их сводился к тому, что нельзя отрицать заслуги Сталина в деле построения социализма, и что социализм построили, хотя, конечно, были допущены

ошибки и просчеты. Бухаринская же альтернатива Сталину (Бухарина в это время пытались поднять на пьедестал) «не учитывает фактора времени».

Снова состоялся сбор в «Доме на набережной». Приехавший Ефремов сказал, что «Брест» Стуруа ему не по душе, что на самом деле просто существовала «малина» с паханом, крестным отцом и т.п. Тут же он изобразил это свое понимание в лицах. Ему же хочется, чтобы Ленин был показан как человек, создавший Сталину условия для его власти, но ужаснувшийся содеянному. Его поддержал Л. Карпинский, который говорил, закуривая одну сигарету за другой.

Примерно в это же время на небосклоне Научного совета появился любопытный человек. Его звали Гелий Рябов. В узких кинематографических кругах он был довольно широко известен как сценарист фильма «Рожденные революцией», посвященного первым годам советской милиции. Этот фильм был удостоен Государственной премии. Теперь Гелий Трофимович замыслил создание многосерийного исторического полотна о гражданской войне. Фильм, по его словам, должен был покончить с «однбокостью», с героизацией красных и очернением белых. В нашем институте, вернее, в Научном совете, Рябов хлопотал о бумаге, позволяющей ему подкрепить заявку на такого рода фильм. Старик Минц бумагу подмахнул, но на этом мои встречи с Рябовым не прекратились.

Однажды (это было уже в 1988 году) я побывал у Рябова дома. Прошли в его комнату-кабинет, и я... ахнул от неожиданности. Все стены комнаты были увешаны портретами и фотографиями царствовавших особ, великих князей, белых генералов и т.д. Тут Рябов поведал, что еще в 1979 году, вместе со своим приятелем-геологом, он, опираясь на некоторые секретные архивные материалы и прежде всего на сверхсекретную «Записку Юровского» (коменданта Ипатьевского

дома в 1918 году), хранившуюся в партархиве, нашел и раскопал место, где Юровский с товарищами тайно погребли останки царской семьи и ее слуг. Таким образом, он нашел то, что не мог найти в 1919 году колчаковский следователь Н. Соколов, ходивший по деревенскому настилу на Коптяковском проселке в Поросенковом лугу и не подозревавший, что там, под настилом, – царские останки. Не верилось глазам и ушам. А Рябов показывал какие-то бережно хранимые альбомы, экспонаты, небольшую коробочку, под стеклом которой лежали рыжеватые волосы, по убеждению Рябова, чуть ли не с головы самого императора. Все это представлялось невероятным!

Впоследствии Г. Рябов опубликовал книжку «Как это было», в которой изложил историю поисков останков бывших венценосцев, историю всего, что происходило вокруг, а также свое монархическое кредо. Эта книга наводит на мысль, что «тайные раскопки» Рябова и его приятеля имели какую-то не менее тайную поддержку со стороны «сильных мира сего». Одним из этих «сильных» мог быть министр внутренних дел брежневско-андроповского времени Н. Щелоков – могучая фигура с трагической судьбой: он сам и его жена покончили жизнь самоубийством. Если за спиной Рябова действительно незримо стоял Щелоков, то чего он мог хотеть? Какую цель преследовал?

«Белые пятна», связанные с убийством бывшего императора и его семьи, не только исчезали с исторической карты, но неожиданно «оживали»! Одним из таких «белых пятен» был комиссар В.В. Яковлев (К. Мячин), по заданию Свердлова перевозивший Романовых из Тобольска в Екатеринбург весной 1918 года. Его судьба прослеживалась примерно до осени 1918 года, а потом он исчезал. И вдруг... Из Свердловска раздался телефонный звонок. Объявилась дочь того самого Яковлева! Позднее Елена Константиновна (так ее звали) побывала в Москве, привезла обширный архив отца, чудом

сохранившийся после его ареста в 1938 году. Материалы архива не давали точного ответа на вопрос, какую же цель преследовала Москва, вывозя бывшего царя и его семью из Тобольска. Из яковлевских документов следовало, что Екатеринбург стал для них вынужденной остановкой. «Эпопея Яковлева» порождала несколько версий. Вместе с тем она отражала какую-то неопределенность позиции самих большевистских «верхов» относительно судьбы Романовых, и не исключено, что Ипатьевский дом стал трагическим итогом взаимодействия разных сил: стихии событий, борьбы политических группировок и решений вполне конкретных людей.

Скоро, как уже сказано, «романовская» тема вырвалась из-под многолетнего сурового запрета и прямо-таки захватила умы. Ясно было, что ее старались использовать в политических целях. «Национально-патриотические» круги – в одних, а «либеральные» – в других. Началась настоящая пляска на костях.

«Не изменяй теченья дел»

В начале 1988 года группу, назначенную для создания новой книги по истории КПСС, пригласили в ИМЛ. Но уже чувствовалось, что этот замысел опаздывает, так как подули ветры, ничего общего с КПСС и ее историей не имеющие. На этом сборе Лукич призвал присутствовавших «не выносить за стены ИМЛ то, что здесь говорилось», хотя было совершенно непонятно, что именно тут говорилось, не подлежащее разглашению. После этого предупреждения Лукич удалился, а заседание повел его заместитель В. Журавлев, сделавший в ИМЛ быструю карьеру. Обсудили предложенный график и решили представить первый вариант текстов к марту.

12 января 1988 года в «Правде» появилось «письмо ветерана» – Б. Мухина. «Очень жаль, – говорилось в нем, – что в такое замечательное время развития Октябрьской революции

встречаешь писания, когда иной автор бездумно или с умыслом, вкривь и вкось передергивая события и факты, пытается дискредитировать героев прошлого, а по сути наш строй, нашу историю, все, что нам дорого и свято». Все понимали, что когда дело доходит до «слова ветеранов», то это серьезно, и действительно, та же «Правда» в конце января и в феврале «ударилась» по «Дальше, дальше, дальше...». Некоторые институтские историки попытались организовать ответ. Сразу же выявились твердые «подписанты», те, кто потихоньку «отваливали», и колебавшиеся. Хотели подключить к списку подписавшихся двух академиков – И.И. Минца и А.М. Самсонова. Самсонов подписал, а Минц под разными предлогами увильнул. Увильнул и профессор Историко-архивного института, старик Е.А. Луцкий. Это был сын знаменитого большевика А. Луцкого, сожженного в паровозной топке вместе с С. Лазо на Дальнем Востоке в 1918 году. А вот сын не решился поставить подпись под никому не нужным письмом. Путь, пройденный большевизмом... Но он будет понятен, если сказать, что молодой Луцкий был учеником главного в свое время советского историка М.Н. Покровского и вместе с некоторыми другими его учениками участвовал в поношении учителя. Как писал Троцкий, «шло освобождение мещанина из большевика».

В середине марта грянула уже упоминавшаяся статья Нины Андреевой. Завоевания Октября, говорилось в ней, под угрозой со стороны тех, кого Октябрь не успел искоренить: кулаков, нэпманов, басмачей по духу, «наследников Дана, Мартова, Троцкого, Ягоды». Такие люди и раньше хотели, и теперь хотят влить в Россию отраву капиталистического Запада. Прошлась Андреева и по Шатрову: повторяет сочинения троцкиста Б. Суварина.

Пока «буксовала» шатровская пьеса «Дальше, дальше, дальше...», В. Фокин – парень с волевыми лицом и голосом – намеревался поставить в театре им. Ермоловой «Второй день свободы» А. Буравского. Спектакль этот почему-то не

пошел, а в нем имелось нечто созвучное нашему времени. Речь шла о французских революционерах конца XVIII века. Вот они уже зашли далеко, уже пошла террористическая резня, мясорубка. Робеспьер в задумчивости: остановиться? Кутон требует другого: дальше, дальше, иначе сметут. Тут пьеса обрывалась.

В те же дни мне довелось побывать в Ждановском райкоме КПСС. В кабинете первого секретаря, молодой и энергичной Р. Жуковой, собралась верхушка райкомовского аппарата. Шатров и бывший сотрудник ИМЛ В. Логинов говорили об истории и перестройке. Пили чай с «заморским» печеньем. Потом Жукова рассказывала много такого, что сегодня выглядит как некое предвидение. В горбачевских кооперативах, говорила она, пока – жулики, в перестройке – горлопаны. Старики уходят из партии («не могу быть полезным», «нечем платить взносы» и т.п.). Экономика не работает, указания «по звонку» сохраняются. Густым потоком пошло рвачество, махровое корыстолюбие. Идет просто «расхищение советского пирога»...

4 апреля в ВТО состоялась прямо-таки незабываемая (по крайней мере, для меня) встреча авторского коллектива «Московских новостей» с театральными деятелями. Пробриться в зал было невозможно. Смелянский просто протащил нас (В. Логинова, Н. Наумова из МГУ и меня) какими-то черными лестницами прямо на сцену, принесли стулья, и мы расположились за спинами выступавших. Весь зал был перед нами. Заметил Б. Окуджаву, писателя В. Кондратьева, космонавта А. Гречко, многих актеров «Таганки». Журналистка Евгения Альбац требовала суда над «сталинскими следователями», еще какая-то дама громила Нину Андрееву. Экономист Лисичкин призывал к «очищению марксизма» и к «расшифровке (?) Политбюро». Потом к микрофону подошел Юрий Карякин, в конце 50-х годов – мой знакомец по журналу «История СССР», ставший теперь боевым «прорабом перестройки».

Позднее, в 2007 г., он напишет мемуары «Перемена убеждений (от ослепления к прозрению)», в которой объясняет, как и почему произошла эта перемена. Как из идеолога партии он превратился в «гонителя коммунизма». Понять все же нелегко... Я внимательно прочитал книгу. Да, свои убеждения он переменял, но позволило ли ему это прозреть?

Карякин говорил языком Достоевского о «сокровенной тайне перестройки: спасении России от безнравственности, позора и греха стукачества». После Алексея Аджубея, который рассказал о том, как в 1964 году аппаратчики сняли Хрущева, вышел похожий на нахохлившуюся птицу косолапый Гавриил Попов. Он призывал к тому, чтобы уж на сей раз никоим образом не допустить очередного триумфа аппаратчиков, клялся, что теперь прогрессивная интеллигенция будет стоять до последнего. «Элита» интеллигенции распалась, раскаляла себя.

В двадцатых числах апреля в Доме ученых на Кропоткинской собралась «Московская трибуна», по случаю состоявшихся выборов Съезда народных депутатов. Особо долгой овацией встретили А.Д. Сахарова. Афанасьев говорил, что партия уже явно отстает от темпа тех демократических процессов, которые идут в обществе. Е. Амбарцумов чуть ли не предлагал провозгласить Съезд Учредительным собранием и во всяком случае создать Клуб реформистски настроенных депутатов. В том же духе говорили Галина Старовойтова, Гавриил Попов, Леонид Баткин, Юрий Карякин. Все в зале ждали слова Сахарова. Он сказал, что противники перестройки напуганы пробуждением народа, что сейчас необходимо ускорение перестройки «без остановки». Владимир Лукин призывал к тому, чтобы объявить заседания Съезда непрерывными, добиться «диктатуры депутатов».

В эти майские дни в Москву прибыл президент США Рональд Рейган. «Известия» разразились статьей о том, кто

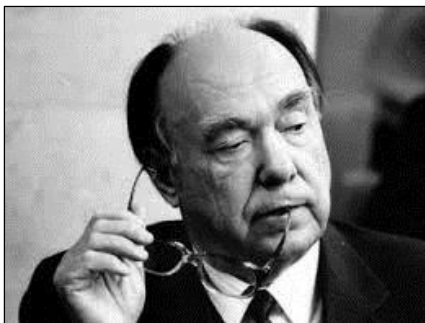
именно был приглашен на встречу с ним в американское посольство. Главным образом это были диссиденты и отказники, которые, по мнению газеты, никак не представляют советское общество и те процессы, которые сейчас в нем идут. Рейган выразил удовлетворение происходившими переменами, но подчеркнул, что этого мало: «Мы хотим все большего». А закончил он свою речь словами Пушкина: «Пора, мой друг, пора...». Но ведь у Пушкина дальше: «Покоя сердце просит...». К тому же это сугубо личное, а вот пушкинский Борис Годунов учит политике своего сына Федора: «Не изменяй теченья дел. Привычка – душа держав».

В команде «архитектора перестройки»

Уже не помню, как замысел написания популярной книги по истории КПСС «в духе перестройки» перерос-перетек в идею создания большого труда по истории большевизма. Произошло это, кажется, осенью 1988 года. Многим членам группы из ИМЛ было объявлено, что 4 ноября их приглашают на Старую площадь, в ЦК. Объявление это было сделано В. Наумовым, который перед перестройкой некоторое время заведовал (после академика М.В. Нечкиной) сектором историографии, а затем перешел в Институт марксизма-ленинизма. Вероятно, там по работе он оказался связан с А.Н. Яковлевым. В своих воспоминаниях «Омут памяти» (М., 2000 г.) тот упоминает о нем как об особо доверенном человеке, «консультанте по реабилитации».

Человек двадцать пять – тридцать собрались на Старой площади, и через первый подъезд, предводительствуемые Наумовым, проследовали наверх мимо двух офицеров в форме КГБ. Тишина в коридорах. Сосредоточенно шествуем по ковровым дорожкам.

Нам заранее сказали, что группу возглавит Яковлев.



А.Н. Яковлев. Середина 80-х гг.

Странным образом мои пути пересеклись с Яковлевым дважды. Я узнал об этом лишь спустя полвека из уже упомянутых его воспоминаний. Оказывается, в 1941 – 1942 годах Яковлев был курсантом пехотного училища, эвакуированного из Ленинграда в удмуртский город Глазов, а я был тогда там в эвакуации и какое-то время даже работал в оружейной мастерской училища. Зимой мы, пацаны, лихо спускались на лыжах с высокого берега реки Чепцы, наблюдая снизу, как неуклюже съезжают с горы курсанты в шинелях и кирзовых сапогах. Наверняка среди этих курсантов я видел и Яковлева – будущего «архитектора перестройки».

Прошло много лет. Яковлев сделал блестящую карьеру: работал в ЦК. В мемуарах он пишет, что мать не советовала ему идти на партийную работу: «Не езжай, Ляксандр!». Он не послушался.

В 1972 году Яковлев стал первым из ведущих партийных идеологов, выступившим против поднимавшего голову великодержавного шовинизма. Этот шовинизм провозглашался тогда главным образом в журнале «Молодая гвардия», который призывал власть опираться не на прогнившую, обмещанившуюся, прозападную интеллигенцию, а на простой, трудовой народ, его национальную самобытность. С одной стороны, это представляло опасность для правящего режима многонациональной страны, но с другой – блокировало опасность диссидентства, действительно ориентированного на западные ценности. В общем, в идеологической сфере возрождалось что-то подобное старым спорам западников и славянофилов.

А.Н. Яковлев выступил против «советского славянофильства», опубликовав в сентябре 1972 года в «Литературной газете» статью под классически партийным названием: «Против антиисторизма». Статья нашумела, но задачу свою не выполнила, да и не могла выполнить. Так называемая марксистско-ленинская идеология трещала по всем швам. Но Яковлеву, вскоре «сосланному» послом в Канаду, эта статья принесла имидж борца за демократию, прежде всего в кругах интеллигенции...

Был ли Яковлев теперь, когда мы с ним познакомились, уже членом Политбюро, не помню, но то, что вся идеология находилась, как тогда говорили, под его кураторством, было известно. Более того, за ним уже закрепилось звание «архитектора перестройки». И вот мы сидим в здании ЦК на Старой площади и ждем явления самого архитектора. Открывается дверь, скорее всего из «комнаты отдыха». Вот и он. Идет, сильно хромая (не сгибая одну ногу), к столу. Лицо у него русское, мужичье, добродушное. Улыбнулся совершенно детской улыбкой. А между тем совсем скоро он превратится в глазах многих в тайного «агента влияния», разрушителя государства.

Для чего же мы созваны здесь, что нам предстоит делать? Мы должны написать совершенно новую историю большевизма, историю КПСС. Этот труд должен быть предельно честным, предельно научным и предельно ответственным. Что значит «ответственный», не очень ясно, остается только догадываться. Всем предстоит большая работа по новому прочтению Ленина. Нужно совершенно непредвзято посмотреть на то, почему и как именно Россия стала полем применения марксизма. Далее, почему ленинизм оказался подвергнут ревизии в теории и на практике, от которой мы никак не можем отойти. Особенно сложными, понятно, будут 30-е – 40-е годы. Вот тут надо осмыслить всю неоднозначность ситуации: трагедия революции и вера народа в ее идеалы. Нас ожидает

масса «подводных камней», когда нам придется выбирать между эмоциями и фактами, о которых нам еще предстоит узнать. «Мы сейчас реабилитируем людей, – говорил Яковлев, – ставших жертвами сталинщины, но многие из них подхалимничали перед Сталиным, сами писали доносы. Придется держать эмоции в узде науки...» Писать надо хорошим русским языком, чтобы читателю было интересно, чтобы его увлекало.

Наиболее волнующим был вопрос об использовании архивов. Хотелось попасть в архивы Политбюро, Совета министров, КГБ и др. Возможно ли? Из ответов Яковлева полной ясности не наступило, но то, что нас все-таки пустят туда, куда раньше попасть было практически невозможно, было сказано определенно. Если научной базой всего нашего предприятия становился Институт марксизма-ленинизма, а архивной – Центральный партийный архив (ЦПА), то в качестве материальной базы предлагалась одна из дач ЦК в Серебряном Бору. Там для желающих предоставлялась возможность жить в отдельной комнате, бесплатно питаться. Туда же, по нашей просьбе, могли даже доставлять нужные книги и архивные материалы. Нетрудно было догадаться, что желающие, как шутили, «пожить при коммунизме» найдутся. Я, однако, в этот «рай» не пошел: дома было уютней, удобней.

Вообще такие «дачные сидения» давно являлись способом подготовки руководящих и указующих документов руководства. Разного рода консультанты из аппарата ЦК в этом «дачном затворничестве» сочиняли требуемое, тщательно взвешивая каждое слово, каждую фразу и каждый абзац. Таким образом и рождались разного рода программы, тезисы ЦК к важным юбилеям, доклады, с которыми выступали генсеки или члены Политбюро. Среди «дачников» имелись свои «консерваторы», «центристы» и «реформисты». В процессе составления документов они боролись за «свою строчку» или

«свое выражение», которые потом ушлые читатели толковали как то или иное свидетельство поворота курса партийного руководства. Но наша группа была, конечно, и рангом пониже, да и положение и возможности руководящего партаппарата были уже не те... Все действительно познается в сравнении. После небывалых, невиданных хором олигархов и «новых русских», вынесенных на поверхность переменами при Горбачеве и Ельцине, те «коммунистические» дачи и резиденции кажутся жалкими. А ведь борьба с советским режимом началась как борьба с привилегиями. Если бы знать, чем она закончится!

Наша дача в Серебряном Бору представляла собой двухэтажный дом за глухим забором, въехать за который можно было только через пропускной пункт. Комнаты метров по десять, зал заседаний, внизу столовая. На этой даче находились и яковлевские апартаменты, похожие на хороший гостиничный номер, состоящий из двух комнат. Яковлев приезжал на большом черном лимузине. Охранник открывал дверцу, и появлялся «сам». Всех стоявших на крыльце он неизменно приветствовал доброй, мягкой улыбкой.

Работа, в общем, пошла довольно бойко. Используя предоставленные возможности, большинство устремилось, прежде всего, в бывший Центральный партийный архив на Советской площади, что за памятником Юрию Долгорукому. Архивы – это блаженство. Архивисты – бескорыстные работники. Они уважали тех, кто ходит к ним постоянно и долго. Они то знали, сколько надо перелопатить, чтобы выудить что-то важное, интересное.

Листаешь старые папки с официальными документами, записками, письмами, воспоминаниями и ждешь: вот сейчас откроется что-то важное, что-то неизвестное, тайное и, наконец, многое станет ясным, объяснимым.

За годы советской власти было написано немало коллективных историй партии. Но группа Яковлева оказалась последней, которая должна была подготовить еще одну. Группа была подобрана таким образом, что большинство в ней так или иначе в доперестроечные годы проявляли некий нонконформизм: интерес к нетрадиционной тематике, стремление уйти от старых штампов, способность различить тона и полутона.

«Номером один» в ней, конечно, был академик П.В. Волобуев. Смещенный с поста директора, Волобуев, как уже отмечалось, вернулся в Институт истории СССР уже во времена перестройки и вскоре сменил Минца на посту председателя Научного совета по истории Октябрьской революции. Естественно, что с такой научной биографией он не мог не занять подобающего места в группе Яковлева.

Из академических «небожителей» в группу вошел член-корреспондент, а ныне академик Ю.А. Поляков – большой эрудит, владевший пером, что встречалось не так часто. Заметной фигурой был и В.П. Данилов – во времена хрущевской «оттепели» секретарь парткома Института истории СССР, отстаивавший свободу исторического творчества в рамках ленинизма. Данилов – историк советского крестьянства, и много сделал для создания правдивой истории коллективизации, за что жестко преследовался отделом науки ЦК. Нельзя не вспомнить и покойного ныне ленинградца В.И. Старцева – автора многих книг по истории России первой четверти XX века. Он принадлежал к школе известного источниковеда С.Н. Валка, придававшего особое значение анализу исторического документа. Уже одно это ставило ленинградцев в определенную оппозицию к официальной истории, и ортодоксы на них смотрели чуть ли не как на скрытых диссидентов.

Был в группе никогда, казалось, не унывавший В.С.

Лельчук – историк советской индустриализации, сильный полемист. У него, несомненно, был ораторский дар, он любил выступать, говорил легко, остроумно. Упомяну еще С.В. Тютюкина, до перестройки ходившего в проштрафившихся за «объективистскую» книгу о борьбе внутри российской социал-демократии во время Первой мировой войны, а также В.Т. Логинова из Института марксизма-ленинизма – друга и соавтора М. Шатрова по некоторым фильмам. Несомненно, интеллектуальной величиной в группе был Е.Г. Плимак. Он много и интересно писал о Радищеве, Нечаеве, марксизме.

Из других членов группы нельзя не вспомнить Л.М. Спирина, работавшего тогда в Институте марксизма-ленинизма, но, кажется, единственного, кто занимался там историей, как тогда говорили, непролетарских партий. В 70-х годах Спирин принадлежал к числу очень немногих, кто начал заниматься историей контрреволюции, к которой в то время причисляли все, что не было связано с большевизмом. Входил в группу и Л.К. Шкаренков, одним из первых взявшийся за изучение истории белой эмиграции. Издательство «Мысль» двумя изданиями выпустило его книгу «Агония белой эмиграции». Конечно, она не могла не быть политически тенденциозной, но собранный в ней материал по тем временам впечатлял. Помню также представителя Института военной истории полковника В.М. Кулиша и сотрудника Института всеобщей истории, занимавшегося там историей Второй мировой войны, – О.А. Ржешевского. Из бывшего журнала «Коммунист» остался в памяти совсем еще молодой О.В. Хлевнюк. Увы, большинства из мною названных уже нет на свете...

Способны ли были эти историки решить действительно трудную задачу: написать подлинно исследовательскую, объективную историю большевизма, а практически – политическую историю страны? Многое было за то, чтобы ответить «да». Практически все готовы были отбросить шоры, которые

считались «марксистско-ленинским методом», а на деле являвшиеся эклектической трухой, состоявшей из набора цитат, подгоняемых под политическую конъюнктуру. Почти все являлись людьми, испытавшими влияние постсталинской оттепели, XX съезда партии. И все искренне поддерживали перестройку. Такие люди, как Волобуев, Поляков, Тарновский, Плимак, Тютюкин, Данилов и другие вообще являли собой блестящие умы.

Конечно, некоторые талантливые историки (А.В. Игнатьев, А.Я. Грунт, В.Д. Поликарпов и др.) по разным причинам, к сожалению, оказались за бортом. Но дорога в группу никому не была заказана. Яковлев на первом же совещании объявил, что работа будет идти на соревновательной основе. Готовые главы или части будут печататься в журнале «Вопросы истории КПСС» для широкого обсуждения. И многое действительно уже тогда было напечатано. Не могу не вспомнить здесь сотрудника журнала М. Кольцова, включившегося в нашу работу с большим энтузиазмом. Он верил в завершение работы, ждал его. «Знаешь, – сказал он как-то, – что перестраивать – это “на входе” ясно, а что будет “на выходе” – это, кажется, и на самих “верхах” не очень-то представляют. А ломать – не строить». «А может, представляют?» – заметил кто-то.

«Сто лет будете гадать...»

«Дальше, дальше, дальше...» Но куда дальше? К полному отвержению Октября, всего советского. Место медлительных, крайне осторожных историков стремительно занимали бойкие журналисты, с легкостью мысли и пера которых историки соперничать не могли. Помимо осточертевшей всем «партийности», советские исторические труды отличались литературной тяжеловесностью и косноязычием. Их уже давно писали не для

широких читательских кругов. Когда на одном из ученых советов нашего Института истории мастер использования метафор Ю.А. Поляков призвал остановить «бег по истории в кроссовках», кто-то из сидящих рядом со мной тихо сказал: «А в кирзовых сапогах по истории можно было?».

Ситуация напоминала то, что происходило после 1917 года, когда историю павшего режима стали преподносить как нечто почти сплошь черное, отрицательное. Теперь «демократическая» публицистика сосредоточилась на красном терроре эпохи гражданской войны и особенно на сталинских репрессиях 30-х годов. Все это выделялось, подчеркивалось и распространялось на всю послеоктябрьскую историю. Стирание «белых пятен» оборачивалось чуть ли не сплошным очернением. Шло безоглядное изменение исторических плюсов на минусы и наоборот. Но это в публицистике. А в исторической науке?

Резкую перемену взглядов демонстрировал Д. Волкогонов. Высокого ранга генерал, заместитель начальника Политуправления Советской армии, а позже начальник Института военной истории, он решительно принялся за дегероизацию вождей Октября и самого Октября. «Волкогоновщина» – так кто-то назвал «феномен Волкогонова». Академические круги открыто не выступали против Волкогонова, но на выборах в Академию аккуратно проваливали его. Искренности поворота Волкогонова не верили, считали его проявлением бесчестности, приспособлением к новой политической конъюнктуре. Думается все же, что причины были более сложными и глубокими.

Не менее, а еще более разительным примером сжигания того, чему раньше поклонялся, станет и сам Александр Яковлев. В «Омуте памяти», несмотря на все попытки, он все же не дает внятного объяснения произошедшего с ним. «Здесь, – пишет он, – безграничный простор для личных раздумий, сомнений, покаяния. На склоне лет я все чаще, как политик, становлюсь противен самому себе. Наверное, устал... Ох, уж это

русское самоедство!» И все бы хорошо, если бы «отступники», отступив, «принимали свой крест». Но этого, как правило, и не происходило...

* * *

1989 год, пожалуй, стал пиком переосмысления истории. В конце января в Доме культуры МАИ состоялась учредительная конференция Всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал». В президиуме – А. Адамович, Ю. Афанасьев, М. Ульянов, Е. Евтушенко, Ю. Карякин, М. Шатров. Михаил Ульянов клеймил «чуму сталинизма» и говорил, что теперь-то у нас, наконец, есть шанс «выздороветь». Редактор «Огонька» Виталий Коротич взывал к бдительности. «Дракон еще жив! – восклицал он. – Живы те, кто убивал! Должен состояться второй Нюрнберг!» О перестройке как последней возможности возрождения говорили и Евгений Евтушенко, и редактор «Знамени» Григорий Бакланов.

Преобладали эмоции. Только, пожалуй, в выступлении А. Д. Сахарова они отступали на второй план. «Ложь и лицемерие, – сказал он, – страшные удары по нравственности. Спасти ее может только правда. Да, наша история – трагическая, ужасная, но и героическая в то же время». Позиция и слова наших либералов и демократов казались близкими и понятными. Но было в них и нечто такое, что заставляло слушать их с неким притупляющим чувством. Настораживала и размагничивала их непримиримость, даже агрессивность в утверждении и отстаивании своей «веры», стремлении «опрокинуть», уничтожить «иноверцев».

А новые собрания, заседания, говорения просто набегали друг на друга. «Московская трибуна», устный выпуск газеты «Московские новости», Колонный зал, Дом ученых...

Никогда исторические знания не были так востребованы,

как в те годы. Мы выступали не только в Москве, но и в других городах. Нас все чаще приглашали за границу на конференции и семинары. Отпала болезненная тема «выездных» и «невыездных», которая глубоко раскалывала творческую интеллигенцию, превращая «счастливое меньшинство» («выездных») в просоветски настроенных, а «невыездных» – в скрытых антисоветчиков, если не диссидентов. Вообще поездки за границу в канун перестройки превращались для властей в серьезную политическую проблему, подрывавшую режим. Впрочем, он сам стремительно шел к своему концу. Справедливо писал еще Ю. Крижанич (XVII век): «Чужеземное красноречие, ловкость, избалованность, любезность, роскошная жизнь и роскошные товары, словно некие сводники, лишали нас ума».

Раньше я был «невыездным», а тут вскоре одна заграничная поездка пошла за другой – Венгрия, Англия (Оксфорд), Греция, Испания, другие страны. Запомнились две конференции, первая из которых состоялась в Афинах, а вторая – в Барселоне, обе – под эгидой звезды английского театра и кино Ванессы Редгрейв. Она активно занималась политикой, разделяла троцкистские взгляды. Думаю, что ее конференции были организованы через знакомого ей драматурга М. Шатрова.

В нашей команде выделялся Игорь Дедков, работавший тогда в «Свободной мысли», – прекрасный, талантливый человек, увы, рано ушедший. Психологические удары перестройки, думаю, оказались слишком тяжелыми для его натуры.

Нас принимали по первому разряду. Редгрейв сама встречала нас в холле шикарной гостиницы. Когда Шатров представил меня, глаза звезды засветились радостью, она протянула руки, прижала меня к себе, изумленно восклицая: «О, Генрих! О, Генрих!». Посторонним, наверное, показалось, что встретились после долгой разлуки старые друзья. На самом деле я видел ее впервые. Политика – политикой, но актриса оставалась актрисой.

В Барселоне меня больше всего поразил морской простор и гигантская афиша кинофильма «Христофор Колумб» с изображением французского актера Жерара Депардье, снявшегося в главной роли. Ветер развеивает волосы Колумба. Мощная фигура, устремленный в горизонт волевой взгляд. Сила, порыв, неустранимость. Что там наши дела!

В начале апреля 1989 года нас опять собрали на Старой площади. Яковлева на сей раз не было. От его имени говорил В.П. Наумов: «Александр Николаевич просит форсировать работу. Из обкомов идут письма об ускорении издания нашей книги». Наумов интересовался, что необходимо, чтобы помочь делу. Может быть, следует все же всем выехать на «дачу», чтобы там «сконцентрироваться»? Мы что-то мямлили в ответ. Энтузиазма не было.

Следующая встреча «команды», если не ошибаюсь, состоялась только в начале октября 1989 года. На сей раз присутствовал Яковлев.

Совершенно неясен был концептуальный стержень книги. И как ни вслушивались мы в слова Яковлева, оставалось непонятно: а ясен ли он ему самому? Он говорил о том, что общество уж больно быстро развивается, уж больно «рвануло» вперед, а нам надо избегать суетливости, конъюнктурности. В анализе дореволюционных событий – там легче, проще. А как дальше – с Октябрем, с гражданской войной? Еще сложнее – после 1924 года. «Мы знаем, кто такой Сталин. А кем мы были? Чем была страна? Масса других труднейших вопросов. И не следует нам быть истиной в последней инстанции».

Трудно уходили мы от одной исторической лжи, а уже накатывалась другая. Существовал ли за ней какой-то дирижер? Демократическая пропаганда, во всяком случае, действовала расчетливо. Я уже писал, что из почти вековой истории большевизма вырывался сталинский период с его репрессиями и терро-

ром и накладывался на все предыдущее и последующее. Целенаправленный поиск всего отрицательного шел с нарастающей силой. Картина получалась одноцветная – мрачная и зловещая...

Наш коллега из ИМЛ В.В. Журавлев призывал не ждать и не тянуть с книгой, потому что «враг не дремлет». Его поддержал О.А. Ржешевский из Института всеобщей истории. Многие из выступавших требовали открытия для нас всех архивов, в том числе доступа к так называемым «особым папкам» Политбюро. В этих требованиях просвечивало и чисто прагматическое начало – опасение, что все скоро может измениться и надо использовать удачу, воспользоваться моментом для сбора редкого материала. В.Т. Логинов высказал мысль, что неправильно говорить о партии как о каком-то монолите, постоянном и неизменном. Идеология идеологией, теория теорией, а жизнь меняла коммунистов не меньше, чем они меняли ее. П.В. Волобуев соглашался с этим. «Из гражданской войны, – сказал он, – вышла не та партия, которая была в 1917 году – начале 1918 года. Но ведь это не так трудно было предвидеть. И многие это предвидели и предупреждали». Другая очень важная проблема состоит в том, «почему не прошел реформаторский путь после гражданской войны, почему страну вновь бросили в пучину революции, на сей раз сталинской?».

Говоря о содержании книги, ее концепции, Яковлев сказал: «Нам не надо ставить перед собой задачу способствовать стабилизации обстановки. Не следует “гаранить” даже Нину Андрееву и “андреевщину”, иначе опять восторжествует идеологическое единомыслие. Мы следуем дорогой научности, а не политической борьбы и конъюнктуры». Но все это были общие слова. Всем было ясно: время ставит один центральный вопрос, на который, если мы хотим остаться на почве научности и объективности, необходимо дать ответ: показала история правоту большевизма или нет? У Яковлева тогда ответа либо не было, либо он по каким-то причинам не

хотел давать его. Это позднее в своем «Омуте памяти» он даст ответ в форме вопроса: «Меня... интересуют две основные проблемы. Первая – почему Россия впала в безумие, именуемое большевизмом?». Тогда таких слов не прозвучало...

После заседания все вместе спустились на первый этаж дачи, в столовую. Был дан обед. Шла непринужденная беседа. Кажется, Плимак стал говорить о падении авторитета Горбачева. Кто-то спросил: «Александр Николаевич, а как вообще могло случиться, что такой человек, как Горбачев, прошел через партийное кадровое сито и дошел до вершины?». Хитровато улыбнувшись, Яковлев ответил: «Сто лет будете гадать, не отгадаете!».

Эта фраза удивила многих из нас и заставила призадуматься. Придя в 1985 г. к власти, М. Горбачев заявил, что решение имевшихся проблем он видит в возвращении к «позднему Ленину», Ленину эпохи НЭПа. Однако вопреки Ленину, категорически отрицавшему «середины» в политической борьбе и считавшему, что альтернативой советской власти может быть только правительство правых сил («вплоть до монархии»), Горбачев пошел «иным путем». На первое место в «перестройке» были выдвинуты политические лозунги – маловразумительное «новое мышление», «гласность» и совершенно невнятные «общечеловеческие ценности».

Из этих составляющих только «гласность» в принципе не противоречила партийной идеологии, но то, как она была введена и осуществлена, обернулось подрывом советского режима. В условиях напряженной борьбы двух общественных систем – капитализма и социализма – внутри Советского Союза хлынул ничем не сдерживаемый антисоветский и антикоммунистический пропагандистский поток.

Что же касается «нового мышления» и «общечеловеческих ценностей», то это явилось ничем иным, как фактическим отказом от марксизма-ленинизма – идеологической основы советской системы. Причем с более чем наивной верой в то, что и противники СССР в «холодной войне» в ответ столь же добровольно откажутся от своей идеологии – идеологии антикоммунизма и антисоветизма. Конечно, этого не произошло, потому что никогда не могло произойти. Маниловское «новое мышление» Горбачева столкнулось с так называемой «реальной политикой», суровыми принципами которой являются прагматический интерес, расчет и выгода. В этих условиях самое лучшее, что мог бы сделать Горбачев, – это немедленно перестроиться самому, проявить осмотрительность, осторожность в определении темпа и методов осуществления перемен. Он не сделал этого, что тем более странно на фоне многих предупреждений, в том числе и со стороны лидеров зарубежных левых, социал-демократических сил. Эти предупреждения сводились к тому, что горбачевская «перестройка» может нанести удар не только по советской системе, но и по всему мировому левому движению. В итоге – выигрывают правые, консервативные силы. Но, как любил выражаться Горбачев, «процесс пошел». На политическую арену выступили крайне правые силы (Ельцин), поощряемые и прямо поддержанные из-за рубежа. В Москве одно время шутили, что страной управляет «вашингтонский обком». Так или иначе КПСС канула в небытие. Советская система перестала существовать. Вместе с этим распался Советский Союз – преемник многовекового российского государства, что означало небывалую в его истории катастрофу.

Неизбежно возникает вопрос о «движущих силах» действий Горбачева. Существуют разные версии. Одна из них

сводится к личностным, психологическим факторам Горбачева, по отзывам хорошо знающих его – человека нарциссического характера. Согласно этой версии, он был движим стремлением запечатлеть свое имя на скрижалях истории, наряду с современными «сильными мира сего». Немалая роль тут отводится супруге, Раисе Максимовне, якобы видевшей себя в качестве «первой леди». При всей, возможно, верности оценок Горбачева, эта версия вызывает сомнение. Горбачев был прежде всего политик до мозга костей (как сказал один из американских сенаторов, «он – один из нас, он – политическое животное»). По определению же человека, хорошо знавшего Горбачева, он – «наркоман от политики», а это значит, что политический расчет должен был занимать у Горбачева первое место.

Другая версия состоит в том, что Горбачев в какой-то момент оказался в сфере воздействия западных лидеров и превратился в своего рода «агента влияния» Запада. Эту версию очень многие считают полной чушью. И в самом деле, какими мотивами мог руководствоваться Горбачев, чтобы косвенно, или тем более прямо, «работать» на Запад? Указать на такие мотивы попросту невозможно.

В чем же, в таком случае, может быть основа, почва политики Горбачева? Если уж невозможно понять, как Горбачев сумел пройти сквозь кадровое партийное решето, то почему это ему удалось – предмет для раздумий. И тут я вспомнил своего старого знакомого – Д.И. Мейснера. Он был участником гражданской войны, воевал в Добровольческой армии А. Деникина, эвакуировался с армией П. Врангеля в Турцию (кутеповский лагерь на о. Галлиполи), жил в Чехословакии и Франции. В 20-х годах был близок к лидеру кадетской партии П. Милюкову. В 60-х годах вернулся в Россию, написал и издал мемуары «Миражи и действительность». Я познакомился

с ним после выхода моей книжки о монархистах в гражданской войне и частенько бывал у него дома на Коломенской. Говорили о революции, большевиках, советской власти. Как-то зашел разговор о судьбе большевизма в России, и он рассказал о том, что об этом думал Милуков.

– Он отвергал мысль, что большевистский режим можно ликвидировать вооруженным путем извне. Перестал верить и в успех крестьянских и иных восстаний в самой стране. «Большевизм, – считал он, – подвергнется постепенному разложению. Его погубит червь мещанства, который заведется внутри него».

Я тогда не очень понял и попросил объяснить.

– Давайте для ясности предельно упростим эту милуковскую теорию, – сказал Мейснер. – Гражданская война закончена. Мир. Другая действительность, другая жизнь. Вчерашний лихой красный кавалерист снимает буденовку, гимнастерку с «разводами», галифе. Как победитель он становится «начальником». Теперь на нем штатский костюм «аглицкого покроя». Ему отводится кабинет. Продвигают по службе. Кабинет обставляется хорошей мебелью, коврами и т.п. Дальше – больше. Дают большую квартиру, дачу, другие блага. И вот однажды в кабинете у него в голове возникает вопрос: «А если вдруг меня снимут, хуже того – посадят, что тогда? Что останется семье, детям? Ведь все, чем я располагаю, – не мое, казенное...». И рождается «подленькая» мыслишка о собственности, наследстве и всем таком прочем. Тут и есть начало конца большевизма.

Я стал читать литературу белых эмигрантов. Они верили в свое возвращение и много думали о судьбе большевизма. Мысль о выхолащивании большевистской идейности и заполнении образующейся пустоты обыденной мещанско-потребительской философией в их среде крепла. Приходили даже к выводу, согласно которому этот процесс может привести к

тому, что «крушение большевизма начнется “из кабинета какого-нибудь партсекретаря”». Тот, кто это написал, как в воду глядел. Горби и Ельцин, возможно, и были плодами перерождения партии, которое и привело их на самый ее верх.

Могло ли все пойти иначе? Кто знает. Как писал А. Герцен, у истории много дверей, много выходов...

* * *

А Москва бурлила, в центре города – демонстрации, толпы яростно спорящих людей. Несут лозунг «Позор Октябрю!». Активизировалась «Память». На Пушкинской площади прыщавый парень что-то кричит о жидомасонах, о ритуальном убийстве царя. Женщина не дает ему говорить, кроет матом: «Сейчас тебе, б... такая, рожу всю разобью! Чего тебе евреи сделали?!». Рослый мужчина загадочно говорит: «Все вы не туда смотрите! Глубже глядеть надо!».

Начались открытые обвинения номенклатурных лиц во взяточничестве. В этом обвиняли даже самого Горбачева! Кажется, это было началом кампании по выявлению компромата, впоследствии просто захлестнувшей страну. На наших публичных выступлениях все чаще задавались вопросы: а каковы были темы ваших диссертаций? а что вы писали раньше? а как вы относитесь к этому теперь? На одной из встреч, где присутствовали В. Солоухин, Г. Рябов, приехавший из США Ю. Фельштинский и другие, почти всех спрашивали об этом. Рябов, который раньше воспевал героическую советскую милицию, а теперь стал монархистом, ответил пушкинскими словами: «Послушный Божьему закону, переменялся я...».

* * *

Шатров рассказал, что Яковлев говорил с «самим», и «сам» якобы сказал, что «корабль плывет», что мы (т.е. сторонники перестройки) им (т.е. противникам перестройки) «еще

навтыкаем». Но никому Горбачев уже «навтыкать» не мог. Вожжи выпадали из его рук. В сентябре Москву поразил «табачный кризис», в киоски за сигаретами стояли длинные очереди. Потом разразился «хлебный кризис»: запертые булочные, тоже длинные очереди, давка у прилавков... Казалось, вот-вот начнутся «табачные бунты», «хлебные бунты». Прошел слух, что грозит эпидемия дифтерита. Паники добавил обмен пятидесятирублевых и сторублевых купюр.

Январь начался многолюдными демонстрациями. 20-го числа чуть ли не вся Москва поднялась, как, бывало, 1 мая или 7 ноября. По Садовому кольцу движения нет. Погода мрачноватая, пасмурная, слякотная. Здание посольства США забаррикадировано тяжеловесными бетонными брусами. Подхода нет. Два каких-то парня все-таки уцепились за решетку, держат плакат: «Буш – цепной пес». Следуем мимо. Над нами плакаты и лозунги решительно антигорбачевские и проельцинские. На Манежной площади море людей. К гостинице «Москва» не подойти, там сплошная толпа. Объявлена минута молчания в память о погибших в Вильнюсе и Баку. То ли с машин, то ли с импровизированной трибуны один за другим выступают ораторы. Афанасьев, Станкевич, Якунин, Гдлян, Черниченко, еще кто-то. Клеймят Горбачева, прославляют Ельцина. Обрато двинулись по улице Герцена, перерытой строительными работами.

В эту зиму и весну Москва стала проваливаться в «мерзость запустения». Темно, улицы завалены снегом, скользко на тротуарах. Пусто в магазинах, продавщицы в несвежих халатах стоят за прилавками, сложив руки на груди крест-накрест. Подскочили цены. Они казались ужасными: колбаса – 13 рублей, крупа – 7 рублей, хлеб – почти рубль. Никто еще не предполагал, что все это только начало. А вместе со всем этим появились признаки какой-то нервной суеты: снование «иномарок», из которых что-то вытаскивали, а потом, наоборот, затаскивали молодежью, крепкие ребята – будущие «новые русские».

В марте позвонила некая дама, отрекомендовалась то ли переводчицей, то ли секретаршей корреспондента «Вашингтон пост» Дэвида Ремника (теперь он главный редактор журнала «Нью-Йоркер»). Договорились встретиться у меня дома. Явился молодой высокий парень. Расспрашивал о советской историографии, о перестройке и Горбачеве. Позже он рассказал о той встрече в своей книге «Lenin's Tomb».

Спустя некоторое время (кажется, это было в апреле) в новом роскошном «Президент-отеле» на Якиманке состоялся международный симпозиум о Ленине и ленинизме. Вся наша группа получила приглашения. Проходили в отель по особому списку, охрана была серьезная. В большом, ярко освещенном зале, за круглым столом расселись участники симпозиума. Выделялся американский историк Р. Пайпс, который при Рейгане состоял его спецсоветником по русским делам. Раньше его числили по разряду самых злостных «фальсификаторов истории». Теперь постаревший, но не изменивший своих взглядов Пайпс, казалось, чувствовал себя победителем. Говорил назидательно. Пытался возражать ему наш Лельчук, но выглядело это неубедительно. И не потому, что Лельчук не был так эрудирован, как Пайпс. Ветер перестройки дул в спину Пайпсу. «Пайпсизм» становился чуть ли не образцом исторической правды в интерпретации российских событий конца XIX – начала XX века. Вчерашние «фальсификаторы» на глазах превращались в носителей исторической истины.

В перерыве между заседаниями в фойе мелькнул Дэвид Ремник. Помахали друг другу, и он деловито куда-то исчез. В его деловитости тоже чувствовалась победность. В перестройку американцы стали нашими любимцами. Еще бы! Это они помогли нам освободиться от «империи зла» и создавать «империю добра», такую же, как у них, где все только улыбаются друг другу. Но однажды произошел случай, который за-

помнился. В Научном совете сидел и беседовал с нами американский историк N. Открылась дверь, и в комнату заглянул другой американский же историк X. Увидев N, он тут же захлопнул дверь. Я вышел в другую комнату и, удивленный, спросил, в чем дело. «С этой сволочью я не желаю встречаться!» – ответил X.

Конечно, на том симпозиуме в «Президент-отеле», весной 1991 года, дискуссию с Р. Пайпсом должен был вести не Лельчук или кто-либо еще из нашей группы. В соответствующей «весовой категории» противостоять ему мог, пожалуй, наш шеф Яковлев. Мы ждали его. Он не пришел. Это был знак: на проекте новой истории большевизма поставлена точка.

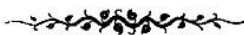
Страна все быстрее втягивалась в рыночную экономику и демократию. Ее убеждали, что там тепло и сытно. Над ней все выше поднимался флаг с золотым тельцом на полотнище и все ниже опускалось знамя с серпом и молотом.

А как же идеология, теория марксизма-ленинизма? Мда... Перед самой перестройкой я был членом группы Черемушкинского райкома по проверке комсомольской учебы на предприятиях района (имелась группа и по проверке партийной учебы). Мы воочию видели, что никакой такой «учебы» практически не существовало, что она давно уже превратилась в никому не нужную пустую «нагрузку». Ответственные из партийных бюро просили нас: «Ну, уж вы там “нарисуйте” что-нибудь для райкома, не подведите».

Мало кто читал и тем более изучал труды классиков марксизма-ленинизма. В лучшем случае их заменяли партийные журналы, такие, как «Пропагандист и агитатор» и т.п. газетные пустоты. Рассказывали, что сам Л. Брежнев говорил своим консультантам: «Вы в мои речи хоть цитат-то из Маркса или Энгельса не вставляйте. Ведь никто не поверит, что Ленька Брежнев “Капитал” или что-либо другое действительно читал».

Думается, что и главные «прорабы» перестройки тоже не читали.

**ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ
ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ
И РЕФОРМ**



Патриаршие пруды были созданы при патриархе Иоакиме в конце XVII века. Их давно уже нет. Есть Трехпрудный переулочек, воспетый Мариной Цветаевой. Пруд остался один, а название сохранилось. Вот он – пруд, огороженный низкой чугунной решеткой. Со стороны Спиридоновки, на берегу, – небольшой, под старину, павильон с колоннами. В ясную погоду он отражается в воде, колеблясь там в мелкой бегущей ряби. Особенно красив пруд осенью, когда он становится чистым, холодноватым, а старые деревья вокруг него сохраняют желтеющую листву. Красота – не только в самой картине пруда, но и в его названии: Патриаршие! Официально в советскую пору их переименовали в Пионерские, но это не прижилось. Все так и говорили: Патриаршие. Или, в просторечии – Патрики.

Мы бегали здесь «от инфаркта». В конце 60-х и начале 70-х годов это вошло в моду, после издания брошюры австралийца Гилмора. Первый бегун, которого я тут встретил, оказался полковником и философом: преподавал философию в военной академии. Он был сталинистом. Ругал XX съезд партии и Хрущева, отвергал брежневскую «разрядку».

– Ни к чему хорошему не приведет, – говорил он на бегу. – Впустим капитализм, и конец социализму. Режим переродится. Людям же ничего не даст.

– Людям? – переспросил я. – Каким людям?

– А вот хотя бы этим, которые ходят или бегают по Патрикам.

Одним из них был Мороз. Каждое утро он появлялся у пруда. Не бегал, даже не шел, а медленно переставлял ноги, согнувшись и по-лыжному взмахивая руками. На нем были спортивные штаны образца 30-х годов и замусоленная лыжная шапочка. Добравшись до детской площадки, ложился спиной на скамейку и, кряхтя от боли, «качался», поднимая ноги.

Завсегдатай Патриарших Игорь, прибежавший сюда со Вспольного, как-то спросил его:

– Мороз – это ваша фамилия?

– Да нет, – усмехнулся он. – Фамилия моя Морозов, а это – кликуха. С пацанов еще.

Почти каждое утро, закончив свои адские упражнения, «дед Мороз» рассказывал что-нибудь из того, «как здесь раньше было».

– Вон на углу Вспольного видите дом? Рядом с моим? Тут до революции жандармское управление было. А напротив, в глубине, – какое-то заведение. По утрам из него барышни выгуливаться выходили. Тут, на месте этого большого дома с памятными досками, лужок был. Летом трава высокая. Они и выгуливались... А после революции голодно было. На углу Спиридоновки и Малой Никитской, где теперь посольство польское, американцы столовку устроили. Я туда часто ходил. Американцы эти суп нам наливали в миски. Хороший суп, мяса много. Поешь, бывало, считай, до вечера сыт. АРА называлась.

Мороз часто разговаривал с каким-то стариком на длинных цаплеобразных ногах. Однажды мы подошли. Старик тут же обратился к нам:

– Вот гляжу я на вас, много вы бегаете. Уж очень стараетесь. А стараться не надо. Ни в чем.

– И в работе? – спросил Игорек, почти четверть века уже «простаравшийся» инженером на заводе «Динамо».

– Все время старались. Выполним пятилетку! Мало! В четыре года! Догоним! Это что! Перегоним! Ну, и каков итог? А стараться-то не надо. Нужно, чтобы все шло само собой, плавно.

– А вы что ж, никогда не старались?

– Я? Да ни боже мой... Вот мне больше восьмидесяти. Вам, как мы жили, и не жить. Вы жизни-то не видели. А мы как жили? Вот...

– Вы извините, а вы – кто? В смысле, кем работали?

– Вот Мороз всю жизнь грузчик, а я – шофер. Я в Петрограде работал, когда революция началась. Шофера тогда во всем кожаном ходили. Я знаете, кого возил? Тогда при ВЦИК гараж был, и они машины себе вызывали.

– И Керенского возили? Он, между прочим, вроде бы тут на Патриарших нелегально жил летом восемнадцатого года.

– Нет, Керенского не возил, но видел и слышал. Говорун был, большой интеллигент. Я их тогда нагляделся. Вы думаете – революцию народ, что ли, заварил? Никогда. Ее затеяли больше от скуки. Кашу-то заварили, а расхлебывать?

– Так вы что же, за самодержавие? Монархист?

– Какой монархист? Мне НЭП нравился. Пойдешь, бывало, на Тверскую, трактиров полно, выбирай по карману. Коньячку закажешь, с девочкой познакомишься.

Он покрутил головой и шумно потянул носом, как будто вдыхал незабываемый запах того коньячка.

Мы не слушались «монархиста»: все равно старались. Плотный крепыш Юра, работавший в журнале «Общественное питание», бегал неторопливо, солидно, вдумчиво. Как и многих других, Юру слегка испортил квартирный вопрос. Не столько, впрочем, испортил, сколько замучил. Но Юра нашел интересный способ сопротивления и борьбы. Ему помогала жена – худая, некрасивая, с выдвинутой вперед челюстью особа, работавшая водителем трамвая. Они играли с исполкомом Краснопресненского района в кошки-мышки. Из коммуналки на Бронной Юра с женой и ребенком должен был «в порядке очередности» въехать в однокомнатную отдельную квартиру. Но когда списочная очередь подходила и исполком выписывал ордер, Юра выкладывал исполкомовцам справку о рождении второго ребенка. Теперь Юре полагалась уже двухкомнатная квартира. «Ждите», – говорили ему в исполкоме. Он ждал. И снова подходил срок. Но на

новый выписанный ордер Юра выкладывал новую справку: у него теперь трое детей! Исполком отступал. Надо было выделять трехкомнатную.

Не помню теперь, на каком по счету ребенку Юра и его вагоновожатая решили, что игру с исполкомом можно кончать. Мы только знали, что Юра мечтал о двух квартирах на одной лестничной площадке. Где-то перед самой горбачевской перестройкой Юра с семейством покинул Патриаршие. Ушел в мир просторной жилплощади, больших квадратных метров.

Еще одним журналистом в нашей компании был Боря. Полный, представительный мужчина с лицом актера, играющего амплу первого любовника. Будущим поколениям надо знать: Боря мужественно сражался против установления на Патриарших тяжеловесного памятника «дедушке Крылову». Его сооружали на травянистой площадке и песчаном «загончике» для детей. Вокруг клали огромные гранитные плиты.

– Ты в детстве на траве играл или на граните?! – кричал Боря скульптору. – Почему же ты хочешь детей на гранит загнать?

Скульптор хмуро смотрел на Борю, долго сдерживался, молчал, а потом вдруг обрушивался на Борю ненормативной лексикой. Так они сражались каждый раз, когда скульптор являлся на Патриаршие наблюдать за работой. Боря проиграл сражение. Памятник Крылову стоит на Патриарших.

Бегуном номер один был Сева. Каждое утро он появлялся на Патриарших в порыжевшей от времени и пота брезентовой штормовке, в сатиновых спортивных штанах, как у Мороза, и разбитых, порванных резиновых кедах. Сева бегал сосредоточенно, истово. Рулеткой он вымерял круг вокруг пруда и бегал точно по метражу, не срезая углы на поворотах, чтобы не потерять ни одного метра. Богом Севы, как в одном стихотво-

рении Маяковского, был бег. Но там, в стихе, сердце провозглашалось барабаном, а у Севы оно таким не было. Он жил на улице Остужева в большом доме с коммуналками, и, кажется, в канун перестройки жильцов стали переселять. Севе дали квартиру в Строгино. Он впервые появился на Патриарших без своей штормовки, в черном пальто. Попрошался со всеми за руку и исчез. Как-то он появился снова, постоял в задумчивости и подошел к нам. Мы радостно приветствовали его.

– Бегаете? – спросил Сева.

– Помаленьку. Ты-то как?

– Бегаю. Там канал, воздух чистый.

Было ясно, что Сева тоскует. Поговорили еще о том, о сем, и Сева побрел к Садовому кольцу. У выхода с Патриарших он обернулся и помахал нам рукой...

Сева не был первым, покинувшим родные Патриаршие. Их, старожилов, постепенно выселяли в микрорайоны, освобождая престижное место для новых обитателей. Опустел большой дом на углу улиц Жолтовского и Малой Бронной. В нем начался капитальный ремонт. Дольше всех не выезжал, упорствовал наш бегун Николай, парень богатырского сложения. Но и он сдался. Дом заселили ответственными, заслуженными, народными. На зарядку иногда стала выходить звезда эстрады Валентина Толкунова. Мы почтительно представились ей как поклонники ее таланта.

– А разве и такие есть? – спросила она.

Вскоре она перестала приходить. Но самым «значительным» из новопоселенцев был секретарь Верховного Совета Менташавили. Скромный, тихий такой человек. Мы считали его своим.

На дворе уже была перестройка, и на Патриарших первыми ее стали оживленно обсуждать алкаши и пенсионеры. По утрам и вечерам они собирались под детским грибком, стучали костяшками домино или перекидывались в карты.

Выделялся немолодой уже человек с грубоватыми чертами лица и шкиперской бородой. От него попахивало спиртным.

– Перестройка? – говорил он. – Демократия? Я вам скажу. Вот я – летчик, в правительственном отряде летал, бывал за границей часто. Там как? Вон видите телефонную будку на углу Вспольного? Положите там телефонную книгу – в момент скоммуниздят. А у них эти книги в каждом таксофоне, никто не тащит. Ничего у Горбачева не выйдет...

– Ладно! – прерывали его кореша-алкаши. – Опять разговоришься! Ходи, карты у тебя уже вспотели.

* * *

Как-то незаметно Патриаршие стали меняться, тускнеть. По вечерам все меньше стариков и старушек сидело на скамейках под липами. Вместо них все чаще стали появляться молодые расхристанные парни и девицы. С «макдональдскими» банками и пакетами в руках, они почему-то предпочитали сидеть на спинках скамеек, поставив ноги на сиденье. Громко говорили, хохотали...

Запустенью Патриарших поспособствовал и так называемый булгаковский праздник, учиненный в сентябре 89-го. Булгакова вообще превращали в «первого писателя эпохи перестройки», как Маяковского произвели в «лучшие поэты советской эпохи». Весь подъезд дома на Садовой, где жил Булгаков в «нехорошей квартире», расписали фразами и рисунками на темы «Мастера и Маргариты».

Начались поклонения и преклонения. И вот теперь – булгаковский праздник! Вечером со всех сторон на Патриаршие потянулись толпы людей. Явились ряженные, которые кривлялись и хохотали. Вокруг двигался старый трамвай 20-х – 30-х годов. Продавали банки с водой, пивом, пакеты гамбургеров из

«Макдональдса» на углу Горького и Большой Бронной. Ступить было негде. Народ валил через чугунное ограждение, к самой кромке пруда.

Наутро, когда мы появились на Патриарших, все было затоптано, заплевано, засыпано мусором...

Вскоре на Патриаршие прибыли предприниматели. Первым их бизнесом, кажется, стал рыбный. Вдруг появился у пруда фургон, в котором за три рубля можно было получить удочку и разрешение ловить в пруду карасей, которых будто бы запустили туда владельцы фургона. Желающие сразу нашлись, и скоро у воды там и сям сидели или стояли любители съесть рыбку. Но карасям, видно, это не понравилось: они клевали плохо. Фургон исчез. Зато в павильоне, в нижнем этаже которого зимой устраивали раздевалку катка, кто-то стал печь блины и продавать порциями с вареньем. Блин стоил рубль. Дети ныли, прося родителей купить блин. Но и блинный бизнес долго не продержался. Двери в павильон прочно захлопнулись. На окнах и стеклянных дверях появились тяжелые шторы. Никто не знал, что за ними происходит. Однажды, придя на Патриаршие, мы вдруг увидели огромное скопление совсем молоденьких девиц. Они спешили к павильону и там выстраивались в длинную очередь. Многих, совсем подростков, приводили мамы.

Девицы были в основном длинноногие, смазливые. Выяснилось, что там, в павильоне, заседает специальная комиссия какой-то фирмы, вербующая красивых девушек на Запад. Там они якобы должны были стать фотомоделями и чем-то еще в том же роде. Очередь двигалась медленно. Будущие Кемпбелл и Кроуфорд в ожидании садились на решетку ограды, курили. Кто-то из нас пошутил:

– Девочки, не уезжайте! На кого нас покидаете? Оставайтесь с нами!

– Иди, иди, папаша! – сказала красотка с сигаретой. – Проваливай!

Вход в павильон так больше и не открылся. Тяжелые занавеси на окнах не поднялись.

Отставной генерал-лейтенант Евгений Михайлович Комаров, которого прозвали «Полморсос» за его обычное приветствие: «Как твой полморсос сегодня?» (что означало – «политико-моральное состояние»), решил выяснить, что происходит в павильоне. «Полморсос» был депутатом какого-то Совета и, как считал, имел на то право. Ему бы, чудачу, в генеральской форме явиться, но, видимо, слишком уж он был уверен в себе и в цивильном пиджаке. Нажал на кнопку звонка, установленного над целой системой замысловатых замков. Появился хмурый «крутой»:

– Тебе чего?

Генерал стал объяснять, что он как член некоей комиссии пришел. «Крутой» не дал договорить, лениво процедил:

– Хиляй отсюда, пока живой. Ты меня понял?

Потом был путч ГКЧП. Как-то утром (это было уже в 1994 году) мы увидели на Патриарших знакомого по газетам и ТВ бывшего «гекачеписта» маршала Язова. Он был одет в штатский черный костюм, который, как было видно, сидел на нем непривычно. В руках у него был зонтик. Мы вдвоем или втроем бросились к нему.

– Ради бога, извините, хотели только спросить. Можно? Вот он – историк.

Язов остановился, протянул всем руку.

– Можно, почему нельзя? Тем более для истории. Только давайте побыстрее пойдем: я маленько спешу.

– Горбачев знал, что вы выступите?

– Да он толкал к этому. Мне, другим давал указание: выступайте с идеей чрезвычайного положения.

– Где «выступайте»?

– На Верховном Совете.

– Так он что ж – двурушник?

Язов даже остановился.

– Он? Он знаете, как называется? Да кто он был? Простой парень деревенский. В экономике ничего не понимал. Да и в чем понимал? В заграничных почестях.

Мы дошли до улицы Мицкевича. Язов опять пожал нам руки и повернул на улицу Алексея Толстого.

* * *

На противоположной стороне пруда – красивый двухэтажный особняк с колоннами и каменными львами. По рассказам Мороза, его строили пленные немцы в 46-м году. Вселился в него наш высший генералитет, но за десятилетия население дома, видимо, менялось. Появлялись и высокопоставленные гражданские. На втором этаже, например, жила оперная дива с мужем, известным музыкантом. Из-под нашего излюбленного «грибка» мы нередко видели их выходящими из «ино-марки» или садящимися в нее. Она – медлительная пава; он – худой, будто истощенный, смуглый чуть ли не до черноты.

– Разные они какие, – однажды заметил кто-то из бегущих.

– А слияние капиталов?! – «по-марксистски» объяснил кто-то.

Все смеялись.

Но генералы из нашего сообщества в особняке с колоннами не жили. Они приходили под грибок из близлежащих домов. Их было трое, а четвертый – даже маршал. Генерал Комаров, с которым мы так неудачно инспектировали павильон у пруда, рассказывал про Афган, про то, как некоторые начальники самолетами гнали оттуда баракло в Союз. Про За-

падную группу войск, куда прилетал «один знаменитый артист» на самолете, а уезжал на поезде, потому что в вагон грузили его «шмутье». Толстый генерал Владимир Андреевич Коршунов, или просто Володя, ходил медленно. Пройдет немного – остановится: надо принять лекарство. Он был зятем знаменитого авиаконструктора Н.Н. Поликарпова, рассказывал о нем всегда почтительно, с уважением. А вот о Чкалове – нет. Пострадал из-за него Поликарпов: на испытании поликарповского истребителя в 38-м и погиб Чкалов. А Поликарпов был верующим человеком. Каждый раз, когда самолет его конструкции поднимался в воздух, он украдкой крестил его.

Самый старший по генеральскому чину был генерал И. Вертелко – длинный, мосластый. От него веяло огромной физической силой и отставным оптимизмом. Одетый в мундир цвета морской волны, на ходу он звенел орденами и медалями. С его подачи 23 февраля мы собирались под грибком. Появлялись бутылка и «закусон». Поднимали тосты за Красную и Советскую армию. Опираясь на костыли, подходил участник Отечественной войны, бывший адъютант маршала Тимошенко, одноногий Ермак. Ермак – самый старший из нас – хмелел быстрее других и запевал песню: «Броня крепка и танки наши быстры». Другие подпевали.

В разговоры о перестройке и демократии Ермак не вступал, прислушивался. Однажды сказал:

– Вы, ребята, делайте, что хотите: вам видней. А я по-старому доживу. Я советской власти врагом быть не могу. Она меня – сироту, беспризорного, детдомовца – подобрала и подняла, на ноги поставила. А вы шуруйте. Может, у вас и выйдет лучше. Посмотрим.

Проходящие по Патриаршим смотрели на нас, праздновавших, ласково. Было видно: многие не прочь бы и присоединиться. И присоединялись! Как-то раз подошел живший тогда на Патриарших бывший глава КГБ Владимир Семичастный.

Обычно он гулял на прудах в одиночестве, прогуливал собаку колли. А тут подошел. Налили и ему. С той поры он стал почти как свой. Никто его не спрашивал про снятие Хрущева, про поношение Пастернака. Впрочем, о снятии Хрущева речь однажды зашла. Накануне некоторые из нашей компании слышали выступление Семичастного по радио «Свобода», бывшей при нем чуть ли не главной жертвой «глушилок». Теперь Семичастный поделился на этой радиостанции воспоминаниями об «октябрьском перевороте» 1964 года.

– Владимир Афанасьич, как же это вы по вражескому-то голосу?

Семичастный добродушно пробасил:

– Они мне двести долларов заплатили. А у меня знаешь, какая пенсия?

– Какая?

– А вот такая, что двести долларов нужны.

– Ну, тогда другое дело, – примирительно сказал кто-то.

Но больше нас интересовали происходившие события.

– Можно было избежать случившегося? – спрашивал кто-нибудь.

– А как? – отвечал он. – Наша ведь беда в чем? Генсек сказал – точка. Все за ним: партдисциплина.

Позднее довелось прочитать в каком-то очерке о Семичастном, будто на Патриарших он совсем «опростился», чуть ли не примкнул к компании «забывателей козла», и они, дескать, кричали ему:

– Афанасьич! Кончай трепаться, садись играть!

Это неправда. Такого не было.

Иногда он появлялся вместе с Шелепиным, который жил в одном с ним цековском доме. Но ничего похожего на «железного Шурика», портрет которого в 60-х годах мы видели среди изображений других членов Политбюро, в этом старике

не было. Он медленно шагал, обычно с авоськой в руке, при-
волакивая ногу. Sic transit gloria mundi.

* * *

Человек в широких спортивных штанах, в какой-то плюшкинской кацавейке и вязаной шапочке, как-то мало по-
ходил на маршала и героя. Но это было так.

Кто-то однажды спросил его:

– А на реактивных истребителях вам довелось летать? Может быть, вы и Бахчиванджи знали, который первым пи-
лотировал реактивный самолет?

Реакция маршала оказалась до того неожиданной, что все оторопели:

– Какой Бахчиванджи?! – чуть ли не закричал он. – Бах-
чиванджи! Я первый летал, я! Знаешь, как это было? Прихожу
на поле, лезу в кабину. Командующий мне говорит: «Ваня!
Гляди: разобьешься!». Я ему: «Ну, и х... с ним!». Полетел!!!
Бахчиванджи... – проворчал он сердито, отходя в сторону.

А вскоре маршал предстал на Патриарших в еще бо-
лее неожиданном облике. На парапете у входа в метро
«Маяковская» каждое утро какая-то тетка раскладывала
коммунистические и «национально-патриотические» га-
зеты, журналы и брошюры. На этом развале всегда можно
было купить «День», «Протоколы сионских мудрецов»,
«Жидами умученные» и много другого интересного. Надо
сказать, торговля у тетки шла не слишком бойко, но и в
накладе она, по-видимому, не оставалась.

И вдруг наш маршал проявился самым махровым черно-
сотенством. Незаметно, как-то само собой разговор однажды
перешел на политику и перестройку (демократов уже всюю
звали «дерьмократами», «демшизой» и т.п.). Маршал, насупив-
шись, слушал «обмен мнениями». Видно было, как он долго
крепился, сдерживался, и все-таки сделал «боевой разворот»:

– Демократы все эти ваши... (он матерно выругался). Какие демократы? Евреи все. Давно они все это задумали... Андропов, Горбачев...

Наступила пауза остолбенения. Потом кто-то спросил:

– И Леня Брежнев – еврей?

– Брежнев? – выдохнул маршал. – Какой он Брежнев! Его фамилия Брежняк! Леопольд Исаакович. Брежняк! У него на руке было масонское кольцо!

Все потупились.

Теперь почти при каждой встрече маршал заводил свою пластинку. В прежние времена он должен был помалкивать, а во время перестроечной свободы, когда кто-нибудь пытался осторожно с ним спорить, он «заходился».

– Со всей вашей демократией знаешь что сделал бы? Поднял бы бомбардировщик, разбомбил бы канализационную сеть – все бы в дерьме потонули.

Первым не выдержал Арон Абрамович Рихтер. Он был человеком из сверхзакрытого «ящика».

Мы знали, что Рихтер – из того конструкторского бюро, которым руководил известный конструктор Нудельман – дважды Герой Социалистического Труда, который, по словам Рихтера, открывал дверь ногой в самые высокие кабинеты. Во время войны Нудельман совместно с Рихтером разработал какую-то замечательную авиационную пушку (НР). Наверное, три четверти славы и наград ушло Нудельману, но и Рихтер не был обойден. «Гертруды», правда, у него не было, но орденов и лауреатских значков – много. Какая-то неприязнь (или обида?) к Нудельману у него все-таки чувствовалась. С усмешкой он говорил, что теперь постаревший Нудельман чуть ли не все свои заботы направил на одно: установку памятника себе на родине (награжденные золотой медалью дважды имели право на сооружение своего бюста по месту рождения).

В отличие от всех нас, Арон Абрамович держался солидно, даже степенно, как и пристало человеку его возраста и положения. Когда словесный фонтан маршала «достал» и его, он не выдержал:

– Послушайте, – сказал он вежливо, – вам никогда на службе не говорили, что ваше поведение непозволительно и возмутительно?

Лицо маршала буквально перекошилось. Он прямо задохнулся.

– Вы... Мне... Я вас... Всех... Тут...

Он не мог связно изъясняться. Тряся, размахивал руками. Рихтер повернулся и, не торопясь, пошел по дорожке. За ним двинулись и остальные. Маршал что-то кричал вслед, но отрывисто и неразборчиво.

С той поры мы раздружились с ним. Теперь в гордом одиночестве он вышагивал своим особым шагом, высоко поднимая ноги и так же высоко взмахивая руками.

Эпилог всей этой истории оказался неожиданным. Несколько лет спустя получил я письмо от друга с Патриарших. Он писал, что случайно встретил маршала, сильно сдавшего. Остановились поговорить. У маршала умерла жена, жизнь стремительно шла под уклон. Неожиданно он сказал:

– Ты на меня сердца не держи. Помнишь, тогда на Патриарших? Думаешь, я против евреев? У меня в эскадрилье пилот один был – Кац. Без хвостового оперенья садился! Не было таких летчиков! Механик мой – тоже еврей! Преданный был друг...

Поговорили и попрощались.

* * *

Удивительное превращение происходило с «номенклатурными домами» на Патриарших и в их округе по мере того, как процесс перестройки шел все дальше и дальше. Они как-то

посерели, осунулись. На балконах вдруг появились какие-то ящики, автопокрышки, а то и просто хлам. Казалось, наступает «мерзость запустения». Но нет, старые жильцы все еще продолжали обитать в своих квартирах «улучшенного типа». Только теперь они стали чуть ли не постоянными посетителями Прудов. Раньше они по утрам появлялись из подъездов, садились в уже ожидавшие их черные «Волги» с особыми антеннами и уезжали. Почти никто не появлялся по вечерам.

Правда, иногда на дорожках Патриарших видели самого Гришина, московского партсекретаря, который жил неподалеку, на улице Алексея Толстого, возле морозовского особняка МИДа. Он степенно прохаживался, а за ним поодаль двигалась охрана. Наверняка приходы Гришина на Пруды содействовали поддержанию на них порядка. Судьба некогда все сильного Гришина была печальной. Пошел в собес, чтобы «выправить» себе пенсию, и прямо там, в очереди, и скончался. Горе побежденным...

Да, те действующие «верхи» не баловали нас своим вниманием, не снисходили до нас. Но ни они сами, и никто их не называл «элитой». Словечко появилось позже. Пришедшие на место вчерашних руководителей, нимало не смущаясь, присвоили себе гордый лейбл – элита. А на Патриарших началось хождение вчерашних аппаратчиков в народ. Среди них был и один из очень крупных работников ЦК – Карэн Брутенц. Сперва он одиноко вышагивал, меряя круги, приложившись ухом к транзисторному приемнику. Часто он появлялся вместе с Наилем Беккениным – небольшого роста худощавым человеком с седоватыми волосами ежиком. Беккенин в «прошлой жизни» возглавлял журнал «Коммунист», впоследствии ставший «Свободной мыслью». Под его началом перед перестройкой трудился один из главных будущих реформаторов и сокрушителей советского режима Егор Гайдар. На наши просьбы рассказать о нем Беккенин говорил: «Не сейчас, после как-нибудь».

Весь вид его был необычен для партработников такого уровня. Маленький, сухонький, одет простенько. Он курил одну сигарету за другой, держа ее у губ двумя пальцами, пока их не обжигало. Надень ему на голову еще малокозырочку, совсем будет парень «с нашего двора». Много лет спустя он написал интересную книгу воспоминаний «Так это было на самом деле» и прислал ее мне в Канаду.

Прислал свои мемуары «Несбывшееся» и К. Брутенц, сопровождавшиеся письмом. «Обманулись не только вы, – писал он, – но и я, в смысле – “мы”, т.е. та категория “аппаратчиков”, которых привел в чувство XX съезд (в этом смысле их можно было бы назвать пятидесятниками), но которые считали, что без передовой социальной идеи общество жить не может. Мы думали о социализме с демократическим, человеческим, нравственным лицом, хотели для своего народа свободы и достойной жизни, избавленной от унижающего отставания от богатых стран.

Жизнь, однако, пошла другим путем, совсем другим... Но дело не только в России, хотя это – самое близкое и родное. То и дело посещает мысль – а не происходит ли вообще оскотиневание человечества, принявшее особенно отвратительные формы здесь, но получившее старт в “передовых” странах?.. А все-таки существовал такой вид, как российский интеллигент, и да не будет он погребен под “станкевичами”...»

Булгаков, наверное, не узнал бы Патриарших. На углу Вспольного переуллка опрокинутые контейнеры с мусором – никто не убирает! Здание, которое начали строить еще в доперестроечное время, так и стоит недостроенное, и ветер свистит в его пустых глазницах. Сломанные скамейки. Много бродячих собак. На углу Малой Бронной и Козихинского – очередь за газетами. Около магазинов темные очереди в несколько завитков ждуг чего-нибудь, что «выбросят». В овощном магазине почти

рвут друг у друга капусту. Еще Бунин, кажется, в «Окаянных днях» писал: «Быстро падает человек...».

И совсем уже новое для Патриарших: в окнах домов вокруг пруда появляются решетки! Всюду решетки, даже на самых верхних этажах, а в квартирах, говорят, устанавливают металлические двери! Идут слухи, что участились случаи квартирных ограблений, даже будто нашу оперную певицу ограбили. И вправду: у нее на окнах тоже установлены решетки. Демократия за решеткой и железной дверью!

* * *

Наше «патриаршее» общество пополнялось не только бывшими номенклатурными работниками и генералами. К нему примыкали также известные артисты и музыканты, жившие в округе. Среди них – известный композитор Родион Щедрин, актриса Валентина Талызина, прибежавшая на Патриаршие, кажется, из Хлебного переулка, и поющий киноактер Олег Анофриев. Талызина играла в находившемся неподалеку Театре имени Моссовета, а там работал еще один наш бегун – Витя Сегалов. Он был театральным администратором. Когда Витя встречал кого-нибудь из нас, он всегда задавал один и тот же вопрос: «Ты видел у нас... (он называл спектакль)? Не видел? Как тебе не стыдно?! Чтобы завтра же посмотрел. Приходи прямо ко мне, я дам тебе хорошее место». Так повторялось при каждой встрече. Увы! Витя вдруг неожиданно исчез. Говорили, что его посадили за валютные операции. Перестройка тогда еще не началась...

Композитор Щедрин жил за границей, но наезжал в Москву. Восхищения западной жизнью он не высказывал. Наоборот, отзывался скептически.

– У них всюду ленточки, бантики, все надушено, но под этим... Обвести могут любого. Я – что! Вот даже Славу обманывали с контрактами.

Он говорил о Мстиславе Ростроповиче, прославившемся не только музыкой. В дни перестройки и ГКЧП он стал одной из трех знаковых фигур «демократического освобождения» России: Ельцин на танке, он, музыкант, в солдатской каске и с автоматом в руках, и знаменитый театральные режиссер Марк Захаров, сжигавший свой партбилет перед телевизионными камерами.

Валентина Талызина примкнула к нам сразу. Генерал Комаров каждый раз радостно заключал ее в объятия.

– Вы хоть знаете, кого обнимаете? – спрашивала она. – Вы обнимаете великую русскую актрису!

Она рассказывала, что главный режиссер не ценит ее, не дает ролей.

– Уйду из Моссовета, – говорила она нам. – Уйду к Виктюку. Он – гениальный.

– И правильно, – кричали мы, – к черту твоего главного.

Бывал на Патриарших и постаревший Евгений Самойлов, звезда советского кино 40-х годов. К нашей компании он не примыкал, обычно шел мимо, но охотно вступал в разговор. Конечно, от красавца, который потрясал сердца кинозрительниц тех лет, уже осталось маловато. На нем был какой-то рыжеватый пиджак, шагал он обычно с продуктовой сумкой. Мы радостно приветствовали его:

– Вы наш советский Алэн Делон! Да куда там Делону!

Он улыбался, останавливался, рассказывал, почему и в восемьдесят лет сохранил бодрость.

– А дочка ваша Татьяна как? Летят журавли?

– Летят, летят, сейчас хорошо.

– Ну, и слава богу!



С друзьями-«бегунами» на Патриарших прудах

Но даже среди этих и других знаменитостей не терялся никому не известный Бэн. Вообще-то он был Вениамин, но перестройка началась с рекламирования по телевидению американских консервов «Анкл Бэн», и Вениамина тут же переименовали в Бэна. Бэн был красочной фигурой, можно сказать, достопримечательностью Патриарших. Грузный, он печатал каждый свой шаг, двигался медленно и тяжело. Большое лицо его было украшено носом, который в просторечии называют шнобелем. Появлялся он в ярком спортивном костюме и кроссовках, присланных ему сыном, уехавшим с семьей в Израиль. Утренняя зарядка Бэна заключалась в том, что он не спеша обходил продуктовые магазины в округе. Потом направлялся к Пруду. Встретив по пути кого-либо из нас, неизменно спрашивал:

– Тебе нужен хороший творог (или молоко, мясо и т.д.)? Иди, иди на Спиридоновку. Дешевле, чем на Палашевском. Иди, возьми! Иди сейчас же, расхватают!

Но добрый Бэн мог и злиться. Обычно это происходило, когда кто-либо в шутку или всерьез начинал хаять советскую власть.

– Что тебе сделала советская власть?! – кричал он. – Да, тебе, тебе! Ну, скажи, что? Ну, скажи уже, поц, ну! Тебя не приняли в институт? Ну, так мама заштыпкала тебя в другой! Чего тебе не хватало? Да, тебе, тебе?

Он уходил, бормоча про себя ругательства. На другой день он появлялся вновь как ни в чем не бывало, забыв вечерашнюю брань. И мы были рады ему.

– Вон Бэн шагает! – говорил кто-нибудь, показывая на массивную, переваливавшуюся фигуру.

И мы знали: если, повернув с Садового кольца на Малую Бронную, вдали бредет вдоль пруда Бэн с авоськой в руках – жизнь продолжается!

Все более заметной фигурой становился Володя, приходивший на Патриаршие со стороны Тишинки. Володя был «правильным человеком». Образцовый в личной жизни и труде. Утром «на бег» к нему часто присоединялась жена, такая же скромная, спокойная и правильная, как он, и двое детей, вполне ухоженных и послушных. Как примерный отец, Володя отводил их в школу на Бронной, потом возвращался и примыкал к компании. Он был нетороплив и обстоятелен, нацелен на благополучие и процветание своей семьи. «Большие проблемы» его не волновали. Казалось, он – почти идеальный типаж буржуазного бытия в его пуританском обличье. И, пожалуй, именно Володя раньше других уловил суть той перемены, которая плавно надвигалась и которую мы не схватывали, не чувствовали. Ведь никто не произносил слова «капитализм», а слово «рынок» мало о чем говорило нам. Рынок? А, это там где-то в экономике, далеко...

Володя работал в некоем учебном заведении, где готовили административных работников для гостиниц и ресторанов. Социально-экономическое сознание там, по-видимому, было немного выше, чем здесь, на Патриарших. Там раньше учуяли, что дело идет к дележу «большого пирога». Неспешно разминаясь перед бегом, Володя разъяснял нам:

– Сейчас какой главный вопрос встал? Раздел собственности. Раздел! Это теперь главное, все уперлось уже сюда.

А до большинства из нас это плохо доходило. Какой собственности? Какой раздел? Кто делит? Между кем? Откуда нам, лохам, было понять то, о чем говорил Володя?

Все ждали слова Георгия Скорова. Высокий, худощавый, стройный Скоров предпочитал молчать. Молчание способствовало сосредоточению, а оно, в свою очередь, благотворности бега. Поэтому, если Георгия Ефимовича о чем-нибудь спрашивали на бегу, он заградительно вытягивал руку и мотал головой. Зато после пробежки Георгий Ефимович был совсем свой парень, хотя занимал высокое положение. Он был заместителем директора Института США и Канады и довольно известным экономистом. Он рассказывал, что писал записки по экономическим вопросам «аж на самый верх», но «они там» ничего не читали. Но раз он был экономистом, то по поводу Володиных откровений о дележе собственности мы, естественно, ждали разъяснений от Георгия Ефимовича. Насчет собственности он, однако, молчал. Развивал свою, видимо, главную идею: «Нам нужны четыре-пять процентов безработицы. Необходимы. Экономика сразу начнет оздоравливаться».

* * *

3 октября 93-го я пошел на Патриаршие. Поворот транспорта с улицы Гашека на улицу Красина и Садовое кольцо был перекрыт милицией. Машины сплошным потоком заво-

рачивали на Зоологическую. Садовое кольцо было совершенно пусто. Иногда на бешеной скорости к Маяковской или, наоборот, к площади Восстания проносились черные «Волги». Одна из них резко затормозила у киоска. Выскочили два омоновца в полной экипировке, с автоматами в руках. Подбежали к палатке, один из них приказал парню-продавцу:

– Бутылку и сигареты! Быстро!

Не расплатившись, они нырнули в машину, и она помчалась к площади Восстания. Оттуда слышался глухой гул. Постепенно он нарастал. Черная масса людей двигалась по центру Садового кольца в направлении площади Маяковского. У некоторых в руках были палки. Один пацан побежал к тому же киоску, у которого только что останавливалась «Волга» с омоновцами, и стал колотить по стенам:

– Мы вас всех к ногтю! Все ваше торгашество... мы...

Он захлебывался от ярости. От шествия отделилась женщина, подбежала к парню и, схватив его за руку, увела за собой.

Черным колышавшимся пятном шествие проплыло дальше. Я был уверен, что эре Ельцина конец.

Но на другой день по Белому дому ударили танки. Мы медленно брели по Патриаршим с Брутенцем, Игорем Трякиным и еще кем-то. Белый дом был совсем рядом, и выстрелы доносились до нас отчетливо. Откуда-то из глубины Вспольного вдруг раздалась сухая автоматная очередь. Потом еще, еще.

– Что ж теперь будет? – в волнении спросил Игорь.

– Что будет? – переспросил тот третий, кто шел с нами. – Теперь, брат, Богу молиться надо.

Брутенц остановился, внимательно посмотрел на говорившего и сказал:

– Это верно.



*С внуком Филиппом и Игорем Трякиным
на Патриарших прудах. Начало 90-х гг.*

«В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан». Так начинается «Мастер и Маргарита». Я так же хочу закончить, потому что это тоже было на Патриарших, в час солнечного заката. И тоже появилось двое. А дальше все было иначе. Эти двое не были похожи на людей, описанных Булгаковым. Один был человек среднего роста, стройный, одетый по новой моде в длинное черное пальто, с небрежно перекинутым на шею шарфом. Его седеющие волосы были тщательно уложены, на лице выделялись аккуратно подстриженные мягкие усы. Он был одним из первых «новых русских». Другой... Другой был в поношенной, уже с рыжими пятнами кожаной куртке и в кепке со сломанным козырьком. Это был всего лишь я...

Мы шли по кругу, вдоль Пруда, не спеша, «прогулочно», но оживленно беседовали о реформах.

– Но люди... – произнес я.

Мой собеседник остановился.

– Люди? – переспросил он с несколько деланным недоумением. – Какие люди? Никаких людей нет. Есть покупатели и продавцы. Вот и все.

Он, конечно, утрировал. Но только для того, чтобы четче выразить свою мысль. На дорожке, замусоренной пустыми банками и пакетами импортного происхождения – свидетелями происшедших перемен, – он разглядел валяющуюся брошюру и пнул ее ногой. Она отлетела, перевернулась и шлепнулась обложкой вверх. «XXII съезд КПСС» – прочитали мы название. Кто-то, видимо, вышвырнул ее за ненадобностью в наступившей новой жизни.

– Вот, – сказал он, еще раз пнув книжонку ногой и отбрасывая ее в сторону. – Вот эта партийная мутота. Вранье, лицемерие, дурман. «Человек человеку – друг, товарищ и брат»... Лгуны. Нет никаких «товарищей». Есть покупатели и продавцы, уж поверьте мне.

От него исходила уверенность. Я уныло тащился рядом. Мы подходили к месту, где, по описанию Булгакова, на скамейке сидели Берлиоз и Иван Бездомный.

– Есть рыночная экономика, – продолжал он. – Рынок, понимаете? Суть жизни. Нормальной, естественной, то есть природной. И в ней людей нет. Есть покупатели и продавцы. Люди, если и есть, – это потом, после, у себя дома. Понимаете?

В том самом месте, где трамвай переехал бедного Берлиоза, стояла шикарная иномарка, ждала его. Он пожал мне руку и скрылся в салоне машины с затемненными стеклами.

Я долго потом не встречал своего знакомого на Патриарших. Перестройка кончилась, в разгаре были реформы. Он появился неожиданно. Все в том же черном пальто с белым шарфом, но что-то изменилось. Не было той холерности, той небрежной уверенности, которые раньше бросались в глаза. Рядом на длинном поводке вышагивала породистая овчарка без намордника. Он заметил мое замешательство:

– Не бойтесь, не бойтесь. Со мной она не тронет.

Мы встретились как старые приятели.

– Что-то давно вас не было видно, – сказал я.

– У меня были проблемы, – ответил он «по-американски», но доверительно и даже печально. – Квартиру мою хотели взорвать. К счастью, только железную дверь разворотило. А меня ударили чем-то тяжелым по голове. Слава богу, остался жив.

Он помолчал, видимо, болезненно переживая нахлынувшее, потом сокрушенно произнес:

– Представляете, какие люди...

– Люди?! – чуть не закричал я. – Какие люди?! А людей не...

Но вовремя спохватился: ведь его хотели убить.

Мы стояли неподалеку от того места, где к сидящим на скамье Берлиозу и Бездомному подошел странный незнакомец и стал говорить. И явилась картина допроса бестолкового Иешуа Га-Ноцри, который никак не мог понять, что прокуратора нельзя называть добрым человеком. Но когда центурион по прозвищу Крысобой хлестнул непонятливого бичом и спросил: «Ты понял меня, или ударить тебя?», Га-Ноцри сказал: «Я понял тебя. Не бей меня».

И прошли годы. Из героев этих записок иных уж нет, а те – далече. Нет на Патриарших и меня. Вслед за семьей дочери Людмилы, в середине 90-х, пришлось уехать в Канаду, в Монреаль, и нам с женой. Дочь, как она считает, вполне себя реализовала: она преподает французский язык и переводит французских писателей на русский.



Моя дочь Людмила Пружанская

А из Москвы пишут, что была там крутая борьба: новые элитные поселенцы захотели якобы устроить там подземный гараж, возвести памятник Булгакову в виде громадного примуса и сидящей на нем нечистой силы. Когда-то против памятника Крылову боролся один наш Боря, а против «примуса» поднялось все население округа. Мне прислали листовку: «Москвичи! Спасем Патриаршие пруды от “памятника Булгакову”!». И вроде бы спасли. Я рад этому. Однако, по мне, надо было бы поставить памятник Морозу, Севе, Бэну и другим, пережившим здесь, на Патриарших, незабываемую эпоху перестройки и реформ. Памятник хоть самый маленький и где-нибудь в сторонке. А на нем надпись: «Мы были». Да кто ж поставит?..



Уголок парка «Покровское-Глебово»

ПОКРОВСКОЕ-ГЛЕБОВО

Вместо эпилога

Стояла еще не поздняя осень 95-го года. Бредем по дорожкам Покровского-Глебова. Под ногами шуршит уже падающая с деревьев блеклая, зелено-желтая листва. Бредем молча. Потом Виталий, подняв голову к серому небу, вроде бы обращается ни к кому. Задумчиво говорит:

– Значит, все-таки уезжаешь?

Я кивнул.

И опять он сказал будто бы никому:

– И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на востоке от Едема.

Я знал, что в последнее время его потянуло к чтению Библии, иконам. И спросил:

– Каин – это все-таки я?

Он усмехнулся:

– «Бытие»... Наше бытие... А ты знаешь, что в той «земле Нод» будешь человеком второй категории?

– А здесь мы с тобой не такие?

– А здесь... Я тебе скажу. В своей земле вторая категория – это четвертая в земле Нод. «Бытие»...

Мы спустились в глубокий овраг, на дне которого был источник, и воду его местные люди почитали особой, чуть ли не святой. Кто-то соорудил над источником крест. Как и другие, мы наполнили свои бутылки и медленно по деревянной лестнице поднялись наверх. Там перед густо растущим кустарником стояли скамейки. Чтобы перевести дух, мы присели. Виталий вытянул руку с раскрытой ладонью, на которой лежали хлебные крошки. Сейчас же птица вспорхнула на ладонь, принялась деловито клевать.

– Ты смотри, не боится. Как ручная, – сказал Виталий, – попробуй-ка!

Я взял хлеб, тоже разжал ладонь, но никто из птиц не пожелал принять мое угощение.

– У тебя берут, – сказал я. – А меня, видишь, облетают. Может, это знак какой?

– Все может быть...

Отдохнув, побрели дальше. В темноте деревьев заблестела вода глебовского пруда.

– Писать-то хоть будешь? – спросил он.

– Вопрос! Да я через год приеду.

*Сколько б ни было в мире разлук,
В этот дом я привык приходить...*

Мы шли вдоль пруда, по берегам которого гуляли, прохаживались люди. Спокойные, отдыхающие люди. Никуда им не надо было уезжать, ни с кем не надо было расставаться.

– Вот что я там буду делать – этого я не знаю.

– Как это? Пиши мемуары.

– Мемуары? Кому нужны мои мемуары? Кто их станет читать? Мемуары пишут те, кто прожил «жизнь замечательных людей». А я «не поэт и не брюнет, не герой – объявляю заранее». Знаешь песню Бернеса?

– А ты пиши мемуары «человека из очереди». Нашей, советской. Это брат, еще труднее написать. А читать будут захлеб.

Я уехал в «страну Нод». Три раза приезжал, второй раз – когда Виталий был тяжело болен. Как все здоровые люди в разговорах с больными, я глупо подбадривал его, уверяя, что скоро он поправится. Он печально улыбался.

– Вот осенью я снова приеду. Пойдем в Глебово за «святой водой» и птиц кормить. Опять синицы будут у тебя брать хлеб, а у меня – нет. Помнишь?

– Нет, брат, пойдешь один. Меня уже не будет.

Я вздрогнул от этих слов, растерянно произнес от неожиданности:

– А как же я?

– А ты живи... И за меня.

В третий приезд в Москву я увидел только его фотографию на кладбищенской плите. Молодой, здоровый, чуть-чуть улыбающийся... Мы стояли и смотрели вдвоем с третьим нашим другом военных лет, Игорем. Всем нам тогда было по шестнадцать. Теперь – два старика – мы стояли и плакали. А через несколько лет навсегда ушел и Игорь. Остался один я...

*Тихо летят паутинные нити,
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так? Извините.
Жил я впервые на этой земле.*

*Я ее только теперь ощущаю,
К ней припадаю
И ею клянусь,
И по-другому прожить обещаю,
Если вернусь,
Но ведь я не вернусь...*

(Р. Рождественский)

Монреаль, ноябрь 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия

(5)

В переломах судьбы

(7)

С чего начиналась Родина...

(25)

«Война участвует во мне...»

(39)

Война остановилась на нас

(69)

Наш космополитизм вышел из переулка

(121)

По распределению в Кологрив

(145)

Сначала сочтешь ты камни...

(197)

В истории истин нет – есть проблемы

(221)

Борьба за прошлое – контроль

настоящего

(253)

Патриаршие пруды времен

перестройки и реформ

(295)

Покровское-Глебово

(вместо эпилога)

(323)